

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ



дневники
путешествий



*невозвратные
дали*

Анастасия
Цветаева

Издание подготовлено
Станиславом Айдиняном

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ц 27

Дизайн серии Ивана Ковригина

Составление, предисловие Станислава Айдиняна

Комментарии к очерку «История одного путешествия»
Глеба Васильева, Галины Никитиной и Дмитрия Лосева,
к остальным текстам книги – Ст. Айдиняна

Фото автора на переплете работы Л. Попова

В оформлении книги использованы фотографии из архивов
Ст. Айдиняна, А. Гусева, Л. Мнухина, А. Ханакова и РИА Новости

Издание подготовлено при участии О.А. Трухачевой

Цветаева, Анастасия Ивановна

Ц 27 Невозвратные дали : дневники путешествий / Анастасия
Цветаева; сост., предисл., коммент. Ст. Айдиняна; коммент.
Г. Васильева, Д. Лосева, Г. Никитиной. – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 288 с.; ил. – (Письма и дневники)

ISBN 978-5-17-098202-8

Среди многогранного литературного наследия Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993) из ее автобиографической прозы выделяются дневниковые очерки путешествий по Крыму, Эстонии, Голландии... Она писала их в последние годы жизни.

В этих очерках Цветаева обращает пристальное внимание на встреченных ею людей, окружающую обстановку, интерьер или пейзаж. В ее памяти возникают стихи сестры Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, вспоминаются лица, события и даты глубокого прошлого, уводящие в раннее детство, юность, молодость. Она обладала удивительным даром все происходящее с ней, любые впечатления «фотографировать» пером, оттого повествование ее яркое, самобытное, живое.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-098202-8

© А.И. Цветаева (наследники), 2018
© Ст.А. Айдинян, составление, предисловие,
комментарии, 2018
© Г.К. Васильев, комментарии, 2018
© Д.А. Лосев, комментарии, 2018
© Г.Я. Никитина, комментарии, 2018
© РИА Новости
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Путешествия младшей Цветаевой, Цветаевой последней...

Анастасия Ивановна Цветаева в русской литературе – настоящий классик мемуарного жанра. Жанр этот в Европе и у нас в России очень обширен. Сколько мемуаров оставили после себя люди, жившие в XIX и XX столетиях, сколько легло на страницы прозы прожитых жизней...

«Воспоминания» Анастасии Ивановны, появившиеся первоначально небольшим фрагментом в журнале «Новый мир», сразу же обратили на себя внимание необычайным литературным, несколько импрессионистическим стилем, где чувства, картины, лица, события настолько пропущены через свое восприятие, настолько оживают под пером, что кажется, они написаны «пылью растертых слов...»¹ В предисловии к двухтомнику своих «Воспоминаний» А. Цветаева писала: «Мои воспоминания – это семейная хроника. В моей памяти равное место занимают все мои близкие – отец, мать, моя сестра Марина и все, кто пришли позднее...»

Почти все наследие писательницы имеет автобиографический характер – и ее известный роман «Амог», служащий фактически продолжением воспоминаний, и ее многочисленные очерки, посвященные встречам и общению с друзьями-писателями, и ее повести, и книга о *яснослышащем* звонаре – все это взято ею из собственной жизни. Исключение составляют отдельно изданные три сказки – то, что осталось от арестованного и пропавшего в недрах НКВД целого рукописного тома сказок. Но даже и там «Сказка

¹ Так сказала Анастасия Цветаева про поэму «Молодец» своей сестры, Марины Цветаевой, которую та перевела на французский язык.

о девочках-великанах» все равно имеет биографические черты. И стихи Анастасии Ивановны в подавляющем большинстве своем столь же биографичны, как и ее разнообразная проза, начатая ею некогда детским, потом юношеским дневником, из которого в 1915 и 1916 годах родились ее первые книги: «Королевские размышления» и «Дым, дым и дым». Этот автобиографизм А. Цветаевой говорит прежде всего о ее честности перед собой, перед миром и перед Богом, без веры в которого немыслима ее жизнь, полная трагедий и испытаний.

Особой колеей творчества А.И. Цветаевой видятся ее путешествия – тексты, конечно, также автобиографические. Путешествием поневоле можно считать и ее повесть «Моя Сибирь», где описаны годы в сибирской сталинской ссылке после окончания срока в тюрьмах и лагерях. И здесь она пишет о близких ей людях, о сыне, о двух внуках – Рите и Оле, о ссыльных односельчанах, товарищах по несчастью. Сильнейшая часть повести – рассказы о животных: о кошках, собаках, о братьях наших меньших. Когда эти рассказы появились отдельно в «Юности», в те годы популярнейшем в стране литературном журнале, пришли отклики от читателей, и их было так много, как ни на одну ее публикацию.

«Историю одного путешествия» Анастасия Ивановна очень не хотела публиковать при жизни, больно уж тонкой, болезненной для нее темы касался этот текст. В 1971 году она поехала в Крым и там, в доме Максимилиана Волошина, у его вдовы Марии Степановны, познакомилась с молодым поэтом Валерием Исайенцом, приехавшим в Коктебель из Воронежа. Она увлеклась, при всей ее взыскательности, некоторыми его стихами и самим поэтическим обликом Валерия. Однако по мере более близкого знакомства начались у них «расхождения». За ее плечами были – традиции старого воспитания, дореволюционная культура, предполагавшая в друге душевную чуткость. А юный друг ее был довольно эгоистичен, часто исходил из своих собственных интересов – то его тянуло к дружбе с яркой, сильной личностью, «с сестрой Марины Цветаевой», то его отбрасывала от нее ее же требовательность!.. Тем более что Анастасия Ивановна воспринимала Валерия, при всей увлеченности, *по-матерински* и была порой очень требовательна в своей опеке. Не каждый молодой человек выдержит подобное. Знающим творчество А.И. Цветаевой эта ситуация сразу напечет тональность взаимоотношений героев

романа «Амор» – и там героиня Ника, так обозначила себя в автобиографическом романе Анастасия Ивановна, пытается вовлечь в сферу своей материнской опеки главного героя, Морица. У него был реальный прототип, встреченный ею в лагере, – Арсений Этчин, у него она работала в сметно-проектном бюро. Пыталась его «приручить», изменить к лучшему, заставить подумать о собственном здоровье, меньше курить. Это и есть самая трагичная и очень распространенная ошибка женщин – стремящихся завоевать человека, а потом его *изменить*. Однако в этом случае очень часто насильственно изменяемый отказывается меняться.

Правда, при создании романа «Амор» Анастасия Ивановна намеренно, для усиления психологического эффекта, «нагнетала» свое любовное чувство, обращенное к Морицу: «Я специально накачивала это чувство в романе, чтобы создать полюса взаимоотношения психологий – мужской и женской», – говорила она.

А в «Истории одного путешествия» дело доходило у героини даже до нервных срывов, до плача. Вот почему Анастасия Ивановна не хотела при жизни делиться с читателями этим текстом. Он ведь местами исповедален очень горькой искренностью. Это действительно было сильное увлечение. Но своим «последним земным очарованием в 78 лет», своей последней земной любовью она назовет потом поэта и переводчика Алексея Шадрина, также встреченного в Доме поэта в Коктебеле. О нем она кратко рассказала в очерке «Зимний старческий Коктебель».

Не скроем, что герой очерковой повести «История одного путешествия» был на момент встречи с Анастасией Ивановной душевно болен; потом в его судьбе будут и психиатрические больницы, и скитания без определенного места жительства – настоящий синдром бродяжничества. Но это в полной мере проявится позже. Тогда же были только первые «всполохи», впоследствии настолько пугавшие Анастасию Ивановну, что она опасалась оставаться с Валерием наедине. А в начале 1990-х, когда состояние нищего, бездомного поэта намного усугубилось, посылал он ей довольно бессмысленные телеграммы угрожающего содержания с требованием денег. В 1980-х годах он уже очень редко навещал Анастасию Ивановну, приезжая в Москву, но вел себя мирно, «чудил», конечно, но не чрезмерно.

По последним доходившим сведениям мы знаем, что В. Исаянц появлялся в Воронеже, там клуб местных поэтов принял в его судьбе участие, добрые люди помогли выпустить в известном издательстве «Водолей» книгу Валерия под названием «Пейзажи инобытия». Известно также, что поэт продолжает скитаться по электричкам и лесам под Воронежем.

О том крымском путешествии сохранился и небольшой фрагмент очерка самого Валерия Исаянца, который называется «Незабываемый день»¹. Из этого текста узнаём, что в Феодосию на поиски дома, где жила Анастасия Ивановна в 1921 году, они с В. Исаянцем отправились 12 октября. Рассказывая о писательнице, Валерий пишет: «Меня поразила в Анастасии Ивановне ее тишина, в глубине которой, как в глубине глаз, звезд, предметов, в глубине ее неповторимой речи складывалось что-то доброе, яркое, не соотнесенное ни с чем в окружении. И ее чуткость на каждую подлинную интонацию, ее безграничная доверчивость этой интонации стиха или слова... Она спрашивала у меня стихи, она, сама стиховая, творческая природа, и ранее, чем я успевал переписывать бесконечные “Пролетки” или “Игру берез”, переписывала мне своим неповторимым почерком забытые стихи Марины и свои...»²

«Зимний старческий Коктебель» – это иное краткое путешествие, оно посвящено поездке в Крым в 1988 году. Прошли годы со времени того крымского путешествия 1971 года. Спутником Анастасии Ивановны теперь был врач, Юрий Ильич Гурфинкель. Познакомился он с Анастасией Ивановной в 1977 году, когда в мае она попала в больницу. Оценив Юрия Ильича и как опытного врача, и как писателя-прозаика, она подружилась с ним, и он стал ее постоянным советчиком и другом, навещавшим писательницу почти до последних дней ее долгой жизни. Он тоже оставил литературные воспоминания о совместных с Анастасией Ивановной путешествиях. Они называются «Анастасия»³ и делятся на два очерка – «Коктебель» и «Голландия».

¹ См. в книге: Последний луч Серебряного века. Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М., 2010. С. 374–377.

² Там же. С. 376.

³ Очерк публиковался в журнале «Дружба народов» (1998, № 9), а потом и в сборнике «Последний луч Серебряного века».

В первом из очерков Юрия Ильича есть такое наблюдение: «А вскоре “Юность” напечатала рассказ Анастасии Ивановны “Зимний старческий Коктебель” – путевой очерк об этой поездке... На многих произвела впечатление ее смелость – в таком возрасте отправиться в столь неблизкие края. Но еще больше читавших восхитила свежесть восприятия, внутренняя свобода, с которой эта вещь была написана. Теперь имя Анастасии Ивановны уже не замалчивалось. “Литературная газета”, например, посвятила целый подвал разбору художественных достоинств рассказа. У меня же он вызвал чувство, какое бывает, когда стоишь за спиной художника, преобразующего увиденное в пейзаж на полотне. Точность рисунка, мазок за мазком... Небо и пространство, люди и деревья волшебным образом оживлены, и кажется, это всегда будет существовать, хотя уже темнеет, многие разошлись по домам и совсем по-другому легли тени деревьев»¹.

«В зимнем старческом Коктебеле» мы наблюдаем всё ту же материнскую заботу «лирической героини», от лица которой ведется повествование, обращенное к ее спутнику. Но она, эта забота, куда менее настойчива и отмечена, может быть, большим уважением. Не любовным, а дружеским чувством... Тот же мотив, но намного слабее, выражен в очерке, посвященном путешествию с Юрием Ильичом в Голландию.

Оба очерка (это именно очерки, не рассказы) писались «синхронно событиям»; наверное, оттого особенно слышен тон исповедальной откровенности, свойственный Анастасии Ивановне со времен еще ее первых, основанных на дневниках книг. Писательница обращает пристальное душевное внимание на встреченных и в горести и в радости людей, на окружающий их интерьер или пейзаж. И тут же из ее памяти возникают стихи сестры Марины, Мандельштама, вспоминаются лица, события, даты глубочайшего прошлого – реминисценции к раннему детству, юности. Анастасия Ивановна – при полной свободе своего пера – вспоминает, по ходу действия, множество имен. Для нее в жизни многое – важно!.. На память приходит эпизод из ее «Воспоминаний»: старшая сестра Марина говорит о том, что нужно пригласить фотографа, чтобы он снял покончившего с собой студента Бориса Бобылева. При этом она произносит пронзительные слова: надо его запомнить,

1 См. «Последний луч...». С. 498.

«не упустить – туда». Так и Анастасия Ивановна свою жизнь, свои встречи «фотографировала» тонким пером, и жизнь оставалась в сетях ее строк – живой. Совершенно по-другому, хотя и так же *дневниково*, написан очерк Анастасии Ивановны «Моя Эстония». Более двадцати лет Анастасия Ивановна, избегая жары летней Москвы, ездила в Эстонию, в Кязму. Там снимала скромное жилье – комнату с террасой, ходила на прогулки через лес к морю, к берегу Финского залива. В этих поездках для нее особенно важно было посещение женского монастыря в Пюхтице, в котором она неизменно окуналась в холодный святой источник. Однажды Анастасия Ивановна приехала в монастырь не летом, а зимой – на Рождество. Свое посещение позднее она описала в маленьком очерке, названном «Монастырский источник». В нем писательница приводит один характерный эпизод, изложенный ею несколько иначе, чем в «Моей Эстонии». Когда писались эти строки, Анастасии Ивановне было около ста лет...

«...После обеда я подошла к Игуменье, прося ее благословения.

– Матушка, разрешите ли вы мне зимой окунуться? Мне идет восьмидесятый год.

– С верой? Конечно! – ответила Игуменья. – Наши женщины каждый день купаются. Смотрите: седеет вас, – а такие розовые...

Я обрадовалась и пошла в купальню с обеими спутницами – хотя они окунаться не собирались. Стоя над черной водой, уже раздетая, я себя спросила:

– Ведь ты простужена? И зимой окунаешься – впервые... и матушке об этом не сказала...

И ответила себе:

– Но ты веришь, что вода эта – не простая?

И ответила: «Верю...»

– Тогда в чем же дело? – Лезь...

Я стала спускаться по лесенке. Нет, не холоднее была вода, чем летом!

Думаю, что показалась даже теплее из-за контраста, летом в жару большего. Но что весело мне, когда я вылезла из воды, три раза во имя Отца и Сына и Святого Духа окунувшись, – это то, что не было и следа от простуды: точно вынули из меня занозу – и все»¹.

¹ Цветаева А. О чудесах и чудесном. М., 1991. С. 36.

Жизнь для Анастасии Ивановны всегда была открыта небольшим чудесам. Важно верить, и чудо придет к тебе, неслышно подступит к изголовью. Эту веру всю жизнь несла в себе Цветаева младшая, Цветаева последняя...

Сохранилась подписанная Анастасией Ивановной машинописная копия ее письма – «В редколлегию журнала “Юность”». Приведем полностью его текст: «Я давний автор вашего журнала – в “Юности” выходили мои “Невероятные были” и мой “Зимний старческий Коктебель”. Мне 99 лет, и потому очевидна моя просьба: быстрее продвинуть в печать – в ближайшие номера – мой очерк, посвященный моему прошлогоднему путешествию в Голландию. Храни вас Бог! Анастасия Цветаева 30. VI 93 г. Переделкино».

Несмотря на высоко стоявшее имя Анастасии Ивановны, на то, что ее нередко показывали по телевидению, несмотря на огромную популярность в последние советские годы как поэтического, так и прозаического наследия ее сестры Марины Цветаевой, ей годами приходилось ждать выпуска своих художественных произведений – больших и малых. В итоге очерк «Моя Голландия» был опубликован в сокращении в журнале «Юность» – посмертно, в 1993 году в № 9. В настоящем издании текст приводится в авторской редакции. Очерк «Моя Эстония» появился при жизни писательницы в таллинском журнале «Радуга» в 1991 году в №№ 1, 2, 3.

В 1920–30-е годы ее не печатали, очень редко могли выходить только ее переводы. А в новое время настали иные проблемы, среди которых – большие очереди на публикацию, да к тому же у каждого журнала был, как сегодня, свой постоянный круг авторов. Когда близился к выходу ее роман «Амог», редакция журнала «Москва» тоже длила и перекладывала сроки выпуска романа, написанного в сталинском лагере на папиросной бумаге и переданного через вольнонаемных работников на волю. Сохранилось трагичное, горестное письмо А.И. Цветаевой главному редактору журнала – эпистолярный документ неподражаемого человеческого накала. Он никогда не публиковался, и мы можем сегодня привести его целиком. Он по тональности напоминает письмо Анастасии Ивановны в «Юность» о выпуске «Моей Голландии». Читатель впервые получает возможность их сравнить:

М.Н. Алексееву

5.X.1989

Многоуважаемый Михаил Николаевич!

Благодарю Вас за поздравление Ваше, моего главредактора, с моим 95-летием, за добрые, звучащие искренно Ваши слова. Я, ведь, не в 1-й, а в 3-й раз отдаю через Ваши руки – плод моих рук в печать. Но в 1-й раз, в 1977 году мне было 83 года, во 2-й раз, в 1981 г. – 87 лет. Ныне мне пошел 96-ой – вряд ли есть в «Москве» – автор меня старше.

Не задумывались ли Вы, все отсрочивая и откладывая начало моего «Амог», Вами похваленного, над моим небессмертием?

Не будет ли Вам человечески жаль, если не сойдутся даты конца романа и моего исчезновения с Земли?

Это письмо обращено не к деловой части Вашей деятельности, в которой Вам – виднее чем всем, кого раньше, кого – позже печатать. Я обращаюсь к сердцу Вашему, к образу и подобию Божьему, без сомнения греющему Вас каждый день: 50 лет ждал роман своего часа; был переработан для возможности прозвучать, наконец, – и неужели попал не в те руки, в более холодные, чем роману хотелось бы?

Напоминаю: и в 1-ю и во 2-ю нашу встречу Вам не пришлось пожалеть, что печатали данного автора. Чем я заслужила небрежение Вашего пера, меня поздравившего и похвалившего, но – без даты хотя бы начала публикации романа? Знай вы ее, Вы бы мне ее сообщили! Вы даты – не знаете? Но, однако, не к одному сердцу Вашему – обращаюсь. По-деловому имею Вам сообщить, Михаил Николаевич, что издательство «Современник» затребовало от меня копию моего романа, так как все сроки, Вами им обещанные для выпуска у них «Амог'а» – книгой, прошли, и, вчера это от них узнав, долгом считаю Вам сообщить это: не откладывайте более начало романа, прошу Вас – по-деловому. Есть пословица, что «Москва слезам не верит», и м.б., мое обращение к Вашему сердцу, с сообщением, что стала очень болеть в последний месяц, что все ближе подходит смерть – не прозвучит Вам?

Складываю оружие.

Жму Ваши холодные руки – последним теплом моих.

Да хранит Вас Бог!

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА на 96-м году.

На это письмо М.Н. Алексеев, главный редактор «Москвы», ответил телеграммой. И роман увидел свет в 1990 году в №№ 2, 3, 4, 5. В 1991-м роман был опубликован и отдельной книгой в издательстве «Современник». Основным и более редакторски обработанным остался именно тот текст, который был выпущен «Москвой». Синяя книга «Современника» с ярким красным названием, куда вошла также повесть «Моя Сибирь», была очень быстро раскуплена, несмотря на большой тираж в 100 000 экземпляров...

В приложении к основному тексту настоящего издания к публикации подготовлено еще три текста Анастасии Цветаевой. Малый, цельный текст «Таруса» ранее публиковался в газете «Культура» 11 сентября 1993 года, вскоре после смерти Анастасии Ивановны, последовавшей 5 сентября. В нем миниатюрно, сжато, пунктирно автор дает представление о том, что было пережито в любимом городке на Оке в детстве и отрочестве. Очень кратко пишет она и о детских дружбах, и о смерти матери, Марии Александровны. Эти летние посещения-путешествия в Тарусе дали сестрам Цветаевым знание о русском народе, о его быте, укладе – все это наиболее полно и емко отражено в «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны, в очерке «Хлыстовки» Марины Цветаевой, который в советские времена печатали под неавторским названием «Кирилловны», в нем – дух старины тарусской...

Следующее путешествие – во глубь родной отцу сестер М. и А. Цветаевых Владимирской губернии, описано в одном из самых поздних, 1992 года, текстов А.И. Цветаевой. Это совсем малый, миниатюрный очерк «Александров». Именно оттуда, из Александровской слободы, некогда правил Русью Иван Грозный. В очерке – лишь основные факты пребывания в Александрове, то, что в конце жизни Анастасии Ивановны казалось наиболее важным. Недаром она заканчивает свою прозаико-биографическую миниатюру фразой – «Рада узнать, что снова действует там монастырь».

И третье произведение – малоизвестный очерк, посвященный Армении. Очерк написан во время одного из ее пребываний в подмосковном Переделкине, в Доме творчества. Она вспоминает о том, что связано в ее судьбе с Арменией... Вспоминает и Валерия Исаянца. Тут сделана успешная попытка в малом очерке

Станислав Айдинян

дать обзор своего ощущения людей, восходящих происхождением к Армении. Получилось это тепло, по-цветаевски проникновенно, искренне и сочувственно. В конце текста речь идет о землетрясении 7 декабря 1988 года. Ее обращение «К Армении» было тогда спешно передано по телефону и опубликовано в ереванской центральной газете «Коммунист».

С тех пор прошло время, мы уже перешли в новое столетие, но то, что написано А.И. Цветаевой, не потеряло значения и сегодня, когда продолжаются многомерные переключки городов, местностей, стран, литератур и культур...

*Станислав Айдинян,
литературный секретарь и редактор А. Цветаевой (1984–1993)*



*история одного
путешествия*

Часть первая

Крым, осень 1971-го

*Нет печали печальней,
Чем та, что из радости выросла...*
Тер-Акопян. Новогодняя баллада

Мой друг Женя провожала меня до калитки...

Пять разноцветных кошек вились у ее ног. Цепная собака Нака рвалась – ласкаться. Темные, под еще темными и густыми бровями Женины глаза, молодые на уже старом лице сияли грустью прощанья. Вот уже девять лет мы все прощаемся, по нескольку раз в год, и в самую душу глядят эти расстающиеся, тоскующие глаза.

– Женечка, я же всего – на три дня! Посмотрю, что сейчас в Коктебеле, можно ли нам к Марусе – и за тобой вернусь!

Обнялись. Бодрый шаг с кошелкой по крымской дороге – к автобусу.

Жене и мне Старый Крым – разное: ей – отдых, тепло, безветрие истощенному в вечных московских простудах телу, дружба с ласковыми старушками, мир. Мне – тяжелая память о когда-то тут бывшем в молодости – смерть первого мужа (тогда уже мужа другой) – могила его потеряна, я перестала искать ее в приезды последних лет, крест давно сгнил – или сожгли в разруху, с тех пор – более 50-и лет... И дома найти не смогла, все перестроено...

Деление повести на части (в т.ч. эпилог) и их заглавия даны Г.К. Васильевым и Г.Я. Никитиной. – *Здесь и далее примеч. ред.*

В другой части городка – другая сгинувшая квартира, где я жила, счастливая, с человеком, в дом которого сама привела соперницу, полюбив ее за ее колдовскую, волшебную душу...

Вечно жив вечер Троицы, сеном посыпанный коридор, через стеклянную стену его – луна и трепет березок... Это живо в сердце – как рай из детской Священной Истории, – и почти священные, по-грешному, те колдовские дни... Но вот уж конец города и автобус, и час, полтора – меж киммерийских холмов Максовых. В его дом еду, давно умершего друга, к его вдове...

Феодосия! Новая боль... Здесь, в когда-то любимом родном городе, от которого после войны с фашистами почти ни следа: заново отстроенные чужие улицы, как во сне ищешь знакомые повороты, ошибаешься, отчаиваешься... Года два назад я почти нашла свою – в 1913–14 гг. квартиру на Бульварной, напротив Царского офицерского собрания, мы с Мариной в унисон там читали ее стихи «Генералам 12-го года», и никто не знал, что все нас слушавшие через полгода пойдут в бой – и погибнут – как те...

Да, четыре окна – два моих, окно детской, где рос годовалый сын, окно столовой. Сюда, в эту парадную дверь входил чудный, похожий на Зевса, Макс, я кончала купать Андрюшу, няня начинала его укачивать, а мы шли к морю, к молу и волнорезу, или в степь, и я рассказывала ему о своем расхождении с Борисом, и он всё понимал. Он был вдвое старше меня, но он видел мое понимание и говорил мне о своей жене Марго, об их нефизическом браке, о том, как она ушла от него к человеку, иначе полюбленному, как он отдал ее... Мы шли, и был ветер в степи, я шла с родным братом князя Мышкина, которого люди звали «Идиот», а над нами закатом и ветром легло вечернее небо –

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи.

(М.А. Волошин)

Я обогнула узанный дом, в трепете сердца заглянула во двор, полуузнавая «черную лестницу» в ту квартиру – но передо мной вырос красноармеец у незамеченной мною проходной будки, и весь двор оказался в красноармейцах – как во сне... Автобус остановился, вернув меня к яви.

До автобуса в Коктебель – час. Я выхожу на бывшую Итальянскую по узенькой Галерейной улице, огибаю дворец Айвазовского (где 51 год назад жил в доме бежавших за море друзей, потомков Айвазовского, Макс, читавший членам Ревкома свои стихи о Старой Руси и свой «Дом Поэта») – и, замирая в счастье *Semper Idem*: во дворце, нерушимо пережившем фашизм, ядра с моря, не изменился даже цвет стен. Так же сидит в кресле памятника старый армянский художник, бакенбарды не дрогнули, как палитра и кисть в руке, породистый профиль чуть повернут к открытому морю. Человек, за морские картины получивший чин адмирала, неизменно сидит у своей галереи – и перед ним – это ли не Краса Судьбы! – свободно плещет море, как в те дни, когда он, царь Феодосии, провел своими казной и властью – феодосийскую железную дорогу! Обдуманно – или случайно – море перед его домом не тронута – перестройки, военные базы, заторы идущему – все от него вправо и дале – но по самый угол дома, за рядом узловатых мощных тополей пирамидальных (в дни юности нашей они были юные, как мы...) волны синеют и зеленеют мощно, широко, как в старину, отвернув лицо свое от жиденького бульварчика со скамейками у каменного парапета – перешеек к закрытым воротам «баз», отнявших у жителей море...

И снова автобус, и снова дорога, и снова киммерийские холмы. Сколько можно было, я все оглядывалась назад вправо на исчезающий мыс у моря, где, отрезанные лучом солнца, горели генуэзские башни Каффы-Ардевды, родной Карантин, где я когда-то жила. По морю, вдали тихому, шла та знакомая <нрзб>, что означает перегиб дневного часа.

Я жду: почти год прошел с прощанья с ними – с тремя горами, душой Коктебеля, они появятся – за вон тем холмом... сейчас! И – торжественно, как каждое предчувствие и пророчество – они выплывают навстречу взгляду: правая – вся из темных острий, душа готики, обрезаая пики свои о небесную синеву (под этой горой могила моего младшего маленького сына, 54 года назад), Сюрю-Кая переходит в радугой поднятую Святую гору (где могила татарского праведника), зеленую, кудрявую, бархатную. И, снижаясь у перевала – дает – левее – место и власть Карадагу, каменистому, коричневому, с короной

уступов, крутых спусков, руша в море знакомую Максину голову-профиль, его каменную бороду – длинным тонущим мысом... Легко – я тут *так* всегда молодею, хоть тут прожито столько горя... Но ведь я у Макса тут, на его трагической, почти священной Земле – легко избегаю по лесенке приморского знакомого дома с двухвысотными полукруглыми окнами – по белой наружной лесенке, знакомой, как родной дом – и вот мы уже обнимаемся, Маруся и я, не видевшись – год...

Марусе – 83, между нас – семь лет разницы. Мы знаем друг друга с 1919 года. Она подруга той колдовской женщины, которую я привела в свой дом... Но это так далеко, так давно – для нее, как и мне. Глыбы прожитого увели и ее, и меня от тех дней. И тот друг мой давно, давно умер... Как и муж Маринин, и муж Маруси – наш друг Макс. Но его могила цела высоко на горе. Холм из камней, из них выложен крест. Внизу море и горы...

День проходит с Марусей. У нее обедаю. После обеда – и ночь тут буду – сплю все в том же, мне уже годы отведенном, углу проходной комнаты рядом с Марусиной (когда-то Пра, матери Макса, тоже проходной – в мастерскую и к морю) под знакомыми портретами Макса, под семейной иконой той моей и Марусиной Ольги. Еще не заперта, по-осеннему, дверь на угловую террасу к виноградом заросшей стене, с нее – крутой лесенкой – вниз, в маслины, кусты, деревья; справа – море, его шум. В этой комнате ночь до похорон стоял гробик Алешин, 54 года назад. Была жива Пра. Через три дня я поеду за Женей, мы вдвоем будем спать здесь, уж который раз.

С Марусей пью чай дневной, в пять часов. Порываюсь идти к Алеше, но начинает смеркаться. Маруся говорит: «Куда ты? Поздно! Завтра пойдешь!» Малодушие? Деликатность – побыть с ней? Соглашаюсь. Сумерки падают сразу. Вокруг наших белых балконов с лестницами вспыхивают курортные фонари... Вокруг Максиной башни, его Атлантиды – гулянье курортников, наша постоянная боль. Вечер проходит с друзьями Маруси, в столовой, длинной комнате с этюдами Макса, с роялем, помнящим Скрябина, Рихтера.

На ночь мы крестим друг друга, мирно ложимся. Завтра рано, еще до завтрака я пойду – прежде всего к Алеше. Помолюсь с ним вместе о нашем Андрюше, старшем брате его,

столько вынесшем, но все еще «в форме», моем сыне, как давно он не был здесь.

Может ли шаг в 76 быть – молодым? А он – молод. Ритмичен, упруг, ступни идут по знакомой земле, как шли в 16 и в 25 – и легкая грусть летит ко мне – буду тут с Женей идти медленно, ее, не своим шагом – я же ее люблю нежно, как никого, – почему не с ней мне идти так, как хочется, неудержимо – молодым шагом. «Ода» Маринина «пешему ходу», наша «цветаевская» страсть... Никого молодого вокруг – близкого, вся эта молодежь – чужая... Тут мы шли, в 18, 16, Марина и я, и Сережа, не шли – летели. В татарскую кофейню пить ситро или черный кофе, тратить избыток сил. Марины нет на свете уже 30 лет – и стихи ее 18-ти<летней> звучат во мне неудержимо, и я повторяю их по этой дороге, год за годом, спеша к Алеше, они живы волшебным, как я...

Где-то в горах огоньки,
Видно, душа над могилой,
Синие глазки милой
И до плечей завитки...

Облаком пар из пекарен,
Воздух удушлив и прян,
Где-то рокошет фонтан,
Что-то лопочет татарин...

Мост – позади. Редкие магазины. Поворот влево к горам, к Сюрю-Кая. Мостик дощатый. Год не видела его, абрис гор Алешиных, тихой ограды кладбища, лепящегося по холму. Я вхожу тропинкою меж могил татарских и русских, выжженная трава, репей, перекасти-поле... Вот ограда Волошиных. Черный крест Пра. Ее мать. Их друзья – давние и недавние. Палку и сумку о лавочку, покосившуюся. И на колени перед крестом Алеши. На горах и вокруг тишина... Лечь бы тут, рядом с маленьким сыном... Где лягу? Тут было бы *правильно* – лечь...

Дверь на большой белый балкон – распахнута. Синева, взрыв волн. Сентябрьский день коктебельский – лето! Утро. Мы отпили чай.

– Ася, – говорит мне Маруся Волошина, – обрати внимание, ты его увидишь сегодня; на молодого поэта. Из Воронежа. Талантлив. И – *чистый*! Ты понимаешь, Ася, у меня на них всех уже не хватает сил. Устаю. Он, кажется, хотел быть в Москве. Покажи его там кому знаешь. Надо ему помочь. Он, должно быть, болел. Всё молчит. Нынче в мастерской будет лекция, профессор один прочтет доклад о трудностях современной науки. Я звала молодежь. Может, и он придет...

– Как зовут?

– Валерий. Фамилия – армянская. Да тебе Сережа покажет.

Сережа – художник. Высоченного роста. Киевлянин. Коктебельский завсегдатай, знаю его давно.

...Максина мастерская. Длинные полукруглые окна, два этажа, лестница. Книги. Профессор читает нечто невообразимо скучное. Маруся – внимательна (значит, что-то поняла, чего я – нет.) Под гигантской головой египетской царицы Таиах сидит совершенно один – юноша. На диванчике, наклонив четкий профиль (надо лбом густота черных волос) – и пишет. *Под* лекцию о науке! Почему-то мне почудилось что – *не* о ней – о своем, и воздушно невидимо протянулась моя дружеская рука к нему. (Правда, позже, от него же узнав, что он тогда писал стихи за минуту до того увиденной женщине, сидевшей напротив, было дрогнуло на минуту разочарование от его рассказа, протянутого к неприкосновенности мечты о какой-то *другой* теме под пером его, но вспомнив, что он *молод*, я внутренне ласково улыбнулась, тихонько о нем вздохнув.)

В тот же вечер художник Сережа представил его мне. Слова «сестра Марины Цветаевой» дрогнули в нем, видимо, чем-то особенным, потому что на меня поднялись карие большие глаза выражением трепета и пораженности, черные брови не то сдвинулись, не то разомкнулись, и в душевном, несветском поклоне, в робком и все же крепком рукопожатии вспыхнула мне – душа.

Вечер. Шум моря. Почти по его берегу идет дорога. Темно. Позади нас – Валерия и меня – сияние аляповатых курортных фонарей над площадкой ресторана дома Литфонда, оно гаснет под нашим шагом. Идем быстро, все глубже входя в синюю мглу вечера, о котором так точно сказал Байрон – *that clear*

obscure – та светлая мгла... Мы идем к скульпторам. Скульпторы – муж и жена.

Она племянница Ариадны Николаевны Латри. Когда-то мы с Мариной, сестрой моей, знали ее в старой Феодосии, в молодости. Она была крупна, голубоглаза, добра, восхищалась стихами Марины и пела прелестным голосом романсы, песни старины, русские и французские. Мы не любили ее первого мужа, сухого художника, грека, усатого – и он не любил, что было редко в то время, нас.

Племянница – знакомая Маруси Волошиной – телом похожа на тетку, лицом – много красивей. 30 лет назад ей отрезало обе ноги у колен, она ходит героически на протезах. Что я могу рассказать о ней, наспех, Валерику? (Я мысленно назвала его уже так.) Это новый друг, его примело к моим, к цветаевским, берегам неким шквалом (слухи туманны) его биографии, меж нас – сдержанная ли – ? Почти – нет, потому что радостная, а радость – как утаить? – нежность! Я сказала то малое, что знаю: бодрая страдальца верит в перевоплощения (я – не верю, Евангелие нас – торопит... не знаем ни дня, ни часа – и в погибель широк путь). Но разве я могу говорить об этом с этим черноголовым цветком, молящимся на Поэзию, заволакивать сомненьями эти карие, рвущиеся к людям, глаза?

Еще – что оба они, преданный ее муж, талантливый скульптор – сыроеды. Не признают огня (я же – огнепоклонница). Рвущиеся к людям? Давно ли?

Резко вправо от моря, путь вверх – и вот уже сыроедческая калитка.

Почему, входя в темный сад, я вдруг вспоминаю, что спутник мой – из Воронежа? Потому что в Воронеже я была в 18 лет, с первым мужем, *уже* несчастная, хотя год до того это еще была любовь. Два же года назад – поэма «только утро любви хорошо...» Да, должно быть – поэтому и вспоминаю. Вместо сторожевого пса нас встречает лев необычного очертания, еще что-то каменное, полурожденное, и уже кувыркается в луче света у грубой каменной, необычного вида террасы, кошка, пестрая, темная – припадочная нежность ее к хозяевам равна только их нежности к ней.

Нестерпимое для реальной жизни предвиденье чувств, Маринино и мое, всегда делало нас в глазах еще не проснувшихся спутников – странными. От этого – легкий озноб. Раз навсегда задержанная в углах губ – улыбка, – и чувство, что ты совсем один – на каком корабле – не понять...

Между мною и Валерием – полстолетия. (Отчего же он так – в этом же *мне* нет сомненья – *нежен* ко мне?) Ангела послала судьба? Но уже нас встретили. На словно из скалы вырубленной террасе за простым длинным столом – несколько человек. Маленький, с добрым лицом, с крепким рукопожатием (скульптор!) хозяин всматривается в нас, входящих из тьмы – со всем вниманьем человека, знающего, что мы уже жили *до* этой жизни (кем были?), еще будем жить (кем станем?). А в моей душе, знающей *единственность* жизни, не еще ли драгоценнее встречи с людьми, *раз* здесь бывающими... Рассаживаемся – кто куда, в полумгле; свет только над столом. Над россыпью (собственного!) винограда. Валерий сел далеко от меня... вправо. Я – близ хозяйки, улыбчивой. (От дали его ко мне – боль. Знакомая с юности. Старость не помогает ни в чем! Когда начинаю любить человека, я чувствую себя Мариной. Точно она жива, и во мне...)

Пестрая кошка замерла на плече хозяина (сейчас *это* припадок *ласки*). Все готовятся слушать. На скамье рядом с Валерием – люди; кто – не вижу по близорукости. Голос его поднимается в ночь мягко, юношески, но в нем – чары. Слушаю всем существом, ибо – не все, но иные стихи хороши, и потому что, заколдовывая наш слух, он расколдовывает нам в руки – душу, нитью – клубок...

Голубь

Кто б ты ни есть, – исполать,
С чьих бы ни пущенный рук,
Голубь, слетевший узнать,
Что происходит вокруг.

Счастливый тем, что ничей,
Кличет ручей стороною

Переселенье очей
В мартовский воздух речной.

Домик слетает с крыльца
Склоном, в бурьяне витом,
В самозабвенье слепца
Бьется зеленым крылом.

Каменной кладки белки
Смотрят забором на юг,
Превозмогая тоски
И голошенья испуг.

Кто б ты ни есть, – исполать,
В чьем бы ни снившийся сне, –
Голубь, слетевший узнать,
Что происходит во мне.

Пролетка

На самолете путь короткий.
В экспрессе свет и благодать.
Но я мечтал достать пролетку!
Но я мечтал достать пролетку..

.....
И вдруг – однажды в Ереване –
Из-за угла – удар под дых –
Мечты и мистики на грани
Упряжка с парюю гнедых!

Шагали баснословно гордо
Два струнноногих рысака,
И тот, который с белой мордой,
Мне поклонился свысока...

.....
На самолете путь короткий,

В экспрессе свет и благодать.
Но я мечтал достать пролетку!
Но я мечтал достать пролетку,
Пролетку я мечтал достать...

Но над пещерой-терраской – черной крышей незаметно – опрокинулась южная ночь, и я вдруг вспоминаю панически ясно: в восемь часов ко мне придет на дачу Волошина моя молодая сожительница по московской квартире Ася – я обещала показать ей Максину мастерскую, Таиах и вид на окрестности с кровли – горы и звезды, поселок и морской берег – а я сижу тут... Вихрем подымаюсь, еле успеваю – рукопожатия, и уже несусь вниз по горной дороге, смело прыгая в полутьме по неровностям, увлекаемая возрастающим бегом, растущим морским шумом. А за мной – вдруг поняла, должно быть, пытаюсь меня оберечь от паденья – бег в 76 лет!.. – летящий легкий шаг, догоняющий: Валерик!

– Не бегите, – кричу я, – зачем? Мне – не надо, не упаду! Она же может прийти? без меня, я же не прощу себе... – И уже – круто, потому что конец улицы, на бегу заворачиваю к морю, в его полный широкий шум... Господи! Легкость – будто 16! Заставляю себя перестать. Иду – и отдышиваюсь. Черно. Справа – утихающее о свою же даль море. Впереди – курортные фонари.

Ася опоздала, и я успела побыть с Марусей, выпросить у нее фонарик, чтобы было чем осветить верх мастерской. Мы поужинали, и только тогда к нам постучали, и веселое, полное ожидания личико Аси заглянуло в для нее новое святилище живописи и поэзии. Мы постояли у Таиах, матери Эхнатона, свекрови Нефертити, чья головка населяет квартиры Москвы, – Таиах одна! Вот она, ее не глаза – очи, ее улыбка таинственнее Джококондовой... Я рассказала о ней.

Мы поднялись по лестнице мимо Максовых голов кистью футуристов, других «истов», Диего Риверы и проходим в задний, за закрытой стеной, будто потайной кабинет – книги, книги... Сухие травы в керамических вазах. Портреты. Маски: Гоголь, Пушкин, Достоевский, Гомер, еще кто-то – луч фонарика, тая, не воскрешает черты, сливается с тьмой потолка...

В ветре молодости Асиной, две Аси, молодая и старая, выходим мы на Максов балкон, в ночь, в воздух, в море... И, круто вверх еще по одной лесенке – выше еще, высоко над Коктебелем спереди – в невероятной живописности и красе – очертания гор, сбрызнутых земными огоньками поселка, дожизненной мощью моря, гулко сзади уходящего в незримую даль, в холод... А над нами мириады звезд, млечный путь, и голова кружится, как кружилась под этим же небом 60 лет назад, в 16...

Когда мы уговорились – не помню. Я должна утром зайти за Валерием, он живет в первом доме от входа на участок Литфонда – и пойдем на кладбище к Алеше!

Но ранее, чем я собралась идти – к нам по лестнице легко поднялся – пружинистым юношеским шагом Валерий. Душа распахнулась навстречу его счастливой улыбке. Господи, за что мне послан в мою жизнь – ангел? *Как* хочу скорее его подарить моей Жене! Кажется, и это не помнится – что-то мельком сказал он вчера, что какая-то женщина, киевлянка, собирается в Старый Крым и просила его ехать с нею, помочь ей в каком-то деле... Вместе поедem? Как чудно...

И вот мы идем по дороге в поселок, полжизни назад мы это звали «деревня». Широкими плитами мимо низеньких кипарисов, узким тротуаром – влево и по доскам мостика – к подъему на кладбище. Сухими травами, лишайниками... скрипом шагов будя тишину... Синева, бархат горных теней... Большой крестик Алешин... Валерий мог бы быть его сыном: 55 лет, 26...

После утра 25-го у *Алеш*.

Втроем – знакомая Валерия, попросившая сопровождать ее в Старый Крым, Валерий и я идем берегом к автобусу чьей-то базы, едущему в Старый Крым. Я счастлива – я везу Жене – *такой* подарок! Поэта (поэту, ей!), чудного юношу, ласкового и светлого как ангел, светлого в *такой* темноте оперения – бровей, глаз и волос! (Черпаю из будущего доказательство чужим глазом и словом: полгода спустя писавшая его художница: «Черты его очень резки – и в то же время – нежны, это очень затрудняет писать его...» Я применю это определение к себе, и в тени его мне будет привольней, благословенней – пытаться рассказать об этой вошедшей в сердце душе. Но, должно быть, в тени светлой этой души я ехала все километры

Коктебель – Старый Крым, потому что не помню – ни холмов, ни дорог, ни нашей – мешавшей, конечно, мне, нашей спутницы, вовлекавшей его в некое дело, имевшее быть в Старом Крыму, дело спорное, сомнительное, но казавшееся сперва – и хорошим. (Мы с Женей, только опомнясь, оставшись вдвоем, поняли, что религиозность этой выдумки – сомнительна, и – сколько было сил в нас – воспротивились ей.) Но в тот день я видела только что-то фальшивое в лице едущей с нами женщины, но в свете души Валерика был радостен путь вместе – и к Жене едем! Мы молча улыбались друг другу, мне было несколько лет...

Наша спутница рассталась с нами при самом въезде в Старый Крым, у автобусной станции. Мы летели к Жене – почти наугад, рискуя ошибкой в выборе улиц, радуясь и смеясь, как дети. И вот уже узнанный угол – дом, сад, *наша* калитка, где я прожила у Жени шесть дней у ее прелестной шестидесятилетней хозяйки Лизы, красивой и умной, любящей кошек и книги, полюбившей Женю, меня – сейчас вместе с Женей полюбит Валерика! Он нам будет читать стихи... В новом волшебстве, подаренном Жизнью – за что? ни за что, как Подарок! (или за долгую тоску приблизительных дружб – такое вдруг озарение – юность и нежность, поэтический дар, счастье бессловесного понимания, страсти к слову, к цветаевскому, поклонения Марине, восхищенное одобрение моей прозы (66 год, «Новый Мир») – с сыном? мало! с – внуком? по возрасту – так, но совсем непохоже... – с Братом, сияющим вот уже третий день. Врываюсь в сад к Лизе и Жене, к водовороту кошек, к лающему танцу цепной Наки – и по ступенькам крыльца в низенький беденький коридорчик – окнами в сливы и яблоки, к чайному, кизиловому, ореховому, хлеб, масло, сыр, яблоки, доброму их столу – и уж не двое нас, а четверо (люди), шестеро (зверье) – семеро – я забыла Жука, сына Наки (радостно валит с ног) и, может быть, придет наш Андрей, еще ангел, синеглазый, Божий, старше Валерика.

В этом маленьком раю мы прожили до ночи. Андрей не пришел, остался в «Светлом Проекте», мы их подарим друг другу – Андрей ведь тоже Поэт, и какой! Философский, волшебный. Мы устроили Валерика ночевать у внезапно зашедшего

чудачка и немножко озорника Виталика, Жениного названного внука, у его бабушки, в ореховом и виноградном саду на пути от нас к автостанции.

И ложимся спать в белой Лизиной комнатке, в саду – ветер, лай, в окна прыгают кошки – Тимур (Женин) и Лизины Рыжка, песчаная Пуська, голубиная Димка и пепельная, дичится, Марья. На полу (потому что Женя замерзла) согрелась, малиново накалась встающей луной, плитка, и, засыпая, мы хвалим Валерика, бредим их будущей дружбой с Андреем, а ветер всё качает и рвет ветви сада, – и далек шум коктебельского моря, куда мы тотчас же поедem, как только сходим завтра (память, год со смерти жены Александра Грина) на кладбище, где помолимся у совсем свежей могилы друга, Поэта, Григория Николаевича Петникова, на другой день в Воздвижение, 27-го, побываем в Феодосии, в церкви – мне в этот день минет 77 лет...

Димка мягко вонзает лапы в мой голубой свитер, Женя, кажется, спит...

На другой день ждем Валерика, я жарко готовлю обед, радуюсь, что всех накормлю, стараюсь час, два, скоро три. Никого.

И внезапно, спешно, Валерик: он с утра гулял с той спутницей нашей, были далеко, в лесу, а сейчас она прислала его сказать, что они идут в ресторан – обедать, чтобы не ждали его...

Перекрестный взгляд: Женя, я. Моя рука замерла над кастрюлей с готовым борщом, мы ходили купить сметану, поджаренная картошка благоухает горой на сковороде... Слова замерли на губах, было начав с: «А мы тут...»

Но юноша, улыбаясь, откланивается, его очи не видят плодов земных, его ждут, он спешит, – он придет за нами после обеда, с нашей спутницей, вместе идти на могилы. Дверь закрыта. Яростный лай. Легкий прыжок с крыльца.

Грустно, хоть вкусно поев, мы легли уснуть. Было и четыре, и пять – никого. А когда, наконец, снова в наш дом вошел к нам Валерик, а за ним – дама... (Ох, эти дамы! Но не они ли вдохновляют поэтов – в ресторанах, в лесах и в горах – и ведь имена посвящений в его стихах суть – реальность...) Но, увы, Женя, прождав, устав, уже не может идти на кладбище, куда *так* хотела к Нине Николаевне Грин, ею любимой,

и мы идем туда без нее. Мне смутно на сердце, но я несу цветы Григорию Николаевичу Петникову, и Валерик помогает мне положить их ему и помогает спутнице украсить могилу Нины Николаевны...

Мы заходим на могилу Александра Грина, над ней треплется в ветре алый лоскут – кто-то повесил в память его Парусов... На стоячем памятнике – в овале его лицо – суровое, длинное, с печальным тяжелым взглядом. Я его видела раз, в Москве, стоял с Дмитрием Ивановичем Шепеленко на улице, очень давно... Очень похож!

Мы всходим на холм, где молодежью из больших камней сложен самодельный, горой, памятник Грину. Ветер. Дали уже потемнели, поблекли. Панорама на городок и окрестности. Вдох: *ее* видел (что ляжет на этом кладбище) мой Борис много десятилетий назад, в предсмертном прозрении. Мы горюем и негодуем о том, что верную жену Грина по клевете не разрешили похоронить рядом с ним, между ним и ее родной матерью – в нескольких саженьях. И молчу о той горечи, что *следа* нет меж могил – Борисовой. Как Марина! Исчезли. Как провидчески предсказала она о себе, как задолго до смерти! И неутешно оплакав Бориса, так нежно любимого ею:

...Исчезнуть. Не оставив праху
На урну...

Сойдя с холма, спешим – южные сумерки. Женя ждет. Уют вечера. Дама ушла. Валерик, Виталик с нами. И Лиза. И кошки. Ужин...

А наутро спешим на автобус феодосийский, еле успеваем. Валерик ласков, заботлив, нежен. Его ангельское лицо с демонски-черными волосами, густыми, как ночь, наклоняется к Жене, ко мне с небесно-сыновней грацией.

Воздвижение. Высокие своды. Хор. Солнечный луч косо пал вниз, зажигая угол иконы. Жду вынос креста – приложиться и увидеть о. Макария, ездившего со мной к Григорию Николаевичу Петникову год назад. Женя с Валериком стоят поодаль, тихо. Женя кротко, добро. Валерик – ? Отчужденность,

настороженность. Но – уважение... Мрачное. Дышит чужим воздухом? Вдох. У каждого своя дорога...

На обратном пути говорим о скорбной картине могилы Григория Николаевича, женой еще не приведенной в порядок, когда-то еще – памятник! Но – без надписи. Ничья! Могила – Поэта!

Сохранив время, мы взяли такси из Феодосии в Старый Крым. Сидим вдвоем, тесно и дружно. Фон окна – летящее небо, череда холмов обводят собою профиль Валерика, богданного сына, брата – что помогут названия? Этот подарок Жизни покрывает собой годы, десятилетия труда, разочарованной усталости.

Под моим топчаном в старокрымской Жениной комнате на дно уложена книга восточного поэта, подарок Валерика. На ней надпись: «Любимой Анастасии Ивановне в день ее рождения. 27 сент. 1971 года. Валерий Исаенц».

Наш последний вечер в Старом Крыму. Сегодня он ночует у нас во входной узкой террасе с окном в сад, и мы с Женей покрываем его шальями и пальто – сверх нетолстого одеяла и кофтами, чтоб не мерз. От его прекрасных – и красивых черт трудно отвести взгляд. Но улыбка еще краше. Где он был до сих пор? И как он мог жить без нас? Молчаливый восторг его, тепло пожатия и улыбка говорят, что он и не жил до сих пор, мучался...

Лизе, Жениной хозяйке, как и нам – понимает! – по душе пришлось стихи, которые он прочел нам вечером:

На празднике оленей

Душа и шапка – набекрень,
Ликует сердце сгоряча,
И – только легкий бег оленей
Да взгляд якутки невзначай!
Лети!
Ведь светел глаз якутки,
И ветер пламенный и жуткий, –
Всю жизнь твою стремится попутно
К полоске неба изумрудной.

Собаки рыцарских кровей
Сопровождают бег саней.
В сторонке сопка, и за ней –
Щемящий крен на повороте.
(Бежит Дубищев в стороне,
Кричит вдогонку: «Упадете!»)

Но ты, упряжка жизни, круто
Свернешь, уже не чая грунта,
Скосишься, падаешь как будто, –
И снова бег твой устремлен,
Полет вне прений и времен!

И еще он читал нам стихи странные, смутные, посвященные балерине:

Движеньями нежной вуали,
Под паутиной пелерин
На сцену грации вступали
И Вакха за руку вели...

И бес перстом повел едва, –
И – свет! Томительнее мака,
Где над сливовой рампой мрака
Софит карманный божества!

В него – всеведующим жженьем,
Моим безумьем до черты,
Мольбой, тоской, слезой, спряженьем
Глагола «жить» явилась ты...

Я засыпаю, окутанная его ритмами. Это я запомнила наизусть. Он читал эти стихи и в мастерской Макса, и, по моей просьбе, у Арендт (он сказал – это плохие стихи, но добро согласился прочесть, против воли). Засыпаю – и повторяю: «Мольбой, тоской, слезой, спряженьем / Глагола «жить» явилась ты...»

Но я еще успеваю подумать: «Вот в этом и состоит трагедия? Что – ранее?» И ответить себе в полусон: – Нет,

не так. Я еще была совсем молода, когда себя связала обетом...»

Ночь, сон, сны. Тонко, длинно, как паутина. Сумраки, непознанность, непознаваемость. Неназываемость. Просыпаюсь в чью-то Радость, – в Нежность, в ощущение Зова:

Что б ты ни есть – исполать,
В чем бы ни снившийся сне, –
Голубь, слетевший узнать,
Что происходит во мне...

Стихи эти были написаны кому – я не знаю, посвящены Валерием – мне.

...За вон тем холмом – сейчас! Душой Коктебеля три горы... Поворот, Максов дом. Под руку с Валериком Женя идет медленно, я легко избегаю по лесенке, веющей нашей с Мариной юностью, знакомой, как родной дом. Я была молода. Я – старуха! Но я та же, *та же*, как тогда. Стою миг, пораженная этим. Молодость? Старость? Шум Жизни, как морской шум, обнимет душу человека, и сердце бьется, как когда ты родился и рос. И растет в шум прибоя...

Мы идем в Лягушачью бухту. Женя не пошла, далеко. Валерик и я. Он радостен, что я иду легко, быстро, он таких старух не видал? Смеюсь я тоже! Но мне 77 лет! Но я почти прыгаю по камням! Только раза два, три за весь долгий извилистый путь он, обернувшись, подает мне руку – не *под* руку, нет! как более слабому товарищу – пальцы в пальцы.

Справа – горы, скользим мимо них по тропинке. Не забыть этот куст, янтарь и пурпур, и червонное золото – на крутом спуске над морем! Оно – слева – близко, то – глубоко внизу – так взлетает и слетает тропинка. Горизонт – пропал. Безмятежнее синева слившихся моря и неба. Идем, идем и идем. Грань меж возрастами – где она? Безмятежно понимание и молчание. Наконец Лягушачья бухта! Далеко от всего, и во всей округлости ее раковины всего несколько человек. Тишина. На камнях крупных и мелких – рушатся под ногой

(идем), шелестят и шуршат почти лесным звуком – под рукой – *ищем* камни с двумя лягушачьими глазами, откуда и имя бухты, перекидываемся словами, протягиваем друг другу – камень. Эти подарки бережно откладывает рука...

Он встает: купаться! Улыбается, стоит во весь рост, я лежу, смотрю снизу. Хорош! Создает же – Природа? – такое! *Не* понимаю в телесном мужском (женщину – понимаю!), но – хорош! Глаз – любит. Какая у него мать? Какая женщина родила такого? Сбросил рубашку, майку (как просто раздеться – мужчине! Трудно – женщине!). Всплеск – море приняло тело! Мерное рассеканье волн. Черная голова вознесена над зеленоватой синевой, каждое движение тела плавно рождает пену. Я *чувствую* прохладу, его обнявшую. Повторяю строки стихов, им читанных. Тихо. Люди – ушли? Бухта тиха. Только всплеск, им рожденный. Я, кажется, счастлива сейчас?

В моих руках, жадных на красоту пригоршней, тихо гремели перекатывающиеся друг через друга камни: одни круглые, как грецкий орех, другие – как миндаль, но были и совсем маленькие драгоценности... Этих было больше. Да, это были *не те* кокетельские камни прежних лет, когда еще не вычерпали механическим краном благодатную толщину плотного гравия, лежавшего тут годы и годы: бесславно погибли на стройках *настоящие* драгоценности, чудеса прозрачностей и туманностей – агаты, опалы и жилками перевитые – сердцебиение искателей! – халцедоны и сердолики – то, что я держала в руках, было, по имени прошлых лет, простые «собаки» – дворняги и дворняжечки каменного царства – но *как же* хороши они были! Я не могла дольше держать их – так, застывая одними – других! Я вывалила их на постель и сама упала над ними вслед, чтобы лучше видеть и упиваться. (Валерик ушел, я могу пока любоваться *ими*, безоглядно, всласть...)

Этот мягко-треугольный, к концу почти острый, с закругленным противоположным краем: верх – как на черепахе панцирь, был мутно-зеленым, а из-под темного панциря, как заря из-под туч, сиял розовым низ – нет, неверно! *Низ* был тоже зеленоватый – тонкой скорлупкой – а меж двух темнот розовела его душа, обводя весь камень ровным слоем розовой

бесконечности зари – цвет менялся, сгущаясь и тая... И нельзя было отвести глаз! Рядом с ним, как толстый крутой кусок черно-белой гравюры, играла разводами белизны по агатовой черноте лилипутья гора, обвал.

А под ним – овальный, кем-то обточенный аккуратный темно-серый камешек, усыпанный круглыми, разной величины, белыми пятнышками – те, что крупнее – ярче, а маленькие – бледные, – аналогия со звездным небом.

Всего ярче два самых больших, и то, что самое большое – ослепительно бело, точно его сейчас положили сюда точным уколом острой кисти, окунутой в масляные белила. Но оно сухо и плоско, окруженное россыпью бледнеющих к самым бледным, исчезающим – так малы!.. Этот камень лежит на других двух и резко от них отличен. Кто их *так* отделил друг от друга и формой, и цветом? Кто подобрал цвета в каждом?

Маленький, полупрозрачный, и эти два «полу» отделены гранью извилистой, но неумолимой: середина камня – полупрозрачна светло-серым тоном, а другая – туманнее и блее. Низ и верх этой почти молочной туманностью туго сжали с двух сторон светлую серизну, а наверху этого крошечного, острого, не шлифованного, почти колющего пальцы, здания – крошечная черная крыша, сверху плотно наложенная шапочкой – на середину...

Валерик их *выбирал* мне, эти маленькие миры, эти мирики...

А вот этот второй, на котором покоится камешек звездного неба, – это уже целый мир! Больше тех двух в несколько раз, из неявной, сплывшейся мозаики – разводы тускло-алого и серого вдруг дали место *почти* – белизне, и по ней кем-то нарисована темная гора с двумя вершинками, и под горой – бледно-зеленое море, кончающее фасад камня и обнимающее всю спинку и бок левый, как океан объемлет шар земной...

Но я размыкаю пальцы и, как Колумб, открываю новую землю правого бока – каменный белый берег...

Мы правим стихи Валерика – Женя, он, я, – когда с рюкзаком на плечах, тяжелою ступая, показался на лестнице долгожданный Андрей.

Вечер. У круглого большого стола посреди нашей с Женей комнаты у Маруси, под шум моря – наконец стоят Андрей и Валерик: каштановый, синеглазый – когда открывает их в их ширину – небо в них! Черноголовый, сверканье карих глаз, то – мрачных, как сама ночь, то – глядящих в самую душу.

Андрей – старше, почти в Христовом возрасте. Лет на пять старше Валерия. Не совсем так и совсем не так – они встретились, как мы ждали: сходства видели мы, ждали – дружбы. Но у стола круглого, как луна, как земля, обозначаются острия несходств. Глаза Валерика то уклоняются от раскрытой Андреиной синевы, то зажигаются в спор: я не знала еще за ним тяги к риторике! Не сдается с нами удержанный Валерикин *вздох* – на обтекающую его возраженья готовность будто б согласиться? – Андрея. *Лезет* в бой! И уже, это почуяв, старший принял вызов – и, из прошлого зачерпнув задор, полудобро, полужадорно – отстаивает свои положения, не боясь называть слова, от которых Валерий – уж не стоит! Обе мы, их на два поколения опытней, тоже не сразу постигаем узор этой встречи: тревожимся. Но уже улыбка Андрея затопила комнату – неужели его не полюбит Валерий? Ведь в обоих – по целому ангелу...

Один раз не выдерживает Валерик – с чем-то вроде: «Нет, я не могу – так!» – задохнувшись несогласием, хочет прекратить разговор, может быть, добрым смехом Андрея обиженный? Но Женей или мной словесно поглаженный, укрощенный – терпит. (Может быть, почуял сперва за мягкостью в противнике неуловленный, Андреем уже неценный, – ум?)

Но к чаю зовут! В той комнате, где когда-то я жила с маленьким сыном – где каждый вечер встречаются коктейльцы, живущие у Маруси, жены Макса, ее навещающие, под в морской рев то и дело открываемую на входной балкон дверь – спор Жениного и моего – сыновей? – стих. Другие голоса говорят о себе, о своем. Под то добрый смех, то – покрикивание на минуту вскипавшей гневом Маруси, эта большая, неровная, улыбающаяся ей, друг другу подчас незнакомая, ершащаяся кто-то на кого-то семья погружает в свой ритм. Чаепитие. Завтра кто-то придет спеть свои песенки. После-завтра кто-то приедет. Кто-то привез письмо – из Москвы, из

Киева. О Пушкинском ленинградском доме, о выставке Макс-овых этюдов. Еще кто-то входит... Мы выскальзываем на балкон. В луну, в море, в их блеск, их согласие, в их сливающиеся тишину и шум. Опершись о белую балюстраду, нами умоленный, потому что Валерик не хочет, Андрей говорит стихи. Валерик слушает – поглощенно...

Новый Свет! Там я была один раз, в 1919-м, с моей умершей подругой и с к ней с фронта Гражданской войны приехавшим другом, коронованы юностью посреди разрухи и бед... Кони мчали нас, сидевших на наброшенном сене, по белой крымской дороге, вившейся, как змея. Был смех, и была луна, и был канун их расставанья (встретились ли они в Том Мире, или *он* в этом еще?). И я помню волну, ставшую пеной в прыжке разбиться у чем-то знаменитой пещеры, ночь была голубая – насквозь...

Мне 77, Жене скоро 73, и мы с юными друзьями нашими едем в до сих пор прославленный Новый Свет. Автобус в Судак, сходим у его начала, тут же – в другой автобус через Судакскую долину.

С *того* дня до дня, когда я в поезде Москва–Павлодар пишу это, – прошло всего полгода. Но ни Жени, ни их двоих нет со мной, и некого спросить, *как* мы ехали автобусом из Коктебеля – туда.

Над виноградными долинами,
Меж бурых и зеленых гор,
Мчит вверх петлями серпантинными
Храпящий, словно конь, мотор.

А море бездной серебристою
Поблескивает вдалеке,
А солнце огненными искрами
Разбрызгано на потолке
Все ввысь стремящего автобуса...
И высота за высотой –
Мы кружим узкой лентой глобуса,
Как серпантин перевитой.

Путешествие, Историю коего я пишу, продлилось с остановками до позавчерашнего дня, когда Валерик посадил меня в поезд и долго – как когда-то мы в молодости – добро бежал за ним. Неточна память. Может быть, и не так? Но память *сердца* сохранила картину внутренности такси, Женю – слева, Валерика – справа, спереди перед нами, спиной, но то и дело обертывающегося Андрея; полет, радость, уют, благодарность, волнение и предвкушение – и чудесное лицо Валерика, нагибающееся к моему. Мне кажется, это длилось – вечность... (Но может быть, это было не там, потому что до Нового Света мы не доехали, а – до Судака, а оттуда искали другого транспорта, это помню.)

Дорога меж гор вилась, как над Средиземным в Castellamare, когда мы мчались с сыном Горького в Помпею, но лесные цветные ковры крымской осени ослепительнее итальянских гор. Глаза пьют красоту ненасытно, неутолимо. От резких во всей их мягкости поворотов чуть покруживается, как от вина, голова. Море – слева, внизу. Мы все круче ввинчиваемся – справа – в горы, по которым в 19-м нападали зеленые (избегали ездить тогда!).

И вот уж болью, медленно, полнится сердце навстречу разливу Судакской долины, где я в голод жила, – 25-ти! Все знакомо, и все иное, и не хочу я служить тоске встречи – сейчас. Не зная, не спрашивая своего спутника, когда *он* был тут, и не говоря о себе, слушаю его беглый рассказ о крепостях генуэзских, пытаюсь *через* него увидеть, осознать их, смолчать о себе, чтобы сблизиться! (От тоски моей канувшей жизни, ее призраков, тех огромных вздохов прощанья, что когда-то терзали меня тут, укрывшуюся в неполюбленных все равно судакских горах.) Чтобы укрыться в Валерика, *его* душу, *его* стихи, *его* прошлое. Вздохнуть *его* юностью, не моей.

Вот Алчак. Тут я с семилетним Андрюшей жила с осени по весну у позднее расстрелянной по ошибке в террор старухи, дружившей с семьей графов Капнист. Через эту долину я ехала ночью на мажаре с мукой, капустой, картошкой; дорогу, по которой мы мчались сейчас с Женей, Андреем, Валериком, я медленно полила струйкой масла подсолнечного из пудовой

жестянки, купленной в ожидании голода. Возчик был пьян, не хотел везти – «потому, как ты есть жидовка» (за длинный серый халат, надетый вместо пальто, за кудри и длинный нос). И вот Сахарная голова – горка, возле которой мы жили; Андреюшка играл динамитом – тут с весны по осенний отъезд на «Румянцеве» матрос брал нас из лодки поочередно и передавал над волной другому, на пароход... Провожал меня нищий профессор Кудрявцев, принесший мне в дар последнее, что имел – новую шелкового полотна петербургскую рубашку мужскую – чтобы я ее продала для себя и Андрюши. *Как* огорчился, что *не* взяла...

Мальчики проявили энергию, и из бухты Уютная мы приняты в какое-то странное автосооружение, едущее в Новый Свет. Как легко впрыгивают они, как добро втаскивают смеющуюся Женю, и как, стараясь избежать помощи, вскарабкиваясь за ней – я...

Еще острее краса пути, еще круче повороты дороги, еще синей глубь моря внизу, еще ослепительней его расплавленный в солнце блеск! Новое напрочь нам место и горы, новые бухты, Новый Свет! Площадка – и дом двухэтажный. Мы обходим его, ища комнаты. Находим. Кладем путевую поклажу, знакомимся с хозяйкой.

Привал. Все устроил Андрей. Упоительно есть на воздухе, на деревянном столе, вскипятив на плитке чайник, заварив чай (спор – *как* заварить жарче чай: у обоих мальчиков свой метод, разный, Женя знаток, чаехлеб известный). Одна я в стороне, в час утешенья не чая, согласная на любой. Хлеб, сыр, масло, яйца. От Андрея уют в хозяйстве – ждала, но инициатива и даже некое упорство приемов в Валерике – неожиданны. (Забываю, что кроме Суворовского училища и годов студенчества, оконченного Воронежского университета он еще много ездил – с товарищами? с женой? ведь он был – женат... Валерик – женатый? Этого себе представить – нельзя! Мрачающего от каждой настойчивой просьбы, для кого *уйти* естественнее, чем подойти (отчего так полна чуда его нежная дружба со мной, чем-то его так привязавшей...)) Может быть, мне удастся что-то в нем во благо ему – повернуть.

Еда – позади. Так! Мы с Женей будем ночь в задней комнате, Андрей и Валерик – в первой, проходной. К морю! В новую незнакомую бухту! Горы теснее, чем в Коктебеле, море еще синей. Новизна – как в детстве! Крутой спуск. Но, его одолев под руку с Андреем, Женя отказывается куда-то идти: *тут!*

Тут? И только всего? Сесть на камешки? Нет, на это мы с Валериком не согласны! Идти! Куда? В Шаляпинский грот! Расстаемся. Вправо и вправо берегом по лесенке вверх и – тропинкой, меж крутых камней, извилистой, местами нелегкой, мы спешим. Он – впереди, я – за ним, как шли в Лягушачью, временами молча берясь за протянутую мне руку, пальцы о пальцы, крючок на петлю, мускульная ритмическая помощь, мгновенная, – и снова спешим вперед – он впереди, я – сзади. Я чувствую в нем удивительную радость, что я иду быстро, легко, и может быть, удивление тает уже – так он принял в себя чудо моих 77-и лет, «Оду пешему ходу» Маринину... Цветаевская порода! От его молчаливого одобрения, сходного с счастьем, я готова *еще* быстрее, *еще* легче идти! Но и солнце щедрей, чем везде! Как Валерик прекрасней всех юношей! Море синей Черного, зеленой Средиземного! Скалы – круче шиферных генуэзских, золотых Côte d'Azur, где я семнадцати шла с восемнадцатилетним Борисом... Мы – под горизонтальным навесом скалы. Надписи. Это и есть Шаляпинский грот? Да. Присели. Не хочется! Люди идут куда-то? Пойдем дальше и мы. По тропинке *уже*, обрыв круче, камни крупнее и скользче. *Азарт* хода. Идем. Иду. Но я вдруг останавливаюсь. *Дальше я не пойду! Нет!* До поворота осталось сажени – две, может быть, меньше, но камни тропинки наклонены, держаться совсем не за что, обрыв вертикален и близок! Соображаю вмиг: Валерик встанет у самого края, чтобы меня поддержать – и от страха, что он так стоит, я поскользнусь непременно... вдвоем полетим в море? Разбиваясь о скалы? *Нет!*

Мое «нет» твердо. Только одну минуту он *пробует* меня убедить. *Не* сдаюсь. Мимо нас, пугаясь, цепляясь за неуловимые выступы, медленно идут вперед две, три молодые женщины в трусах и бюстгальтерах, полуголые, загорелые. Не идут, а ползут в крутом наклоне. Бережно уступаю им место, уважая их смелость, за нее стараюсь простить их бесстыдство. Я уже

повернула назад. Я никогда не узнаю – он никогда не скажет, и потому я его не спрошу – был ли разочарован во мне Валерик на нашем обратном пути. Что я не дошла так *совсем* мало, чтобы повернуть за скалу и увидеть и грот, и Царскую бухту, целый маленький новый мир... Он довел меня в *нашу* бухту, к Жене с Андреем – и пошел один назад – походить по горам.

Что он любит одиночество – я знала. Я только попросила его вернуться до темноты, чтобы я за него не боялась. Он уклончиво обещал, успокаивая. Нет, я забыла! На нашем обратном пути он мне читал стихи...

Страдаю безбрежно о светлой воде
У скал голубых Карадага,
Страдаю о самой высокой звезде,
О непостижимости праха.

Мой слог первороден, и лоб мой высок,
Но я обречен на закланье,
На чистую боль, на болящий висок,
За то, что предутренней ранью

Страдаю безбрежно о светлой воде
У скал голубых Карадага,
Страдаю о самой высокой звезде
И осознаю себя прахом.

Ты снилась мне
Сегодня.
В полночь,
Как благовеста бой,
Был свят
минор часов...

Сны, как стихи.
Не все –
Запомнишь.
Тем более
Когда – подряд.

Но этот,
Чуждый эстафет,
Был
В полудреме откровенья
Как бы подспорием к строфе:
«Я помню чудное мгновенье».

Я все хотел делить с тобой:
Кусочек неба голубой
(Он мой!),
И мой прибой
Под Карадагскою грядой,
И облака, что чередой
Пророков книги бытия
Уходят в новые края...

Тогда я руку взял твою,
Сказал: я облака люблю...

Ты проводи сознания нить
К созвучью дивному «любить»,
Любить цветную землю глин,
Луны румянящийся блин....

Искать камушки! Утоление! Отвлечение. Утешение от всего! Переговариваясь с Андреем и Женей, вспоминая строки только что слышанных стихов, жарко погружаюсь в молчащую красоту камней...

Нас зовут. Откуда?! Сверху. Мужской голос. А, Андрей догадался! Тот, кто нас вез сюда. Наш шофер.

– Хотите рыбного супа? – кричит он. – Свежего! С хлебом! Сейчас принесу! С товарищем сейчас наварили!

Слышим звуки: полупрыжков, полушагов – едет к нам рыбный суп. Смеясь, насыщаясь, радуясь дружеству и неожиданности, поедаем самодельный холостяцкий удивительно вкусный суп, заедаем ломтями свежего белого хлеба, огорчаясь (я – как бы о сыне, о внучках), что *Валерика* нет!

Небо, холодает земля. Его нет!

Женя увлеклась беседой с нас везшим и нас кормившим; бывавшим за границей по делам новосветских вин. Отзываюсь и я, услышав названья парижских улиц. Но через весь уют странного вечера, интерес к собеседнику – тоска и страх за Валерика всё растут. Уж луна! Страх борет негодование – как мог он на так долго уйти, оставить, предпочесть одиночество – дружбе, и, зная, что я беспокоюсь, боюсь за него в горах... Значит, он – бессердечен? А вдруг – он *не вернется*? Вдруг с ним что-то случилось? И мы не можем помочь...

Я уже вне себя. Должно быть, мой вид несчастен, потому что и Женя, и Андрей меня успокаивают: сейчас придет! От луны в горах светло, ему всё видно, он молодой, легкий, бывалый, *умеет* ходить по горам! Ну, увлекся, далеко зашел, спешит... Это слово меня ударяет: спешит по *таким* тропинкам, по каким мы с ним шли! Жизнь померкла. Луна, залившая голубым блеском бухту, жестока и насильственна. Что в ней проку, если *его* нет, если неизвестно, что с человеком. Господи, спаси его, Ты Один можешь!

Мы идем домой, я молюсь. Андрей пытается развеселить, сколько раз *он* бывал в таких переделках... Женя – ласкова. Она понимает меня. В наших комнатах горит электричество. Вот тут мы так весело пили днем чай... Как это давно!

Вечер без него, с незнанием, что с ним – бесконечен. Нет, мужская душа – потемки! Женщина не могла бы уйти на так долго, *так* заставить тревожиться! Они – из другой породы камней... Мы вышли с Женей походить перед домом. Пики гор пламенели в лунном свете. Я кончала молитву св. Пантелеймону. Шелест шагов, тень.

Женя, сжав мою руку, насмешливо, нежно, все вместе:

– Вот он, Твой Валерик...

Господи, Ты услышал! С нежнейшей улыбкой наклоняется ко мне лицо целого и невредимого моего мальчика. Золотые глаза с сыновней, братской, с волшебной нежностью на меня глядят. Сжав мне руку:

– Я далеко зашел. Было чудно в горах! Я купался. Я очень спешил назад!..

– Ужин позади. Нет, Женя не пойдет ни на какую лунную прогулку!

– Устала! Идите одни!

– Нет, Женечка, ты пойдешь... Потому что не идти – это свинство! Ты пойми: Новый Свет, еще в прошлом году собирались...

Темные, как самая темная ночь, глаза Женины почти так хороши, как в юности. Даром что наши лица – в морщинах! Ей доступны человеческие чувства! Сдается.

Мы выходим счастливой ватагой вчетвером, в черные тени домов, гор, в указанное нам зрелище чьего-то очертания на скале, когда луна встанет вон там... Море плещет ритмично и нежно, почти штиль, стоит волшебная лунная ночь. Но Женя и Андрей идут медленно, мы – быстрее, и мы исчезаем за поворотом скалы. Справа – море, глубоко внизу, воздушное от лунного света. Края бухты обнимают его тесным объятьем (в Коктебельском объятье – широко, отпускает на волю)... Слева крутая скала горит лунным блеском. Валерик крепко держит меня под руку. Его голос – глухой, близкий сейчас, слышен мне во всей тонкости интонаций, как бы пронизан лунным лучом. Он рассказывает мне о себе. О Тане, которую он любил с каким-то безумьем – такая любовь не могла длиться, она была обречена на разрыв. Но сразу после нее настало, как бедствие, новое счастье. (Слушаю и понимаю: страсть.) Нонна была хороша... несравненна! Но она не была умна... Но талантлива! (Слушаю, в легком трепете – удивительна мужская душа... Никогда бы не могла любить глупого человека...) Но любовь его к его Нонне вырастает в меня весомо, как скала, мимо которой идем. Она была старше его на 15 лет. Замужем. Металась между мужем и ним – он устал ждать. Измучился. И тут, может быть, чтобы найти выход – он согласился стать мужем женщины, с которой учился, она, как он, лечилась в психиатрической больнице и убедила его жениться на ней как спасенье ему и ей. Он весь еще был – с Нонной, но после двух недель теснейшей дружбы с мужем Нонны он потерял пути веры в единство с нею, – а тут был человек, которую он жалел – хоть кому-то сделать добро... Но из брака ничего не вышло, это был ад. Родился мертвый недоношенный ребенок (он не хотел ребенка, она настояла), ее подруги считают его чуть ли не убийцей. Он уходил от жены,

не мог с нею быть... Уезжая в конце лета в Крым, он ей сказал, что он с нею расстанется. Им предстоит развод.

Я молча сжимаю руку его, как руку заблудившегося ребенка, мне дорога его Таня, и Нонна, и все, кого он любил с юности, но этот надуманный, насильственный брак (к ней, он говорит, не было даже влечения!) – мне чужд. Этот брак изломал его жизнь! Его душа открыта моей с удивительной тягой. В прозрачности. Растворена в этой лунной ночи. Лицо *ангела* надо мной! Лунно-белое! Темны темнотой теней, горных теней – глаза! Мы идем назад (море слева, скалы – справа), и снова повернув – море справа, мы встречаемся и расходимся с Андреем и Женей, киваем друг другу и вновь растворяемся в свете луны, как ель над скалой, голубая от лунного света... Через несколько дней Женя о ней написала:

Прозрачно-черной и туманно-белой
 Была та ночь. Луна, гора и море,
 И – дерево: на склоне, осиянно
 Внесенное – в молитвенном безмолвье,
 В сознание чуда, в ожидание ль чуда...
 То дерево – его я не забуду.
 Ту елочку – в ночи прозрачно-черной,
 В ночи прозрачно-белой – никогда!

Мирно ложимся, встретясь под левой горой, вчетвером войдя в дом, в смежных комнатах: старые девочки в глубине, их стерегут юные мальчики. Луна зашла за гору над потускневшим заливом, окна потухли одно за другим, все спят...

Наутро спор: что лучше – Коктебель, Новый Свет? Мальчикам *нравится* здесь, мне меж *этих* гор – тесно, чуждо, парадно, не то – Коктебель вольный, любимый! Увы, Женино мнение не помню. Ближе к ним, кажется. И хоть залив по-новому голубой, расплавясь не в луне, в солнце – Женя и я решаем ехать назад одни, ибо обоим *им* – по-разному, но равно страстно хочется еще день и ночь – тут. Завтрак – и стережем автобус. Они провожают нас. Валерик дает

Анастасия Цветаева

надписанные мне книжку «Судак», цветные виды местности. Эти надписи будут со мной вместе – просить Бога, чтобы тут без меня ничего не случилось...

Тонкая книжка «Судак» с рисунками Генуэзской башни под горой у моря. Надпись мне:

...И имени нежней уста его
Не прошептали, чем «Цветаева»

*Дорогой Анастасии Ивановне в память искристых дней
в Новом Свете.*

4 окт. 1971 г. Валерий Исаяни

На открытке генуэзских башен – надпись:

*Дорогой Анастасии Ивановне Цветаевой в память блиста-
тельной совместной поездки в Новый Свет.*

4–5 окт. 1971 г. Валерий Исаяни.

Над этой надписью – четыре строки его стихов:

Отрадno грусть свою рассеяв,
Забыться в сутолоке дня...
Длиной в тысячелетье Одиссея
Косая тень преследует меня.

1971

Женя меньше, чем я, тревожится об Андрее, но Андрей – разумней! Валерик...

– Это нельзя словами сказать! Как я плыл в закатном луче, навстречу солнцу! Море было *такого* цвета – нет, это...

– Так пишите – стихи!

Недоуменный, счастливый жест:

– Не пишутся...

Мы вдвоем в Коктебеле, еще раз глотнув головокружение красот, быстроты выходящей (ворую из стихов Жени) серпантинном дороги... Ширь розовых вод и гор Коктебеля, юность моя, Ты!

Ночью стою на белой террасе над голубой ртутью моря. Эту луну видят Валерик с Андреем, беседуют под ней – вчера они в первый раз сблизились за беседой... Явь опрокидывает мечты: когда они вернулись на другой день, узнаем: Андрей спал в комнате, а Валерик, захватив два одеяла, ушел на ночь в пещеру и там, замерзая от осени, камней и луны: «Я почти не спал! Такая ночь! От нее помешаться можно! Я в ней растворился! Море, луна, одиночество, птица кричала...» Полузакрыв глаза, всплеск рук!

Но в 77 – все уже *было*. Мне Марина о Коле Миронове: «Он природу – Байкал свой – любит не как мы Тарусу и Нерви! Как-то *за* пределом души...»

В последние дни Коктебеля мы, не дойдя до Библейской долины, где были за год до того, взошли горой к водоему, в этом году полупустому, и видели Максин оживший этюд: замшу и пепел холмов, рыжее горенье на склонах, пики гор на лиловом и золотом, и это все потухало, пока мы спускались – под руку с нашими мальчиками...

Должно быть четвертого (или пятого? да, уже октября) мы простились с Марусей и Максовым домом и вернулись в Старый Крым к Лизе.

О ветер, ветер колдовской,
Мой старокрымский ветер!
Ты веешь свежестью морской
И горной высью, и весной,
Ты пахнешь розой и сосной,
Ты всех милей на свете.
Но вдруг срываешься, шальной,
И тучи гонишь пред собой
Ко всем чертям на свете!
Потом, натешась злой игрой,
Внезапно просвистал отбой.
И стихло все. И кончен бой.
И тишь да гладь опять с тобой,
Мой старокрымский ветер!

Лизин дом, где нам рады она и кошки, где Андрей и Валерик с нами, куда приходит чудный и милый нам с Женей Виталик (ее названный внук) – тоже уже родной дом. Уют еды у окна в сад, через тарелки прыгающие коты, радостный лай Наки (Жука уже нет – *отдали* черного Жука нашего, но – в хороший дом!), и кто, как Лиза, оценит все тонкости пригоршень камней – Жениных, моих, ей привезенных в подарок. Валерик раздает свои, Андрей, отболевший ими, – одобряет.

Наш поход на источник св. Пантелеймона за водой (втроем – Валерик, Женя, я) – вечерние холмы, луна, тишина, тихий звук воды, текущей с четвертого века...

Но Валерик рвется еще побыть одному – в Коктебель, там и вещи его в том волшебном саду, куда за ним заходила, он уедет седьмого и вернется десятого – покупается еще. – Хорошо? Встревожась о его плаванье и ночах, о горах и обвалах, сжав сердце, говорю: хорошо... Его взгляд в глаза, рукопожатие, обещание быть осторожным... Его нет. В ночь на восьмое я пишу стихи – в первый раз за 28 лет!..

Без Валерика, я с Андреем и Женей идем купить еду, хлеб, рыбу, еще что-то. Идем назад. Андрей варит рыбу и кормит всех нас.

Но девятого мы шлем в Коктебель телеграмму Валерику: час отхода автобуса на Симферополь, еще с ним мы решили поездку в Бахчисарай, Севастополь и Херсонес. (Будем ли мы через год – живы?..) Но зайдет ли он на почту и спросит ли до востребования? День проходит в тревоге. Но наутро! В распахнутой в нетерпении двери, в облаке лая Наки – он почти врывается к нам, и – я первая по пути – не скрывая «приличием» радости встречи, выдавая с головой – соскучился! – наклоняется с беглым полуобъятьем, глаза в глаза. И – к Андрею, и к Жене. Еле попал на автобус! И – на стол – россыпь коктебельских камней, и не только, *еще* одной бухты! Лизе – Жене – мне!..

А Лиза – россыпь винограда и слив!

День сборов. Мы с Женей стараемся хоть немного уложиться, мы вернемся к 12-му, 13-го надо ехать; 14-го она должна

быть в Москве – год со смерти любимого двоюродного брата Бори. Один день с утра в Феодосии, вечером – поезд в Москву.

Мы *опоздали* на автобус? Или – раздумали ждать? Мы в такси. Бог мне шлет то, чего не дал за жизнь: любящий сын – рядом. (Но – у него есть мать. Она много меня моложе... Но должно быть, только к не родной матери – нежность и благодарность *такие*...) Пробую урезонить себя: это потому что – *внове* ему... Но ненасытность его привязанности, вскользь сказанное «...потому что я – счастлив...» сеют солнечный дождь волшебства на наш день. Добром, лаской сияют темные глаза Женины, а Андрей – это просто ангел! Близость Валерика отплачивает мне за все резкости моего родного сына, за его, в трагичности его судьбы, холод ко мне. Господи! Ты же знаешь – я в 28 отреклась от личной любви, за это, может быть, Ты и даришь – в 77 – Такое!

Мы Симферополь пролетаем, еле видя его, только меняем такси: в Бахчисарай! (Не была в Симферополе с 23-х с Валея, больным, любимым... Тут – его операция, мысли о смерти с ним, если... Тут было «Кафе сердечное (ый?)»... Не те улицы, не те дома, все прошло! *Его* нет на свете...

В Бахчисарае ищем адрес – остановиться – тщетно: художница – звала, ждет. Но, спутав улицы Восточную с Восстания, – едем по кривым – вверх-вниз, улочкам Бахчисарая по второму адресу и находим его, отпустив такси, пешком. Поэтессы (соотечественницы Валерика!) армянки Марии Альбовой нет дома, будет вечером. Заносим наш огромный рюкзак к соседям и – налегке – в Музей. Тип мечети. Тут был гарем. Восстановлены его комнаты. Восковые куклы в натуральную величину, наложницы хана: любимая (русская, в кокошнике с жемчугом) и еще 300 их жило где-то там, в комнатухах. Сердце полно: вот когда бы я сюда ворвалась с войсками, хана – в плен, их – на волю! Но не с кем поделиться этим неожиданным азартом – Валерик пошел бродить отдельно от нас, разглядывает стены, убранство мавританского стиля, хочет побыть – один; моя тоска – жгучей. Бедные женщины, оне! (Бедные – мы... Непонятное мужское сердце!)

Мы у «Бахчисарайского фонтана». С Валериком, вчетвером.

Но жизнь мчится. Пачки видов Бахчисарая, на них нежные надписи, уют обеда вчетвером в местной столовой, сидим с Женей, мальчики нам несут тарелки со снедью, в стаканах питье...

Над Бахчисараем – с Пушкиным, Мариной, Лжедмитрием и стихами Марины о них – синяя ночь, обрывок луны зашел за гарем, кривые улицы – лунны. Альбовой всё нет, и мы бродим, смешав мальчиков – Женя с Валериком, я – с Андреем, говорим, говорим... Решаем зайти все в кино. Ждем начала его под шелковицей? На скамье. Лунные тени... Жизнь летит, сердце замерло тоской о прошлом. Я не видела фильма (может, спала?).

Альбова приняла нас, но четверых устроить не смогла, дала адрес близкой гостиницы. Мальчики, попрощавшись, ушли.

Поэтесса, Армении дочь, накормив, уложила нас на диванах с горой подушек под картинами, портретами и стихами. У нее тоже страсть к кошкам. И уже стоит ночь.

Синяя магия сна.
Черный уснувший буйвол.
Медленно падает с нас
Мантия белой тоски.
Ночь без просыпу и дна
Так упоительно лунна...
Черный на синем зрачок.
Черный уснувший буйвол.
Оцепененье влечет.
Только минуты близки
Света, что выплеснет, рьян,
С рыжим проснувшимся хрипом...
«Улица. Ночь. Египет»
Мартирос Сарьян.

На утренней, солнечной узкой улице Бахчисарая мы сели в автобус на Севастополь. Я не помню особенностей пути. Но когда на автобусной площади знаменитого города, дважды героя, – где я не была с одиннадцати лет, Марине – тринадцать, с еще живой мамой, с папой... – Андрей и Женя никак не могли

решиться, ехать ли нам в гостиницу или идти за женщиной, звавшей к себе на квартиру (я держала нейтралитет, чтоб не спорить, *хотела ж* (как и Валерик – в гостиницу, чтоб *свободней!*) – я увидела в первый раз моего – сына? внука? кого? – в раздражении. Озираясь, как затравленный, он сверкал глазами, насмешничал, возмущался. Я ласково успокаивала, звала в юмор: не всё ли равно, только бы все миром. Андрей в азарте спора, чтоб убедить Женю, стал рыцарски на одно колено, и, смеясь, Женя сдалась. Потеряв время, поехали на край города на автобусе (а говорила женщина – рядом), и там, вместо обещанных комнат, женщина рассовала нас с вещами, меж комнат с людьми. Был и юмор: «одного из парней» – с собой в комнату. Мы с Женей, смеясь, матерински не согласились, и наших мальчиков запихали вместе, но в проходную.

Маленький садик в уступах, дощатый скворешник уборной, от него – вид на город. Но, умывшись, уже не терпит более ничего Валерик: «Пока Евгения Филипповна отдохнет и соберется с Андреем – *едемте* в Херсонес! Встреча с ними у входа в Музей!»

Жене было душно в комнате, и она устала. Я распахнула окно, спросила, когда их ждать, сказала о плане Валерика – и мы уже летим с горы...

Автобусный путь! В «русскую Помпею!», как когда-то мальпосты и омнибусы, в век шарманок и музыкальных шкатулок, ты везешь нас, автобус, через весь грохот города – в тишину старины... Мы идем, Старость и Молодость, остатки женской души и расцвет – мужской, мимо каменно-известковых стен – туда, где синеют покой и прохлада. (Так стрелка компаса знает, где Север...) Я не думала, что это так близко! Из одного Царства Истории, Русской – в Историю Греции... Херсонес!

– Мы проходим меж низких стен, домов редющих – кончаются – кончились, и на повороте Валерик мне говорит:

– Мы потом зайдем к одному моему другу, здесь живущему за виллой Боргезе, у площади (я забыла иностранное слово).

– Хорошо, – отвечаю я рассеянно, радостно, не все ли равно куда, к кому... Если ему так хочется! Перед нами – от белизны мраморной больно глазам! Сердце бьется... На фоне светло-синего, с растворенной струей зелени посередине – невиданный

цвет! моря – две колонны, стройные, и еще там – обломок... и там – колонна, и там... Стоим, занемев. Но рука спутника твердо берет мою, и проходим влево, поворот, лесенка... Он нагнулся: он читает название древней улицы (восстановленное). У фундамента разрушенного дома, сколько ни видит глаз – вправо и влево – чертеж руин. Лишь вперед – необъятно взгляду – море. Мы сошли на берег. Доведя меня, он останавливается:

– Ничего, если я немного похожу тут – один?

Голос ласков, лишь слова – отдаленные.

– О, конечно!

Легкий прыжок – и он уже вскарабкался на отлогий холм, я вижу его, близящегося к колоннам... Ему жарко. Он снял свитер, тащит его за собой (потеряет?), стройные шея и руки обнажены вокруг синевы майки, черная голова мелькает над развалинами... Грек!

Я лежала, блаженно греясь и отдыхая на удивительного вида камнях: светло-серые, светлее помпейского пепла, и все в мелких ямках, углублениях, точно их грызло чудовище. А подпушка меж них, везде – перламутр: осколки, кусочки раковин, тускло-жемчужных с краем сиянья. Я их набираю – пригоршню. Я погрузилась в это сказочное занятие, откладывая: Валерику, Жене, Лизе... когда легкий шелест камней поднял мне голову.

– Как! Вы?! Вы же хотели *один* побродить...

Сел рядом.

– Побродил! И – соскучился! – улыбается.

Лег, полежал. Тишина, какой не бывает! Никого.

Взял камни.

– Тут ходило доисторическое чудовище. След когтей... (Подняв на ладони – камни.)

Он, кажется, еще загорел? Чудесная красота Валерикина лица, добрая – мальчишеская? – улыбка... Уже встал.

– Я выкупаюсь, хорошо? И посохну потом на солнце. Я – древний грек... О, я не заболēju, не бойтесь!

Здесь, в Греции – он уже плывет, чеканя на морской синеве свой профиль, и мне кажется, это я плыву в синеватой зелени тихих волн, *мне* прохладно в воде – так мы близки!..

Море, греческое, Херсонесское море, кто опишет Тебя? Слово «малахит» грубо, и цвет – темней. Но оттенок его, раскаяясь далью и солнцем, так отличен от всех морей виденных, что Ты – в дай Бог долгую жизнь плывущего по Тебе Валерика и тот остаток ее, что мне даст Бог – Ты останешься в сердце нерушимо, вечнее и художнически – точнее, чем этот беспомощный осколок стекла, бутылочного синевато-зеленого, что моя рука задумчиво положила на платок, на горку раковин перламутра – чтобы взглянув, – вспомнить?

Но, может быть, уже ждут нас Женя с Андреем. Поднимаемся, отрываемся с будто родной земли, отдохнувшие от пути и усталые от испытанного идем вверх, через мертвый город, – о мертвый ли! – в «живой» Херсонес... Но вокруг большого здания Музея (до которого еще мы помедлили у развалин древнего цирка – Валерик легко соскочил в «оркестр», оставив меня на высоком каменном постаменте, подошел, сделал было движение снять меня с него, как ребенка, но я взяла его руку и легко спустилась уступами на дорогу) – у Музея *нет* Жени с Андреем. Мы всходим по крутой лестнице, и – по музейским залам. Господи, как сходен Твой мир! Выдувать стекло они умели еще тогда? Как в Венеции, как в Помпее... Легкими разводами голубизны и розовости тускло сияют бокалы и вазы... Мелочи женского украшения – как в Египте... Мы не забудем тебя, Херсонес!

Мы встретились, выходя, с Женей, Андреем и посидели, поджидая их на скамейке Музейского сада.

Мы сидим вчетвером над берегом моря, в развалинах. Вечер. Легкая прохладная лунность. Солнце зашло, окрасив несказанное море. Тишина. *Тут* мы поужинаем, никуда не пойдем! Хлеб, сыр, гречские орехи... Из термоса скупое питье, драгоценное, по очереди. И уже начинается – ночь?

Когда мы проходим меж улиц-фундаментов, Валерик говорит:

– Он живет недалеко за виллой Боргезе, – и он называет Римскую площадь... Почему я поняла *теперь* его шутку? Я ведь и тогда слышала название Рима – но в толк не взяла, что – шутит? Или присутствие *других* слышащих меня пробудило к трезвости?

«Живой» Херсонес проходим быстро к автобусу, и мы в Севастополе. Но тут различная стремительность шага снова нас делит, и Женя с Андреем не хотят на Университетский бульвар, он – в гору и к Панораме, у них другой план... Расстаемся, повторив адрес нашей квартирной хозяйки, обещая *не очень* запаздывать.

Темный вечер. Гул большого приморского города. Европейского. (С этим мы согласились все.) Слава им пережитых войн подымает и нас. Мне будет легче подниматься по довольно крутому шумящему саду. Панорама закрыта. Стоим перед памятником старинного севастопольского героя, читаем его имя. И внезапно выходим вбок под листвой к открывшемуся виду на город: столько огней я не видала нигде! Любуемся. Захватило дыханье. Огневая гора...

– Непременно будем с Вами в Ереване! – голос Валерика ласков и убежден. – *Похоже* на Ереван! Но там – *еще* лучше! Выше – величественнее... (Будем? О, непременно... Кто меня оторвет от моего мальчишка и его от меня?..)

Я очень хочу его *личного* счастья, я ему это сказала, я *видела* на террасе у Макса женщину, его достойную – *как* бы я ее полюбила! Но на мои слова ему, когда она, растаяв почти видением, исчезла, он мне: «Никогда мне не говорите об этом... Это мне совершенно не нужно... Я очень счастлив теперь...» Мы еще видали – сверху же – заводь, гавань со множеством кораблей, вода вокруг них была таинственна и темна и молчала о перенесенных войнах.

Нет, мы еще сошли в Графскую пристань. (Это было *последнее*? Или последним волшебством была – Лестница?) Да, может быть. Нет, может быть, нет. Спросить – некого. Решаю – сама!

Мы пробирались на Графскую пристань (я там была с родителями и Мариной в 1905 году). Вдруг – влево от нас, круто вверх, полускрытая мощной зеленью – нас позвала, остановила нас – Лестница. Мы не могли ее миновать. Это была Лестница в Андерсеновский дом, даже еще торжественней, потому что она была так высока, что она нас – высотой и заманила. Забыв всё на свете, и путь наш, и поздний час,

мы вошли, – я почти легко, – откуда взялась пружинность в ногах? – по ее разветвляющемуся разливу. По необычно крутым ступеням. Сердце билось. Было чуть страшно – увлекательно – оглянуться. Мы взошли. И мы оглянулись. Мы стояли высоко над городом, его огнями, деревьями, крышами, под шумом, почти морским, веток, кончавшихся еще выше над нами в исчезнувшем небе. Еле верилось, что мы были внизу. Он сжал мою руку:

– Мы в сказке, да? Постойм еще так, немного... Как не хочется отсюда уходить...

Мы спускались вниз – торжественно, было круто, полутемно. Не от этого! – он же твердо вел меня, я *не* боялась! – нам не хотелось легко отдать этот дом, эту Лестницу, ведущую к неизвестным людям – может быть, они нас ждали? А мы ушли? Мы их потеряли? Мы изменили – сказке? Мы сходим – вниз?.. Мы вместе и мы идем на Графскую пристань!

Мы прошли мимо левой многометровой стены, где начертаны имена героев второй Севастопольской войны, и я вспомнила – первых. Строки Ростопчиной, которые 65 лет назад тут повторяла тринадцатилетняя Марина:

Двенадцать раз луна всходила
И заходила в небесах,
А все осада продолжалась
И поле смерти расширилось
В залитых кровию стенах...

Мы стоим у воды, она тихо плещется о длинные ступени. Справа и слева – огни. Слева – что-то вроде кафе, свет и тени. Мы идем туда. Мы стоим и молчим, лицом к темному морю, в которое окунулось небо, думаем, о своем, каждый. О прошлом? О будущем? О – ком-то?.. Господи, как поздно! Нам нужно идти...

Мы так *далеко* от дома.

Когда мы, веселые и счастливые, вошли в – может быть, не тот? – трамвай, мы смеемся, как два товарища, остроумие брызжет с губ на забаву слушающим, на нас смотрят, нет у нас сил сдержать смех и погасить остроту обоюдных шуток,

они – как рапиры, и их звон опьяняет нас еще более. Кто мы? О чем? И где?..

Но сойдя с автобуса (трамвая?), мы запутались – *где* та женщина с ее непонятной квартирой? Женя, Андрей ждут нас, – наверное, беспокоятся...

Но смех идет с нами: у ларька, где что-то купили – по коржику (денег всего – на два!) – взрыв смеха! А нас – четверо! А мы – пополам! Не хватает копеек! (Смех валит с ног... Но когда, взяв коржи, обещая завтра копейку (продащица машет на нас рукой, как на школьников...) и послушав ее, *как* нам идти «домой», мы через пять минут, потеряв позади ларек и не найдя указанную улицу, понимаем, что запутались прочно, что – заблудились... смех качает нас, как ветер – деревья, и мы уже идем – наугад? Никого. Пусто. Но вот идет человек. Старик. Отвечает. Затем догнав нас – мне:

– А он кто тебе? Сын? Вместе идете? Ну то-то... (стараясь перебороть сомненья) – а то, знаешь, бывает...

Бывает, соглашаемся мы, но, тронутые его заботой, – уверяем, что всё хорошо. И благодарим, поняли: налево – и вверх!

У дома – у равных двух, трех домов – снова берет нас смех: Валерик входит в средний, но лай (а там собак *не* было!) возвращает его мне, и мы, крадучись, входим в наш дом. Сонная тень отзывается на наш тихий звонок. Входим с карманным фонариком. Его луч падает на Андрея, он – спит? Но корж в руке, и он просыпается, добро.

На цыпочках вхожу в комнату, где спят и Женя, и еще чужая, но мне *приходится* разбудить Женю. Наконец, в темноте выхожу еще раз – благословить на ночь Валерика, и устало ложусь, в темноте.

Перед тем как расстаться с Севастополем, мы пошли в столовую, вчетвером. Мы завтракали с юмором наверху на автобусной станции.

Отъезд из Севастополя автобусом – а дали два задних места – Женя и Андрей, а мы сидим на одной из передних скамеек.

Я не помню обратный путь. Может быть, спросить у Жени. Может быть, Валерик поехал в Коктебель?

Мы вернулись 12-го, как хотели.

В Старом Крыму, укладываясь, прощаясь с Жениными друзьями, подругами, – прожили еще целый день.

Вечером мы в последний раз легли спать в доме Лизы. Валерика покрыли пальто и кошками (они шли к нему сами), послушав стихи его:

С моей бродячей судьбою
Какое сравнится веселье?
Какая тоска надо мною
Взовется острей и бесцельней?

Вдали от родных перелесков,
В долинах яшмы и крушины,
В развалах твердынь генуэзских –
Я изнемог от кручины.

Порою мне люб был рыбачьих
Огней засветившихся вызов,
И стих мой, смятеньем утрачен,
Роднился с умеренным бризом.

Поборов сопротивление их, вместе уютно поели.

Андрей согласно шел вместо Валерика ночевать к Виталику, которого Валерик осуждал за его «свободное» обращение со мною и с Женей. В то время как я веселилась с Виталиком, дружно слушая его крайние мнения о поэзии, взволнованный этим Валерик был Женей уложен в соседней комнате на кровать, и она лечила его – пассами, успокаивая его непониманье Виталика.

А потом – прощания, последние подарки камней друг другу, слезы старушек, расстающихся с Женей – и нагруженные багажом наши синеглазый и кареглазый мальчики выходят из Лизиного садика под лай Наки из гостеприимной калитки, – прощайте, друзья, прощайте, собаки и кошки, прощайте, воспоминанья, прощай, Старый Крым... и мы садимся в такси.

День отъезда! Дружба – цветет. Мой юный друг понимает меня со слова, со взгляда – какое невиданное поприще

«перевоспитания» открыто тут в этом сейсмографическом существе! И как грубо *это* слово «перевоспитание», когда оно расцветает улыбками и растопленным взглядом – так близко у твоего давно замерзшего сердца, пережившего столько бедствий и бед... Точно молодость возвратилась в феодосийском морском ветре! Но как может *он* не видеть старого моего лица, как он может *мне* так улыбаться? Кругом – столько молодых лиц... Выходя в тот раз две с половиной недели назад в день моего рождения (было четыре дня с нашей встречи в Максовом доме) из музея Грина – с канатными якорями, с носом корабля – в натуральную величину, выходящим из угла комнаты, где Грин жил когда-то, с картой *Гринландии* на потолке узкого лестничного прохода – на эти Лиссы, Зурбаганы и Каперны – гриновские фантастические города – на мои слова фантастическому Валерику: «*Какую я* видела женщину – изумительную, увидела на входном балконе у Марии Степановны, прямо Диана Вернон из «Роб Роя» Вальтера Скотта – такую я бы хотела для Вас – невесту...», он ответил: «Не хочу слушать о молодых женщинах! *Что* может мне дать молодая женщина – после всего, что я начал от *Вас* получать в эти дни? Я счастлив, и мне ничего не нужно...» Конечно, я *лучше* поняла кажущуюся неосмысленность его слов после новосветской прогулки над лунным морем с его рассказом о трех встречах его, – но мелькнуло, что тех имен – больше, в Севастополе он сказал, что первая его любовь была в четырнадцать лет – восточная кровь, поэт, может быть, и неудивительно, что он за двенадцать лет тех чувств устал, разуверился, застремился к чему-то иному, *отшедшему* от той области с иным взглядом на мир, из которого струятся философия и искусство, *для него* некий Зурбаган или Лисс. Но в *это* утро отъездное, когда мое глупое сердце было готово к продолжению непрекращавшейся нашей беседы, и я, садясь в такси, взятое нами на коктебельской дороге, хранила для него, еще не севшего, место рядом, он, запоздав, вскочил в машину не справа, где была я, а слева, к моей родной Жене, и та, в спешке, в нежданности, попросила меня потесниться, а Валерик рассказывал что-то веселое, случайное и ненужное, – я подумала, что вот Андрей, севший вперед, к шоферу, и оборачивавшийся к нам то и дело синим озерным взглядом

огромных невинных в величине, в синеве, в небесности своих глаз – тот не ошибся бы так...

Эта правдивость! Она же портит жизнь – да и еще как! Когда Валерик, выйдя и подойдя ко мне, пошел в Феодосии – рядом, я была пуста, как облетевший одуванчик. Ни слова во рту. Ничего в душе: одно удивление. Но сейсмограф отметил все мгновенно – и точно: отошел, шел поодаль, наклонив голову, затем – заговорил с Андреем.

Когда приехали мы на вокзал на такси с вещами и когда еще не была кончена суeta сдачи их на хранение – нас ждала скромная, но пылкая депутация от феодосийских писателей, поэтесса Б. и поэтесса К<рестини>на, приглашая меня посетить... Мой скорее кислый, чем сладкий грубовато-резкий отказ, просьба нас подождать на вон той под деревьями и кустами скамейке – мы сейчас туда придем – ненадолго: наш день связан с нашими молодыми спутниками, они стремятся купаться.

– Но, может быть, они и пойдут покупаются, а мы пока... – дамы-писательницы.

Кисло-сладко улыбаются 77-летние губы, хотящие одного: свободы!

– Нет, – никак: с пляжа мы должны вместе с ними – у нас еще много дел...

– Мы на скамейке...

Поэтессы привычно и грустно покоряются решению старших: ждут – приветствуют – благодарят... и, когда от нас отсев, наши юноши углубляются в *свой* разговор, мы под сенью качающихся в ветерке морском ветвей (шум волн перед дворцом Айвазовского доносится ритмично и беспрепятственно, Женя – поэт и я – не-поэт (стихи мои пять дней назад? После 28 лет – одни? *Einmal ist Keinmal...*) беспрепятственно проваливаемся в содержание стихов поэтесс этого волшебного города – и чудом не менее фантастичным, чем *Гринландия* – это оказываются превосходные стихи... От того и провалились мы – *беспрепятственно!* Настоящие души. Настоящее сердце. Настоящие рифмы... И я на миг позабыла Валерика и Андрея, и не хочется – уходить... Опрокинулось все: долгом стали Андрей и Валерик, желаньем – эти две женщины...

В осеннюю песню распахнуты двери.
Здесь листья сумаха, как алые перья,
Стоцветною гаммой кустарник на кручах,
Прощаясь, пылает красою горючей.
Лиловое, желтое в ало-зеленом,
Звенит разноцветье малиновым звоном!
...Лесная тропинка по горному склону,
Недвижные мачтовых сосен колонны,
И где-то в вершинах – чуть слышные шумы...
И рокот потока в ущелье угрюмом,
И старого ворона крылья в паренье,
И белка на ветке в игре светотени,
И дальние горы в опаловом свете,
И легкий, на хвое настоящий, ветер,
И неба сентябрьского яркая просинь...
Вхожу, будто в песню, я в горную осень.
<Н. Крестинина>

Вещи *(шутка)*

Вещи не любят насилья
Так же, как и люди,
За нашу власть над ними
Они тихонько мстят,
Положишь вещь куда-то
И тотчас же забудешь,
И ищешь наугад.

Вещи бывают злыми,
Они не так добродушны,
Очень бывает обманчив
Даже их внешний вид.
Вот, например,
ваша личная
Пуховая подушка
И та уколоть вас коварно
Пером норовит!

Вещи бывают капризны,
Бывают строптивы вещи,
Индивидуальный
К каждой нужен подход:
Щетка ли это зубная,
Щетину сорящая вечно,
Иль ж допотопный
Прабабушки комод.
Если не так положишь,
Если не так поставишь –
Будут ломаться, падать,
Нудно скрипеть по ночам.
С их характером трудно,
Приноровляться устанешь,
Как уживаться с ними –
– Не понимаешь сам!
Ну, а если теряешь –
Вдруг становится грустно,
Ищешь вещь, как друга,
«Где ты, – думаешь, – где?»
И без нее, как взглянешь,
И неуютно, и пусто...
Видно, еще и чары
Вещи в себе таят!

<Н. Крестинина>

Но желанье привычно-покорно, и мы встаем и прощаемся.
И... уходим.

Вот тут, должно быть, и произошло это – с моим молчаньем, с Валериком, с его сейсмографической грустью. А затем – пляж; прохлада (октябрь!). Мы, Женя и я, медленно раскутываемся на морском, но теплом ветру (Жене привычны простуды, даже пневмонии, но ей угодна – свобода, радость дыхания! Я – ни разу пневмонией не болела, я человек закаленный, я полгода назад мчалась по льду на беговых коньках...). И мы вместе, и нам хорошо. Вполне бессловесное понимание!..

Наши мальчики – в майках, в трусах, мокрые от купанья, бегают взапуски – и прыжком через что-то – по берегу. За

их (ничего не понимаю в мужском теле, нравилось только – женское...) мужественными? юношескими? какими-то там телами – беспрепятственна сине-зеленая даль...

Женечка, вот *такое* же море – в Нерви и в Ченце... нам с Мариной было 10 – и 8 лет! И в Анапе! Еще жив был Митя...

И когда (все ритмично в душе, в дне, в ночи, в вечере, в утре, все таинственно подвержено некому музыкальному ритму) нам улыбаются синие Андреины и темные Валерикины глаза – вдруг день раскрывается еще раз – во внезапную доброту, в *qu'importe*, через несколько часов мы уедем, через год – Бог весть где мы будем (и будем ли?..), и солнце, дрогнув, займалось сильнее – наши мальчики, верно, голодны? Материнство наше всплашивается – надо идти – обедать! В столовую! Они убегают еще раз сполоснуться, мы – закутываемся, отряхаемся от песка, ждем их с таинственной 100-летней улыбкой – и вот уже уют столовой, супов, винегретов, им – мясных блюд. Покупаем на дорогу еду и выходим в город бродить – напоследок. Сегодня Женя расстается с Андреем, Андрей пока остается в Крыму...

Или мы были в кино? Нет?... (77 лет мои не помнят уже, что было восемь месяцев назад! Пишу в поезде; Павлодар–Москва...) Возле какого-то кино мы расстались и пошли – *они* медленно, как в Херсонесе и Севастополе, *мы* – быстро, потому что я хочу (вдруг с Валериком отыщу то, что не отыскала несколько лет назад со студенткой Наташей?) *попытаться* найти старые мои квартиры – до первой войны и уже в революционные годы, обе – на Карантине...

Быстро смеркается Юг! Фонари, родив тени, превращают улицы в Зурбаган, глубже *еще* – в Андерсена, уставшие было ноги делаются вновь легки – все в некоем таинственном музыкальном ритме, мы легко взбираемся на крутую гору полуузнанную – тут Борис в 19-м стоял в очереди среди баб – за водой, всё странно изменилось, признаки стали призрачны, всё сместилось – но несомненна морская даль.

И стоит через дорогу дом, как во сне и сходный, и несходный с тем, где – несколько жизней назад... Нет, не может быть! Мы же так искали его с Наташей... Но с ней мы даже и улицу не нашли, то есть – гору. *Горы* не нашли! А с ним...

Мы идем по краю дороги высоко над полуисчезнувшим городом, над меркнувшим морем с над ним еще светлеющей полоской неба. Первые звезды. Тут стих морской шум.

Но Валерик уже стоит у ворот, указанных нам старухой, – она все знает! Долше всех тут живет! Андерсеновская старуха! Зоркий взгляд: чьи мы будем – зачем – и откуда? Но и мой, старухин в старухины – поднята завеса – начинается андерсеновский мир...

Андерсеновская помнит всех, кого я, жена Бориса, любила и знала, – и тех, у кого я жила, и художника русского – вон там была мастерская (как раз под первой звездой!), и Богаевского – тот пониже жил, свой дом, как же... мирового судью Лампси (он грек был, *добрый* судья был... сестра у него музыкантша – ну как же...). Но вот только у кого я жила возле Фесслеров – тех уже давно нет... Дом перестроили...

Я бы стояла так – век! Все вспоминается. Но небо над морем померкло, время идет, наш поезд... Мы прощаемся. Исчезаем, как в сказке – она долго, верно, смотрит нам вслед.

Все всколыхнулось *так*, что *моя* бы воля – я бы Паркой, от той Парки просто бы с горы – вниз... Так страшно войти вдруг с Юностью чужой – в *мою* Юность, *убедиться, переступить* порог.

Умоляющий взгляд: Валерик, это *тот* дом, я узнала, хотя, как во сне, совсем другой вход – поздно, идемте! Чужие люди, им – мешать, у них – своя жизнь!..

Но Юность – неумолима (ему это что – История? Или – ужели – *моя* жизнь ему дорога?). Твердой рукой он вводит меня во двор:

– Тут, она сказала же, перестройка!

И, как к знакомому, он подходит к – чужому:

– Разрешите нам войти в дом! Анастасия Ивановна Цветаева – писательница – познакомьтесь! *Жила* когда-то в этом доме, до его перестройки...

Милый юноша, застенчивая старуха, необычный визит – человек становится любезным хозяином, приглашает, рассказывает, объясняет... Волошин? Максимилиан Александрович? Как же, как же! Он сюда приходил! Помню его хорошо... Тут тогда дверь была – в зало (!), а парадное – перенесли во двор... Знаете, война с фашистами, разрушения...

Но уж что-то началось – со мной: в полутьме я вдруг различила низкую дверку: *я ее узнала?* Узнала дверь, забыв ее 50 лет? Знакомо, не отвечая на мое ужаснувшееся изумление, скрипнула дверь, и хоть в ней было пусто, в углу – хлам, я, захлебнувшись узнаванностью углов, подоконника, низкого разлатого окна – туда, им, назад: «Тут я жила с восьмилетним Андрюшей, когда в зале мы замерзали. Сюда ночью к нам впихнули солдат во вшивых шинелях, они не чесались, уснули – как мертвые... На полу. Я спала там, в углу, а сын – на диванчике... Тут он переболел корью, и с нами чужие дети, брошенные после боев...»

От ужасной тоски непостижимой меня уже рвануло – во двор, прочь... Но Валерик – в дверях:

– Вы не хотите взглянуть на залу? Дайте руку, надо обойти – так...

Я стою на пороге залы – я вошла в нее с того света: с той стены, где были окна – (а где была дверь – стена...).

Но это она. Комната моей жизни со спящим Андрюшкой. С неспящим другом моим, Леонидом, горбатым. Ума, доброты – ангельских. Он болел. Я стояла – вот тут – перед ним на коленях, сев на ковер. Бережа его. И себя. Я была первой женщиной его жизни. Двадцать три, а мне – двадцать пять. У меня и тогда всё уже позади было, у него – все впереди... Он умер в 57, он написал мне письмо, прощальное... Я живу, и мне 77... Он не мог позабыть, как и я, те дни и ночи, и дни, бои за Феодосией, всех погибших. Но я не осталась с ним. Марина звала – я уехала. Годы спустя он привел мне в Москве женщину, оставившую для него мужа, мы вдвоем бродили по ночной Москве...

Рука двадцатилетнего Валерика твердо ведет меня, мы спешим. Мы выходим во двор. Ночь. Слова благодарности, кто-то нам светит... Мы глядим на часы: до поезда еще...

– Анастасия Ивановна! Мы *пойдем!* Я уверен, что мы найдем и ту, вторую квартиру! Говорите признаки, как звалась улица?

Я не помню... Цыганская, Караимская слобода? Домик был № 8-й, *это* помню. Как дом отцовский в Москве! Вход был во двор, калиточка – узкая... Я снимала две комнаты – проходную и заднюю. Окна задней выходили в проулочек. А большой – на обрыв и пустырь...

Я жила тут после смерти второго мужа и сына, с лета 17-го, а держала квартиру до 19-го, в ней потом жили Борис со второй женой, когда моя жизнь перешла к Вале в имение, за Малым Тереком, в сад – как рай, в степь, где были миражи... и татарский Кайрам Байрам...

В задней комнате в 18-м Валя слег в приступе аппендицита, он собирался со своим англо-королевским черным конем в действующую армию, мы еще не сказали друг другу о вставшей меж нас любви, болезнь скосила его, как судьба, в двух шагах от моего дома. Врачи не велели трогать, я выходила его... Говорю ли я это Валерику, или просто спазм сердца? Слышу свой голос:

– Признаки? Из двора задняя калитка вела к морю и к Генуэзской башне. Башня ближе была, море – далеко, внизу...

Совершенно бестелесным, как Летучий Голландец, шагом мы летим по темным – редкие фонари – закоулкам, останавливаясь спросить случайного, мечась к тени башни, не это ли?..

Юноша? Старуха? Две тени, две души ищут чей-то прежний приют. Мы у башни. Не та! Но юноша замер перед величием Истории. Я:

– Когда-нибудь Вы вспомните, как Вы бродили тут со старухой...

Его голос ответно дрожит:

– Я *совсем* не чувствую Вашей старости... У Вас иногда лицо бывает *так* молодо!..

Голос ли пресекся его? Но я должна пресечь – что-то.

– Посмотрите, *какая* башня! – говорю я, словно не слышав. – Это, собственно, какой век?

...Мы шли по незнакомым местам. Я понимала, я чуяла, что *тот* домик мы не найдем. И сжимал *страх* – о поезде. И нас *ждут!* Но, уже не ища, я не могла не понять, *как* мой *спутник* хочет, чтобы мы *отыскиали*, и я шла за ним, все глубже уходя от знакомого, не смея спугнуть для *него* очарование часа, но уже *всерьез боясь* – опоздать...

Вверх, вниз, вправо, влево... Я еще вспомнила: тот домик был «дом Адамовых». Но и следами Адамовых мы идем не по тому рельефу... Видно, та улочка, где ко мне, цокая по камням – вверх, вниз – тропинки, въезжал на Рапиде Валя, стала уже насовсем – сном... «Вот он идет по земле – на своей

фантастической лошади, вылиты из одного куска...», «если б сумрак не скрыл цвета его одежды...», «Нет, этот конь шагает не по земле...» «Это конь Ивана-Царевича...», «а там, где стая птиц пролетала шумом связанной сетью – заря, заря, заря, заря, заря...»

Полвека и четыре года с этих моих строк, мною забытых, и это *они* стерегут ревниво следы тех дней. Валя сам не отдает в руки моих теперешних спутников тень тех дней, воскресивших его душу Любовью, тень свою, по степи и городу ко мне скачущую, тень своего коня...

...Женя с Андреем уже беспокоились. Над Феодосией стояла черная ночь, совершенно волшебная.

– Вот «Астория», где мы с Леонидом, горбатым, обедали, как все в Центропечати и Наробразе в первые дни революции... – сказала я Валерику.

Суэта вещей из хранения, наши мальчики превратились в верблюдов.

Поезд Феодосия–Москва.

Поезд отошел, как отходят все поезда. И мы спим... А на другой день я иду в вагон Валерика (ему не достался в нашем), и я прохожу через несколько, радуясь, что не разучилась – нисколько! – ходить через пружинящий скрежещущий тамбур – всю дорогу я помогаю Валерику разбирать, править его стихи, готовя из них две подборки в журналы. (Мать его, по его словам, любящая его жесткой материнской любовью, требуя его возвращения туда! – в Воронеж, к ней и к жене, которую он не выносит в браке, уж не шлет ему денег, мы с Женей поможем ему в литературных знакомствах, а кормить его буду я.) Он говорит, она стихов его не *понимает*, боролась с его поэзией.

Нас с Женей встречают друзья-москвичи, поцелуи, рукопожатья. Завтра мне будет звонить Валерик. А Андрей остался в Крыму...

Часть вторая

Схождение на землю

Москва... В Москве Валерик останавливается не у дяди, брата матери, где он мог бы дружить с приемным сыном того, инженером – а у недавно знакомого по Крыму, некоего Сережи, с ним едет – и на квартиру к нему.

Через несколько дней он приводит его к нам, еще через несколько – читает Жене и мне стихи, посвященные сестре Сережи Марине. Я слушаю пораженно. Молчу – сдержанно. Женья анализирует стих.

– Вообще, это не ей, собственно, – говорит Валерик смятенно. – Это Марине Цветаевой. И больше всего – Анастасии Ивановне...

– Мне? – говорю я ледяным и насмешливым голосом. – Спасибо! Марине? Ее *праху* – такое?.. Вы меня удивили, Валерик! По-моему, такие стихи написав девушке, ей делают предложение. Иначе – дают право ее брату дать гостю – по лицу!

– Но я совсем не хочу жениться! – пробует засмеяться Валерик.

– Но Вы дали их ей – прочесть...

– Ася! Ты очень строга, – улыбается Женья, – но, конечно, дать *читать* такие стихи... безответственно!

– Не хотите жениться? А чего Вы хотите – сказано недвусмысленно – в строчках. И все-таки не хотите? А для чего дали ей их – прочесть? Она что, поэт, строгий ценитель, что ли? Изменили бы имя – вместо Марины – другое... Я бы хотела, чтобы Вы зачеркнули «Марина», – голос мой холоден и брезглив.

Но работа – звала: подборки! И когда в руках –
Живописец, маг армянских красок,
Чьи полотна –
гордость для страны,
Подарил мне, написавши разом,
Арабат с обратной стороны.

Друг-поэт в лирической отваге,
С чувством чуть осознанной вины,
Наброеал мне на листке бумаги
Арабат с обратной стороны.

А мальчишка камешком базальта
У старинной крепостной стены
Что-то чиркал, напевая альтом...
Арабат с обратной стороны!

Мой читатель, не подумай всеу,
Что они фантазий лишены:
Ныне вся Армения рисует
Арабат с обратной стороны.

На другой странице –

Петухи еще не встали,
Дрыхнут курицы,
На двенадцатом квартале
Дрыхнет улица.
И решетками резными
Огражденные,
Облака еще не смыли
Накись сонную...

А на следующей –

На самолете путь короткий.
В экспрессе свет и благодать
Но я мечтал достать пролетку!

Но я мечтал достать пролетку..
– Простите, что еще достать?
Пролетку! Ту, что в мрак
и в ливень,
Чтоб думать, чувствовать, любить!
.....
Чтоб ближе солнце разглядеть!
– Ну вот, нашел чего хотеть.

Все уплывает куда-то: незадачливая красавица, сестра
Сережи, с дерзким поэтом, не умеющим предложение делать –
а через несколько строк –

И вдруг – однажды в Ереване –
Из-за угла
– удар под дых –
Мечты и мистики на грани
Упряжка с парюю гнедых!

– Разве уже не едешь в этой пролетке, и кто же тебе
улыбается виновато (за глупые стихи эротические), как
не сам поэт, сам «Живописец, маг» – и не с ним ли едешь,
«Путешествие» – продолжается?..

Шагали баснословно гордо
Два струнноногих рысака,
И тот, который с белой мордой,
Мне поклонился свысока...

– «Струнноногих!» – разве это не прелесть, Женечка?..
И жизнь – катится дальше...

В Колюпанове день был 27 октября, с Валериком. Кто знал,
что наступает в то утро нашего отъезда за колюпановской свя-
той водой – самое облачное наше хождение, самое н а с т о я -
щ е е, со свыше поданной помощью – хождение по облакам?

В наше дружное нежное утро, когда, казалось, ничто не раз-
деляет – кто бы поверил, что тот, кого я сочла самым близким

мне человеком, музыкальным сейсмографом – он-то сведет бешено-земным, не слушая меня, движеньем день – с облаков на землю? Но, противу пословицы, *то* утро не было мудрей вечера...

Был конец октября. Из друзей несколько человек – было. Ждали этой воды! Путь наш был – до Серпухова (поезд), оттуда автобусом до Алексина, далее – местный автобус и, сойдя на отлогом холме – у моста, пешком, лесной дорогой, хоженной уже пять раз – в пятьдесят девятом, шестьдесят втором, шестьдесят восьмом, шестьдесят девятом, семидесятом с друзьями. Расспросив (моя память ориентировки – плохая) у молодого друга, ходившего там со мной трижды – двинулись в путь, звеня бидонами. Последние деревья облетали. Лес за Алексином стоял сквозной, было ясно и тихо.

Какой чудный привал у дороги с жесткими осенними цветами... Какими-то ангельскими движеньями заботы и помощи и кормления окружает меня мой спутник. Больше улыбаемся – чем говорим. Осенние паутинки, хрустальная даль полей... Так ли мы шли?

Все не сходилось с указаниями московского друга. Заблудились, ясно! Но сквозь прозрачный лес мы вышли к Оке – Ока детства, любимейшая из рек! – и, по берегу ее, пошли искать тот конец ручья, что впадает в Оку. Мы нашли его. Он, правда, уходил под землю уже до дороги, не пересекая ее, но мы повернули, как в шестьдесят втором, девять тому лет, и пошли медленно вверх, легко идти с пустыми бидонами! Шли, останавливаясь, слушая тишину. Валерик восхищался упоенно, вслушивался в еле слышные звуки, радовался, сиял... И вот мы выходим на знакомую мне полянку-равнину, долину, окаймленную холмами и кущами, – тут столетняя старица Евфросинья выкопала чудотворный колодец – 136 лет назад... В пятидесятом он был – как при ней (до постройки над ним часовни и рядом – купальни, уничтоженных в революцию: глубиной три четверти аршина, серые доски, дно в серебряных и медных монетах (не трогают!), на ветках бузины – церковные свечки... В Казанскую каждый год вся долина полна народу, старичок читает молитвы, а колхозный народ обливается, пьет, уносит с собою... Вода прозрачна и холодна, как лед.

В шестьдесят втором, заметив обмеленье, колхоз выстроил рядом из свежего (горбыля, теса?) – новый <колодец>, старый не тронув. Из него берут ведрами для больных, для нужд быта, имея в селе воду. (Сюда от села полторы версты.) В шестьдесят девятом, придя, мы увидали источник в его теперешнем виде: от колхозного сруба – ни следа, из колодца старицы вырвали доски, глубокая твердая темная яма, из которой течет по-прежнему – из-под камня – твердой утоптанной перемычки – уже узенький, не шумящий уже, ручеек: это поработали тут из-за Оки пришедшие промкомбинаты озорные – тринадцать, четырнадцать лет. Но в Казанскую, как в семидесятом, сказали нам, долина полна народу – с разных сторон Союза...

Оглядевшись, налюбовавшись, сбросили с плеч лишнее – потеплело, пьем священную воду, собираю на память осенние травки и веточки... Как олень, стал над ручьем Валерик, набрав три трехлитровых бидона и еще маленький (один литр). Просит не спрашивать его – помолчим! Хочу слушать ручей... как течет!.. звук самой тишины. Села на землю, улыбаюсь... А ручей течет... течет... Сто тридцать седьмой год!

Но нам надо назад – к местному, чтоб не упустить тот, до Серпухова. Омыв лицо, руки, шею, Валерик идет по холму, унося все три тяжелых бидона. Я, на миг одна с Ней, кладу ей земной поклон: «Помоги нам... всем!» И, с моим крошечным бидоном, – догонять по холму Валерика. Шли – по Ее полям, по Ее земле, Ее город.

Дождаться нам было – в Алексине на автостанции. Автобус шел в семь с чем-то. Зашли рядом в столовку. Нам продававшая, залюбовавшись Валериком – мне: «Сын?» – «Сын!» – улыбаюсь. Улыбается и она. – «Хорош... И уж какой к Вам внимательный, уж такой...»

Смеркалось. Мне понадобилось в уборную – через длинную площадь. Над ней света нет, но я помню где. Фонарь над площадью. Я взяла карманный фонарик, палку – пошла. Валерик остался возле бидонов воды. Только я хотела устроиться на каменном возвышении с круглыми дырами, я увидала тени мужчин, по ошибке входящих в первую часть уборной.

– Тут женская, ребята, – сказала я, – мужская – за углом, рядом!

– А, ладно, мать...

Вышли, тень голов по чуть светлому небу.

Вдруг – раньше, чем я поняла – откуда, где – исчезли, на меня набросились – двое. Сорвали со стульчака, спиной стою у стены и четыре мужских руки – в полном молчанье, ощупывают. Сорвали очки, бросили – треск их о камень – пальцы щупают мне глаза. Руки подняли платье, щупают ноги. Я говорю очень тихо, но ясно (потому что один, правый, очень противно дышит).

– Вы хотите насиловать меня? Я – старуха...

Молчанье. Стою, словно по чьему-то приказу опустив обе руки, не борясь, не пробуя вырваться. Мысль: «Убьют? Как глупо... Так близко!..» Чувствую через площадь Валерика, его горе... Не чувствую страха – совсем. Но «столбняка», ужаса – нет. Прозаично и просто, точно не о себе. *Сердцебиенья* не помню! Я, вечно, вечером по московскому переулку, еле слыша шаги – от стука сердца, в страхе крадущаяся к парадному... Мы все трое почему-то незаметно все ближе к выходу. Щупают еще и еще. Слышу свой голос – спокойный и тихий:

– Только не убивайте! У меня – сын...

Один отбегает – не идет ли кто. Вернулся.

– Вы ищете деньги? – догадываюсь я и спокойно: – На мне денег – нет! Мои деньги – на автостанции. Если кто из вас придет туда – я десятку дам. Больше – не могу...

Молча щупают: живот, ноги... Как странно, что совсем мне не удивительно, что меня держат двое мужчин, отняли очки, палку, фонарик... Точно мне кто-то отвел способность – чувствовать!

– Иди, пока не зарезали! – говорит один, стоя у выхода (другой – исчез).

Мне идти мимо стоящего. «Ударит ножом? Нет?» – думаю. Не ускоряя шага – выхожу. «Нет, не ударит, наверное... Только иди – не спеша!» Я иду. Дохожу до середины площади. И ошпаривает меня страхом: на мне – толстый пакет с паспортом, денежные бумажки, рублей пятьдесят в мешочном конверте, обвязанном вокруг талии. Я забыла о нем, когда сказала: «Нет денег!» Я никогда не лгу – в сознание, по обещанию с двадцати восьми лет... Кто-то отвел – память. Кто отвел – страх. Кто научил не

кричать и не рваться. Та, которая отвела от них – от четырех мужских рук – ощупь! Сколько раз щупали – *не* нащупали! Блаженная Евфросинья! Я иду – уж не по облакам. Я – на крыльях несусь – рассказать про Чудо – Валерику! Я вхожу. Но едва *он* услышал, что двое – напали, трогали – обыскали – могли надругаться, убить – вся кавказская кровь бросается ему в голову, он вскакивает и кричит на меня: «Опознавайте! Где они? Ведите меня! Посметь Вас...» (задыхается).

Уж не ангел, а *демон* в нем! «Я не с двумя, с тремя справлюсь! Я их...»

Леденя, у края отчаянья: «За то, что меня *отпустили*? Их давно *нет*! Замолчите *сейчас* же! Ни слова об этом! Неужели не понимаете, что *Вы* мне сейчас враг? *Вы* зовете опасность! *Вас* сейчас могут убить! За что *Вы* меня терзаете?» Но его уже нет. Он привел милицию, поднял шум – глупый. Но *человечный*... Что *не надо* было сделать – он *сделал*! Каким чудом мне удалось уговорить милицию не составлять акт. (А он – кто Вам? И уже о фамилиях. А Валерик забыл взять с собой паспорт.) Тысячу бед он навлекал на себя своим незадачливым поведением – и тогда он вернул мне палку, очки (не разбились!), только фонарь пропал... – я увлекла его от милиции, оказалось: московский автобус – ушел. И нам тут, где, может быть, и те оба (всё это слышавшие!) ждать еще пять часов – *ночного* автобуса, опаснейшая из всех – маята! В гостиницу мы не могли (не послушал меня, не взял паспорта!) – и идти в эту черную ночь с Х и У провожатыми? (Как охотно бы я сунула им обещанную десятку, если б не эта так навредившая кавказская кровь...) И мы прожили эти пять бесконечных часов – по молитве, и по чьей же молитве в ответ на мою – Ей, мы тут уцелели среди всего всю ночь сменявшегося сброда? Выходя – выходил со мною, проклиная себя, что в *тот* раз *не вышел* – раза два-три, ждал меня у края тени от старой погубленной церкви, где я устраивалась «по малым делам» – и возвращались на скамью к нашим бидонам, и я убедила его не оставлять меня (чтоб не отошел опять продолжать своеволие) – и кто же, как не Она, не книга о Ней, мною некогда списанная в Сибири, скротала нам небесно и тихо *ту* ночь – я читала ему о Ней

полушепотом – о Ее чудесах исцеления и помощи здесь, в этом, Ее городе, где она и меня – спасла... Но *вошло* ли это небесное, истинное объяснение случившегося в этого кавказского юношу? Думаю, нет – и не убедило его с Ее помощью, что боюсь без него остаться – не увидала бы я в ту ночь – кровь? Потому что вдруг за плечо его тронул, к нам подсел сзади – некто. И глаза в глаза, кто же: *мы* – или чехословаки взяли первенство в матче? (Холодея, я: хочет запомнить – лицо?) Но Валерик отвечал – «на уровне».

И мы продолжали чтение. И ночной автобус *пришел*, и Она спасла глупыша-кавказца: уцелела и его спутница!

Мы в Москву прибыли в четыре утра и дождались метро в зале Аэропорта, выпив кофе и подремав в креслах...

Валерик требовал у матери присылки пишущей машинки из Воронежа. Волновался – как без рук! А я – я получила из Курска, из-за Курска, из «Заповедника» письмо от 86-летнего друга, Владимира Казимировича Герцыка, зовет – свидеться. Он живет с пятидесятилетней дочерью Вероникой, которую я знала маленькой когда-то, в Судакe... У него целы рукописи его умерших сестер, Марининых и моих друзей, поэта Аделаиды Герцык... и переводчицы Евгении Герцык...

– Валерик! Поедем?

– Поедем... Пока не придет машинка!

Конец октября. Вечер. Захватив, не считая, денег (в кои-то веки *есть* деньги, аванс с 40 последних процентов, 60 уже истрачены за четыре лета с внучками, книга же вот-вот выйдет...), мы идем, спеша, как в Москве всегда по вечерним – уж скоро закроются, магазинам, покупаем: Валерику – шляпу – нет осенней! Меряем – кепи, и теплые – теплой не хочет! Какую хочет?! Выбирает у зеркала, веселясь, как и я, – надевая, снимая, и второй Валерик скалит белые зубы в зеркале, у второго ярче освещено лицо, чем у первого, – завтра полетит письмо другу – художнице в Таллин – пусть напишет мне моего подопечного на память об этой поре... она собиралась в Москву! Она меня любит... а может, махнуть – к ней? Пока выйдет в печать моя книга!

Выбрана! Черная, классический фетр с краями полуширокими, под нею светло чернеют еще не густой чернотой полосы

щек, сливаясь с еще призрачной бородкой... Вот бы мама его увидела б сейчас... хорош! И спешим, и пакеты растут: пара обуви уже на днях куплена, надо на смену – осень – вторую. Холодает. Варезки – мне и ему. Шерстяные носки, меховые стельки. Что еще?

Вечер темен, глубок. Усталые, нагруженные, мы бредем – ко мне. Он не хочет идти к дяде, я кладу его спать на кровать-сетку, днем превращающуюся в диван. Сама на короткую раскладушку между роялем и шкафом. Уснул!

Я лежу. Мне очень не понравился *спор* о том, что надеть в путь – черную легкую ватную щегольскую куртку (мать купила в прошлом году) – непромокаемую, да, но короткую! или бутылочного цвета кожаное пальто? Уступила, но канул в душу горечью его *тон* – в котором он пытался погасить раздражение – и еще кое-что, и еще...

Мы в поезде. И пока он уснул, я записываю свои мысли, женские наблюдения, материнские печали – его мать, по его рассказам, – другого типа, эти ее печали ему не известны? Напишу и дам прочесть. Раз написалось. (Как он – те стихи – той красавице? Ну, что ж...)

Ночь в поезде! Черная ночь, черная шелковистая куртка, черная шляпа, черные усы над молодыми алыми губами, черная бородка, и уж опустились веки на улыбнувшиеся мне глаза, карие, с широким черным зрачком...

Как поезд летит! Они ждут нас, старый отец, друг молодости, его пожилая дочь, мы приедем рано, до городского транспорта в неведомый (курские соловьи...) Курск. Светлый, новый, но колонны, вокзал, странный – из сказки. Мы сдаем на хранение две сумки, рюкзак. Он так нежно снимает с меня пальто – идем закусить в ресторане вокзальном – что на него залюбовавшаяся служащая раздевалки мне шепотом: «Сын?» Я, блеснув радостными очками: «Сын!»

– Ох, хорош! Ну и ласковый, добрый какой. Ведь бывает же...

Трапезная вокзала. Весел полет в такси по шоссе – к лесу, весело свежее осеннее утро...

Нас встречает худая, высокая (проседей уже) – Вероника, ведет к отцу во второй этаж. Мы не виделись – тридцать пять лет! Узнаем друг друга! Но увы – он совсем глухой.

Мы выкладываем привезенное угощение. Мы тут проживем дня три... И пока дочь накрывает на стол к завтраку, а Валерик уткнулся в книгу, я с моим другом Бобой, Бобой восьмидесятишестилетним (он на девять лет старше меня) рядышком на диване – два белых листа на подложенных книгах, два карандаша – поднимаем завесу десятилетий, унесших от нас близких. Горбоносый профиль Бобы заострился, засеребрился, голос глуше – но тот же по интонации... Как *нежно* он произносит «Ася»... как рад нам! Как внимателен и сердечен к Валерику. Прочел, хвалит его стихи...

Нас поместили внизу, в свободной квартире для приезжающих. Со мной аппарат. Я сниму дубовую рощу – еще только начала облетать. Всех нас и лосиху Катю, бродящую вокруг дома. Вероника повела нас в лес, ржавый, багряный, тихий. Вокруг домов Заповедника деревья – рядами. Это все посадки Бобы, он тут самый старый работник. С гордостью и печалью об уже рухнувших силах он показывает нам свой труд.

Ласковые обеды, ужины, завтраки, нескончаемые беседы, чинность жизни людей пожилых и больных, чинный, в идеальном порядке Музей заповедника – срезы дубов-великанов и другие полированные разноцветные срезы, чучела птиц и пушных зверей, крылья стрекоз и бабочек, масса невидали, огромный труд и любовь, наше восхищение, строки в заветной книге заповедника, и ночи сиденья – до полуночи – у кровати Валерика, когда наверху уснули, а мы все еще не спим.

Фотопленка сегодня закончена, уж четыре дня тут, завтра в путь: «Непременно весной к нам! Слышите, Ася? И Вы, Валерик, ждем... Ждем!» Заведующий Заповедником дал нам машину...

Путешествие продолжается...

Снова Курск. Сидим в зале. Тревожусь, что пора встать в очередь. Спор. Валерик: «Рано!» Но нам *надо* в Москву, надо *первыми* стать в очередь в кассу...

Вздыхнув, махнув рукой, уступает. Идет, занимает очередь. (В Крыму бы рукой не махал – как пластичен был в послушании... В нем выражал свое уважение, *всё* делал, как мы хотели – Женя и я. А теперь...) Но когда, беспечно сказав – «Занял» и сел, и я отвечала, что издалека в очередях не стоят, что придут другие, начнут оспаривать – Валерик *не* сдался: «Чепуха!

Не беспокойтесь, не надо! Раз я взялся...» И только когда я, встав, взяв сумку, сказала, что перейду в ту залу, где касса – он нехотя пошел туда, как-то сел поодаль. Тогда я подошла к нему. Суховато: «Валерик, я *прошу* Вас: займите свое место в очереди. Люди приходят, уходят – это же не дело!»

Он уперся:

– Раз я взялся... все будет хорошо, успокойтесь!

– Я *не* успокоюсь. Мне семьдесят семь лет – я *знаю*, как эти вещи бывают! У Вас *будет* спор!

– Нет, не будет! Я *столько* ездил...

– Но немножечко меньше – чем я?

И мне стало *скучно* жить и грустно на сердце. А когда через пять-десять минут очередь разрослась и я услышала возмущенный голос моего подопечного, что он тут *стоял*, тут еще был мужчина... а мужчины не стало, кричала женщина, и поэт кричал на нее – мне стало совсем прозаично, юмористично, надменно – и всё это было уже не ангельское, как в Севастополе, Новом Свете и Херсонесе, а – наоборот... Я дала себе волю сказать: вот видите... но больше не сказала – из жалости.

– Вы увидите, что я – прав... – безжалостно сказал он.

И мне захотелось в Москву, к Жене...

В Москве Валерик заночевал у кого-то. Днем мне позвонил незнакомый голос:

– Я – дядя Валерика. Вы его видите?

– Да, он позвонит мне сегодня.

– Передайте ему, что Саша, жена его, привезла ему из Воронежа его пишущую машинку.

– Передам. Она остановилась у Вас?

– Да, у нас.

– Отлично.

Я отыскала Валерика по телефону. Радости в его голосе не было. Перед вечером он позвонил.

– Разрешите мне прийти к Вам – с Сашей?

– Если Вы находите это – нужным...

– Да, я... мне...

– Вам с ней тяжело? Приходите... Но у меня будет внучка. И, может быть, знакомый с Сахалина.

– Это мне все равно...

Тех еще не было, когда он пришел – с женой. Впечатления – никакого. Как чужая вошла, как чужая повела себя. Он шел за папиросами.

– Оставьте нас на полчаса. Может быть, Саша хочет поговорить со мной...

Я сделала – что могла: сказала, что когда-то была замужем за человеком, столь же негодным для брака, расстались без ссор. Не надо удерживать человека. Со вторым мужем была счастлива.

Откинув голову, недобро и очень не женски:

– А он не отказывается от меня как от женщины...

...Точно мне склеили рот! (Может быть, днем ей сказал это? Почему не предупредил меня?)

Звонки: внучка Рита, Валерик, литературовед с Сахалина – красивый, веселый друг... Узнал, что Рита моя вышла замуж. Вечер впятером. Валерик с женой встали первые. Ночевать обещал у родственницы Жени, старушки – далеко. Я позвонила ей, что он проводит даму – и едет к ней. – «Она старая, Валерик, не опоздайте». – «Нет, нет». Ушли.

– Какая неинтересная... – сказала мне внучка.

– Ни малейшего шарма! – сказал Виктор – и коллега – и ни слова о литературе...

– Зачем он на ней женился?

Я – Рите:

– Говорит, встретились в ненормальном доме – или после него. Нет, еще вместе учились в университете. Он любил чужую жену – измучился ее нерешительностью. А эта сказала ему: «Женись на мне. Запишемся. Без меня пропадешь. Я *не* заставляю – но жить без тебя я – не буду...» Испугался? Решил – хоть кому-то сделать добро. Но не смог. Скандалы пошли... Девочка родилась мертвая, очень пережил ее смерть. Но с женой жить *не хочет* – так он *мне* говорил. Ей летом еще сказал о разводе. А мать советует – вернуться...

– Как можно в этих вещах советовать? – произносит Рита.

Поздно ночью – телефонный звонок: «Я, Валерик. Она меня водила-водила, забыла адрес, а теперь кончился весь транспорт, метро, все – я иду проводить ее по последнему ее варианту, а старушке позвонил, чтоб ложилась».

– Вы идете ночевать к Саше?

– Ни за что. Я пойду пешком – на вокзал.

– Хотите, я Вас подожду. Но Рита легла на кровати. Вам могу постелить на полу. Вы сказали ей, что от нее как от женщины не отказываетесь?

– Я сказал, что мы разводимся.

– Если так – она хочет, *может быть*, хочет на Вас аркан. Хочет – беременности? И тогда ребенок ляжет на Вашу маму? Если так – *не* заходите к ней. Через порог не входите. Понимаете? Если вошли – дайте себе слово.

– Даю *Вам* слово: я к ней не войду.

– Не ставьте жизнь на карту случайности. Мне *Вашу* маму жаль! Ваша жена сегодня мне солгала. У нее свой план. Если не любите – не попадайтесь в сети! Если обещанье, Вами себе данное, *не* сдержите – забудьте мой адрес.

– Я – в автомате. Она на дворе. Провожу и иду на вокзал.

Поздним утром пришел Валерик. Риты уже не было.

Был весь серый. Сел. У него не хватило духу сказать мне сразу – правду. Сперва на мой вопрос – сдержал ли себе данное слово – ответил: «Да, там была раскладушка!» – то есть *пришлось* войти, потому что когда он, доведя ее до двери (ею, конечно, все было подстроено!), и сошел на этаж ниже, *там* ожидая, что ей *откроют* – наверху был шепот, и ранее, чем он успел – к нему сбежали два молодых человека, знакомые – и полусушня-полувсерьез *втащили* его в квартиру...

– Свидетели! Понятно! И Вы остались с ней? Хочет одарить Вашу маму – ребенком?

– Я боролся с ней – до утра! Я говорил ей: «Мы – разводимся! *Зачем* тебе это надо?»

Но – к окну ли она метнулась или сказала что-то такое, – я сказал: «Это в последний раз!»

– Тааак... – протянула я, и мечта об облачном спутнике, о Поэте, Ангеле, Друге, о Личности стала медленно ронять названные Одежды, как обдираемый капустный качан... Но у него хватило мужества сделать движение – встать:

– Мне – уйти?..

Я ответила одной жалостью: «Останьтесь...» Но *маму* мне бесконечно – жаль... И зачем не сказать просто: она – женщина,

я – мужчина... Голова закружилась... Это же более чем понятно! Только Ваше слово *себе*...

– Ах, Вы об этом! Нет! Нет! Это было мне *так* противно – я был с ней не более... минуты! Я ограничил себя как мужчину! У нее *не будет* ребенка! Я напишу это маме! Вчера я ее еще уважал! Она *потеряла* мое уважение...

– Проходимка, значит? Не любовь, а...

– Пожалуй, да!

– Но – свидетели – ночь вместе... Вы забыли о маме! О ее, Вашей *ex*-жены, товарищах, которые дружески ей окажут услугу, *если это* у нее в уме – аркан! И за него будет отвечать – мама. И к чему тогда – развод и все эти даваемые себе слова?

– Да, все это было ею разыграно! И те двое *ждали* меня, это ясно. И нарочно водила меня по ошибочным адресам – чтобы кончился транспорт...

– И *это* называется – жена? Я бы хотела Вам – лучшего... Так Вы и машинку не взяли? Я уже пишу предисловие к Вашим стихам.

– У дяди! Возьму. Сегодня возьму. И мне сегодня надо – уехать.

– Я Вашей Саше подготовила врачебный прием у невропатолога и ларинголога, она жаловалась на аллергию, на ужасные ее утра. В субботу ее примут... Она сказала, что будет тут – с неделю.

– Я должен уехать сегодня!

Он метался. Я боялась нервного припадка.

– Мы хотели вместе – в Таллин, к той художнице, она писала – портреты. Я могу поехать – один?

– Поезжайте. Отдохните. Придите в себя.

– Но *никто* не должен знать, куда я уехал. Обещайте мне: никому.

Я обещала. Я посадила его на поезд с машинкой. С мутным чувством я вернулась назад. Телефонный звонок: жена Валерика, Саша!

– Вы не знаете, где он?

– Он уехал, взяв пишущую машинку...

– Но куда? Мы с ним не уговорились о встрече...

– Почему же? Когда Вы вчера прощались...

– Не вчера, а сегодня *утром!* (В голосе торжество.)

– Ничего не могу Вам сказать... Но с врачами – устроено, Вы будете от них свободны в субботу, через три дня. Если не будет времени заказать лекарства, Вы мне оставьте рецепт, я Вам вышлю.

– Но куда же, к кому он уехал?

– Видимо, к друзьям, за Москву.

На другой день дядя Валерика сказал мне, что Саша уехала в Воронеж.

Мне шли – каждый день – открытки из Таллина. Нежные, скучающие без меня, поэтические – средневековый город, мечта! Вот бы вместе нам бродить по нему.

Я работала над предисловием к его книге, работала над поправками к *моей* книге, перезванивалась о работе с редактором, виделась с Женей, была грустна и очень устала.

Я говорила по телефону, когда меня спросили две дамы – блондинка, брюнетка. В летах.

– Анна Петровна Исаянц! – сказала брюнетка. – И я увидела еще красивое, волевое и очень усталое, похожее на Валерика, лицо. Мы вошли в мою комнату. – Жена моего брата!

Я пригласила сесть. На диване лежала болевшая Рита, моя внучка двадцати четырех лет.

– Я пришла к Вам за моим сыном! Он перестал мне писать, а сведения, до меня дошедшие... Я хотела прийти к Вам с...

– С обыском? (Я улыбнулась.) – Я не держу его в шкафу...

– Он попал, видимо – в секту. Моя родственница подтвердит Вам: из него сделали – вегетарианца... Он ездил за какой-то святой водой.

– Ездил, помог *мне*. Как *я* ему. Кто говорит, святая – а колхоз построил колодец, берут больным целебную воду...

Но тут раздался смеющийся голос Риты.

– Это *Валерик* – вегетарианец? А как он со мной уписывал присланную мне из дому – утку?

– Как! Правда? – сказала мать – тетке.

– А у нас он отказывается от мяса... – произнесла тетка.

– Видимо, от духа противоречия – это у молодежи – часто...

– Но ему, должно быть, не разрешают сожительство с женщинами? (мать) – У него превосходная жена...

– Может быть, и превосходная, но она вела себя с ним весьма странно... Он отослал Вам письмо, что потерял к ней – уважение. Вы не успели получить его?

– Ну и жена для Валерика! – трезво сказала Рита. – Ни наружности, ни...

– *Сам* выбрал! Я не вмешивалась! У него был роман с очень красивой, я бы не возражала...

– А по-моему – какой из него семьянин? Я это сказала Саше, но она меня не поняла.

– *Мне* сказали – он в секте... Может быть, он там, Анастасия Ивановна, *без* Вашего ведома?

– Он бы мне сказал. Да мы везде вместе бываем. Я ввожу его в писательский мир, познакомила его с Евтушенкой...

– Он мне писал, я очень Вам благодарна... На выставке Волошина, да?

– Да, и Женя мне обещал помочь ему со стихами. Антокольский болеет, пойдет и к нему. Рассылаем подборки – в журналы. В нем приняла участие юристка «Известий», человек очень умный и добрый. Пойдем к Шагинян...

– Да когда бы он успевал – в секту? – вставила Рита. – Он у бабушки каждый день!

– Я – я *противник* сект, – сказала я очень твердо. – Наши убеждения с Вами – различны. Я – член *церкви*, а церковные секты – преследует.

– Так мне можно – успокоиться? – И глаза матери, сперва сухие и гордые, глядели с добрым вопросом – в мои.

– Совершенно.

И когда грянул вопрос матери:

– Но *где* же он?

Я, сердясь на ее сына, взявшего с меня обещанье молчать о Таллине, с отвращеньем ответила, что, *может быть*, в Таллине, мы туда с ним собирались. Он, наверное, работает, еле дождавшись машинки...

– Ведь он от Вас получил письмо, что Вы больше его не субсидируете, чтобы он жил *как* хочет... А мне его поручила Волошина, есть у него и другие друзья – в общем, мы его *не* бросили. Вы разрешите мне прочесть Вам мое предисловие к его книжке?

Мы расстались – друзьями. Мать меня благодарила за сына. (Я же очень ее жалела: если *мне* не легко, как же – ей...)

От Валерика телеграмма: «Приезжаю восьмого девять утра поезд 34 вагон 3 = Валерий =».

Еду встречать. Вчера Анна Петровна была опять у меня, говорили долго, дружески. Это совсем не тот человек, которого – грубо описал Валерик: она хочет его самостоятельности, нормального заработка, он отовсюду уходил эти годы – и она помогает ему без конца... Он не прощает ей, что она настояла, чтобы он кончал Суворовское, куда захотел – сам...

Соскучилась ли я по Валерику – за неделю? Да. Но у меня было столько работы, разговоры с его женой, с мамой... Я очень устала, а он – отдохнул и соскучился. Он бросается ко мне, обнимает. Я хочу сообщить, что приехала его мама, что я принуждена – обещала! скрывать где он, что мне всё это очень тяжело – он прерывает. Сияя: «Дайте мне раньше – *порадоваться!* А затем...» Но я в тревоге: ложь, ложь, на мне виснувшая, не дает покоя. Скорее, я ее с себя... Ходим по вокзалу, толчемся. Наконец, едем. Едем ко мне. Он дарит мне книжку Кольцова. На ней – надпись: «Лучшему человеку!»

Едем к Жене. И там – в день, когда мы вздохнули, происходит неожиданное.

Письмо

Валерик! Вчера мы простились в метро, Вы ехали с мамой к родным. Я не могла говорить при ней, она не знает всей линии наших отношений, и хоть я думаю, *она бы меня* поняла, но Вы бы вознегодовали – потому что у Вас с ней близости – меньше, чем у меня с ней. Сегодня не зная, как и с кем Вас увижу, потому пишу. Нет, не только поэтому: устно не скажешь так верно и точно, как – написать. И Вы станете возражать, спорить, сомнете четкость. А *прочитав*, может быть, Вы лучше поймете. Только, пожалуйста – *дочитайте*.

За это время произошли основные события перелома Вашей жизни: я встретила с Вашей матерью – и подружилась с ней. Удар ее враждебного прихода ко мне – после дикой выдумки обо мне и моих друзьях Вашей жены, ее

ложно настроившей – мною выдержан и отведен – правдой. Но *Вы* этого не поняли – иначе не заставили бы меня – *Вы!* – страдать *так*. Удар *ее*, мною незаслуженной вражды был *меньше*, чем – нанесенный вчера – Вами. В день счастливейшей встречи, когда были сказаны Вами слова об утверждении веры в меня – *Вы* бросились ко мне, как ребенок, – сердце к сердцу – сказали *Вы*. И найдется ли хоть один человек, кто на моем месте не метнулся бы *от* Вас, когда в *тот* же день *Вы* у моего друга Жени подняли на меня голос, не выслушали, не захотели слушать простой деловой совет, вспыхнули – мальчишеской? – гордостью, что я указала Вам на *неверный*, *Вам же так* нужный – текст заявления об утере паспорта – *отказавшись* переписать его! *Как* могли *Вы* – перед лицом всего, за Вас перенесенного – *забыть* сказанные Вами слова? Как? *Один* день не продержалось Ваше «сердце к сердцу»?

Оставив меня, растерявшуюся перед Вашим криком непонимания и упорства, посреди комнаты, уйти от меня к – не понявшей происходившего, считавшей *меня* жестокой к Вам (когда изменить текст было *необходимо!*) – уйти от меня к Жене, решившей, что Вас надо успокоить, не спорить с Вами – потому что *Вы... больны*?

Сесть на диван к – непонявшему, утешиться не моим *объяснением* (*Вы* не слушали!) – а ее рукой на Вашем лбу – от *моей* заботливой *правды* – лечиться! Это был жесточайший *бред*. И тот факт, что я, наконец, *не выдержала*, повела себя, как каждый бы повел, *тривиально* – подняла *голос*, заплакала, бросила что-то об пол – и ринулась прочь – *только* это Вас привело в себя, заставило за мной броситься и – *выслушать* те простые деловые, по ходу дела неизбежные в заявлении слова, которые *Вы отвергали*. Вам переписать полстраницы оказалось – по моему совету – *трудно*, *Вы* вскочили и осмелились мне крикнуть: «*Вы* мне испортили день, мое *настроение...*» – мне, за всё для Вас поднятое, слушать о – настроениях? В деловой час! Мне, *презирающей* «настроения»; бросившей Вам в помощь все мои *силы*, требующей Ваших – для *дела...*

Если *Вы* не сумели довериться мне в деле о пропавшем документе, который столько (в 3-х домах!) искала, о котором выспрашивала у *юриста*, на что отдала столько

сил – что же Вы назвали (в *то* же утро!) «сердце к сердцу – ?» После *стольких* недель – вместе! Что можете вынести в том, что Вам предстоит? – в поиске и выборе работы? В исполнении ее?! Горы для этого подняты! Со *столькими* нужными Вам людьми я свела – Вас – с каким трудом! Чтобы Вы ухватились за них, слушали их советы! Думаете «по настроению» жить? В Москве, где у Вас нет прописки?

Я вчера смотрела на Вашу мать, как искоса материнским глазом наблюдала Вас в беседе с братом Евгении Филипповны, в ее взгляде была намученность, смешение восхищения и тревоги, и мы обе знали, что чувствуем совсем *то же*: в час, когда надо было вплотную с друзьями, которых я Вам дала – советоваться и решать, *что* же сделать, чтобы Вам остаться – Вы же *это* поставили целью? – в Москве, где юношей, подобных Вам, без занятия и прописки, из Москвы выселяют – Вы, сев на одну из Ваших фелюг поэтического самовыражения, продолжали на ее и моих глазах баловаться высоким баловством слов, юмора, волевого бездействия. И Вас слушают – с сочувствием, с интересом (а потом будет полуудержанный вздох: Чудесен, да, – но... нежизненен!). Я *не хочу* такого диагноза Вам! Я хочу Вашей собранности, мужества, – для *этого* я тяну Вам руку. Мои друзья – занятые люди, усталые от труда – они, пожилые, перегруженные, не дают себе словесного баловства – неужели Вам *их* не жалко в той роли, что Вы им даете? Вам *месяц* остался – стать на ноги. «Сердце к сердцу». Докажите это *на деле*! Покажите, *на что* Вы способны – *взяться* и *вынести* – ради Вашего будущего, ради поэзии (Вы же над стихом *не работаете!*), ради всех нас, Вам пошедших навстречу, ради мамы, ради меня... Если Вы метнетесь *от* меня, прочтя это – схватитесь за голову – «мне плохо»... – наше дело потеряно.

Даете нам руку на *все* трудности?

Нет?..

Этот листок он дочел – и вернул мне.

Я ждала. Звук зажигаемой спички, заалел папиросный кончик.

– Ну, конечно, – сказал он, – мы уже говорили об этом... Простите, я пойду покурить.

Чувство, что мне 100 лет! Не в этот ли день мне, вспыхнув, бросает Валерик: «Вы сомкнулись против меня – с моей матерью!» («Ася, он же больной человек...» – утешает Женя.) Вместо того, чтобы поблагодарить за столькое, за него вынесенное... Ну и ну!

Еду по приглашению матери – к ее брату, семья. Дружеский чай. Нас снимают.

Вечером мать Валерика (в день отъезда мать переутомлена, высокое давление, головные боли...) приглашает пообедать в ресторан у Арбатской площади – «Валдай». Кормит нас. Примирительные речи. Готова вновь ему помогать, лишь бы искал работу. Не может ее сын называться тунеядцем. 27 скоро, надо стать на ноги... Как не похож мягкий, измученный тон на *его* рассказы. И – вдруг он начинает упрекать мать за прошлое, не понимала его! А помощь... Он вскакивает, ходит вокруг нас. На нас смотрят... Мой укоряющий взгляд он – отбрасывает. И снова: «Вы все *не то* говорите. Не то делаете... Не хочу денег!» – кричит он (их взяв).

У матери в глазах слезы. Как он жесток, как неправ... «Я просил Вас нам с Сашей прислать в Сибирь ветчины, а Ты *сала* прислала...»

Позор! – чувствую я: вот так всю жизнь...

Мать берет себя в руки. Выходим. Мы провожаем ее на вокзал. «Обнимите мать», – шепчу я. Он слушает. Обнимает. И поезд увозит ее от нас...

Мы спускались по лестнице метро, движущейся. Мы спешили. Беспомощными, веющими движениями рук Валерик оберегал меня от стоящих и идущих медленнее, чем мы. Каждое это его движение было иное, было другого беспомощнее, одно – трепетнее другого...

Пронзая мое умиление, моя зоркость отмечала на бегу, в некотором ветре нашего обеганья людей, в нашей спешке – рождавшееся сходство в движениях поэта и юноши с движениями ангельских крыл: перьев! Длинные, они и не могли быть иными, как трепетными, состоя сами из Трепета! В тот миг, когда мы достигли конца эскалатора, когда последняя ступенька уходила из-под ног в исчезновение, я еще успела вспомнить, что *тот* ангел, в «Чудесном посещении» Уэллса, назвал

себя, когда его спросили в гостинице фамилию – Мистер... – ? (ожидая как бы Джекобсон, Смит, Браун) – (в голове был вопросительный знак). *Тот*, растерянно, но уже воплощаясь, – так же неумело, как оберегал меня мой спутник, ответил, повторил (может быть, полувопросом тоже?): Мистер Эйнджил?

«Схождение на землю», – сказала я себе, легко, привычно шагая на мраморный пол (Валерик уже вел меня под руку). «Вы читали, – спросила я его, – рассказ Уэллса “Чудесное посещение”? Прочтите! Чудная вещь...»

...Только утро любви хорошо,
Хороши *только* первые встречи...

Это мог быть эпиграф к внутреннему, начатому письму к Валерику...

Письмо... Как странно, что *ему*, начавшему отношения ко мне с такой высоты общенья, с нежности, заботы – те веющие руки на эскалаторе! – что *ему* так легко сходить с *высоты* «тока» – и «Ток высокого напряжения» как название книги Павлика Антокольского, не чтить *декорума*! Я хотела бы этот Декорум чтить до *последней* встречи.

На какую-то очередную (*слегка* грубую) выходку его я (несмотря на *легкость* эту), раненная *грубостью* этой (было бы *честно* сказать «смертельно», если бы не бояться слов, потому что именно *так* ощущает душа, за легким *кустом* грубоватости видящая весь лес, на нее идущий, шекспировский, все предчувствующая по первому звуку...), – я спросила его: «Почему Вы в *Крыму* никогда не позволили бы себе со мной этот тон?» (я удержалась от слова «развязности» – но *он* не удержался именно от нее в ответе):

– Тогда были *другие* отношения...

Девушки! Женщины, не боящиеся *правды*: *вот* час для заявления о *душевно*м разводе – ибо *впереди* надежд – *нет*.

Но мы не только девушки, женщины, мы еще – матери, и мы спускаем сынкам и это, и больше – от жалости, от Жалости с Высокой буквы! Но тем же движеньем уже спущены петли, связанное – *распускается*, ткань *рвется* – и уже никогда не вернется Декорум первых волшебных встреч...

Мы идем по проспекту Калинина, неестественно белой улице новой Москвы, для которой был уничтожен целый район Москвы старой с историческими особняками, с улочками и переулками, вошедшими в русскую литературу. Резкие струи ветра в просветы между 20-этажными домами режут лица. Мороз. Я уже не просила Валерика опустить ушанку, он ответил, что ему тепло.

Мы идем к моим друзьям, по его просьбе, он хочет послушать переводы с английского, в тот раз ему так понравившиеся. Обернувшись к нему, я вижу, что уши его совсем красные.

– Ну почему Вы упрямитесь? – говорю я. – Сейчас ходит грипп – и у многих осложнение на уши. Знаете, какая это боль ужасная – воспаление ушей?! (Стараюсь в голос вложить всю мне подвластную убедительность.)

Вдруг мой спутник останавливается. Если бы яростный взгляд мог опрокидывать – меня бы уже сшибло с ног.

– *Хватит!* – кричит он. – *Довольно!!!* Что я, *пацан*, что ли? Мне – скоро под 30!..

Старался ли *он* вложить убедительность в окрик, или, наоборот, не сдержал его? Полусбитая с тротуара, напрочь отброшенная от него неожиданностью *такого* протеста, я отвечаю из бесконечной дали:

– Вот как!.. А мне скоро – под 80!.. Если Вы будете говорить со мной таким тоном, я (и в то время как я сламываю шею своей польской и своей старческой, двум гордыням – и, острой жалостью к *так*, в зло сорвавшемуся, заканчиваю мизерными словами) с Вами я никуда не пойду, – начатое было *прощание* – поворот от ворот – я чувствую, что меня уже всё – *нет* с ним, *нет тут вообще*, все *кончено*, началось самое мучительное – этого *не показать*...

Негодование (взлет!) и горечь (плашмя!) борют меня с равной силой. В их бою, неслышном, незримом, я шагаю рядом с Валериком, как шагал бы заведенный на ходьбу манекен. Идем в гости!

Там целый вечер – я (привычно!) притворяюсь веселой, за чайным столом в беседе о качествах переводов... Но на той арене, где живет только *правда*, я стою совершенно одна, потрясаемая теперь – удивленьем: как *это* могло стать! – после всего

обратного, что нас слило и сливало так долго – после *такой* близости, для которой, как он писал мне в надписях на даримых каталогах и книгах – свидетелях путешествий наших – «для которой еще *нет слов...*» – значит, *это* (возможность этого окрика, *этой* грубости, *этой вражды*) было всё время с нами, оно только *смирялось...* А я-то, я-то – расчувствовалась! Написала стихи, 28 лет промолчав – о ж и л а – полюбила – поверила...

– Нет, спасибо, чаю больше не надо... Поздно! Надо идти...

Идем по тому же проспекту. Для которого рухнули дома прошлого. Это во *мне* они рухнули – и теперь строится какой-то «проспект» полуправды понимания на развалинах нашего с ним уюта, счастья – (он не раз говорил что – счастлив, что наша встреча – *чудо!* А я, ведь, *тоже* была счастлива? Перечеркнув свои семьдесят семь?..).

Ветер, мороз. Когда мы сходили с лестницы, он было кинулся в – будто бы неудержимую речь, «как прежде» – о чем? – не запомнила! потому что – не отозвалась! Молча шла, дослушивая какое-то его размышление, *так* ненужное в час, когда мертвая горечь остановила во мне – всё. *Сейчас* я играть – не могла: там, за чайным столом, чтобы *те* не заметили. Здесь... неужто и он хочет купить мое внимание какою-то вот этой – темочкой – после *того!* На пятак рублей? Слишком я еще уважаю то, что меж нас *было* – и чтобы сейчас отозваться – на *это*, отозваться – словесно – могла бы *только* на *одно* слово, – «простите!» – *заставила* бы себя ответить, хоть ничто не всколыхнулось бы в сердце; сердца, ведь, просто – *нет...*

Еще раз! Пытается! Уловив мой взгляд (ведет меня под руку) на серебром сверкнувшую в окне магазина из серебра же выточенную елочку – он пылом всех найденных слов, талантливых, о захватывающей красоте подобного зрелища – почти что удушье, остановка дыхания... Неплохо сказано! (Отмечаю.) Ироническая мертвая горечь захлестывает меня. Молчу, замолкает и он. Так доходим до метро «Арбатская».

– Вам – в старое, мне – в новое, – говорю я, – поздно. Вам нельзя опаздывать на ночлег.

(Неужели не скажет единственно нужное слово?..) Не говорит. Смотрит. Вижу это боковым зрением. Не отзываюсь.

Я не хочу смотреть. Если б я отозвалась (сейчас, без его слова «простите» – *все же чушь*, кроме *этого* слова, неужто же не понятно?) – если бы я отозвалась на – малое, это бы значило, что не было позади – большого. Оно было. Во *мне* – было. То, большое, что было – или казалось – смыкает мне уста. Не подымлет веки. Рукопожатие, кивок головы. «Доброй ночи». Я одна. Мое одиночество, мой вернувшийся спутник, коему я изменила с этим юношей на не так долго, живет со мной вечер, ночь, утро.

Затем в мою комнату входит Валерик. Я очень плохо спала ночь, не могла уснуть с вечера, ни – под утро; три-четыре дозы снотворного (гомеопатия). Тоска точно ком в груди. Голос – хриплый. Но я помолилась, прося помощи, не сказать ничего лишнего, жестокого. Только нужное ему.

Но я не могла бы. Дурная ночь – и тоска делали меня совсем слабой. Тяжелая голова влекла за собой мысли о вот так, после повторных ночей – инсульта. Я присела к нему на диван.

– Мне надо поговорить с Вами. Дело в том – видите ли... я провела очень дурную ночь – после вчерашнего. Вы заботливы ко мне; держите двери метро, чтоб не ударили. Но ведь это – наружный удар, поболит – пройдет. А *сами* меня *так* ударили... Это же не прошло, не пройдет... Что Вы – за заботу о Вас! – подняли на меня – голос. Вы меня – отбросили, и я – в той дали....

Он молчал. (*Как понимать молчание?*)

– Так вот... Вы не терпите моих упоминаний о моей смерти – но ведь о ней говорит – возраст. Прерываете, у Вас меняется лицо! Но Вам надо знать, что повторенье такого – может вызвать именно *ее*. Организм – не силен, хрупок. (Держусь – нервами, волей.) Скажу Вам правду: я думаю, этот разговор – безнадежен. Это мне говорит *опыт* жизни. В зле человек *не* стоит на месте – идет дальше, вниз. Вы, вероятно, бессильны сдерживать себя. Не будете сдерживать. В Крыму Вы никогда бы не подняли на меня голос! Я распустила Вас – моей нежностью. (Молчание.)

– Было бы полезней, если бы я сказала Вам: повторится – меня потеряете. Но я скажу обратное: я Вас – *не* брошу. Я – буду терпеть. Но чем кончится – не в моей власти. Я взываю к Вашей совести. И потом Вы не простите себе...

Он молчал. Помню продолжение, – стою у рояля, он – он немного двигается между диваном и мной. Я рассказываю, как я, задев в молодости человека, – публично причинив ему вред – заставила себя встать и при всех извиниться. Тут (*не до*, не в *том* разговоре, а *здесь*) – он вспыхивает. Впрочем, *до* вспышки он, на мои слова о непонятности его молчания – не виновато, а уверенно возразил, что я не понимаю, что он *осознал* свою вину. Да, он был не прав. Но *говорить* об этом... (Тут последовал случай моей молодости.) И он бросился – в спор. Взволнованно – о том, что вообще волнения не стоило – он заговорил, к моему горькому удивлению, – о поколениях, разных.

– Наверное, моральные правила в том веке были – выше... Мы, *наше* поколение – не можем понять этого. Всепрощение, Ваше извинение перед тем человеком... Это *нам* – совсем не понятно...

Слушаю, замерев... «Нам?» Он и какие-то там – *его* молодые люди? И он вместе с ними – не понимает? «Нам» вот уже четвертый месяц значило – он и я. Не *тем* ли он стал мне дорог, что он понимал *всё* – до сих пор – что понимало *мое* поколение? Не для этого ли я вышла из холода возраста – во вневозрастность, в жар *чужда*?! И *это* он говорит – мне?

В комнате веет морозом. Чужой человек говорит – чужие слова. Чужим голосом. И при чем, собственно, тут – Я?.. («What is wrong with the world?» Честертона. Как Миронов хотел перевести это: «Что неладно с миром?»).

Да, я еще сказала Валерику, что мои друзья – на Том свете – горюют сейчас вместе со мной...

Скажи он мне – это было затмение, *простите* мне этот грех! – я бы, может, – смягчилась? Если б видела, что он страдает. Сострадание – большое чувство.

Но он спорит. Он уже мечется по комнате, и – из несогласия со мной. (Если б – из-за несогласия с собою...) Я бы, может быть, сказала ему: если б ребенок, привыкнув к тому, что солнце шлет ему в его оконышко золотые добрые лучи, вдруг увидел, что солнце – затмилось, что лучи стали – черные, страшные – мог бы ли этот ребенок, когда затмение прошло, снова верить солнцу – по-прежнему? Ведь он бы все ждал – что снова...

Боялся бы солнца! Вот этот страх у меня – к Вам. К Вашей душе, которая вдруг стала мне непонятная. «Не упрекайте меня и на меня не сердитесь, – это не в моей власти...» Но, заострив разницу поколений, блюдя правоту своего – он выходит из комнаты, схватившись за голову...

– Можно с ума сойти!.. Если я найду за Москвой хижину, я запрусь в ней на десять лет, чтобы никого не видеть...

Стою, занемев. Это – ответ на мое обещание его – не бросить? Когда он входит, я говорю ледяным голосом:

– Я учу своих *внучек* отвечать за свои слова. На ветер не говорить. Я Вас *очень* прошу – если Вы *решите* в такой хижине запереться даже от меня – пожалуйста, предупредите меня: я же для Вас хочу стать членом Союза писателей, чтобы Вы могли назваться – секретарем! Если Вам это не надо...

Тут он ответил, что хижина – это только *мечта*...

– И вообще – о чем мы тут говорим? – тоном негодования, возмущения – целый час ни о чем! Можно было с пользой употребить это время! Читать! – (Как Вы, сев на диван, взялись после вчерашнего – читать «Вечерние огни» Фета – не говорю я.) Я осеняю себя крестом: я крещусь на том, что то, о чем мы сейчас говорили, *самое важное* из всего, что мы *могли сказать*...

Кажется, на другой день моя редактор привезла мне первый экземпляр моей книги. С просьбой не разглашать пока, потому что: «Это – негласно. Книга еще не разрешена к продаже...»

Был первый день Нового года, и редакторша, друг, так за мою книгу бившаяся несколько лет – ждала мой восторг. Радость хотя бы! А я – я не могла играть; очень плохо эту радость сыграла... Я не чувствовала ничего, кроме полнейшей апатии. Будто в саду все ветки скрутились в морозе.

Я подержала книгу в руках, похвалила, полистала. И, несколько позже – я была только честна, что подарила этот *первый* экземпляр – Валерику. Потому что он – радовался. Поздравлял! Господи... Книга эта, в которой не было моего горя сегодняшнего, была мне, как всё, мертва.

100 дней царствовал Наполеон? Но он – царствовал! *Моих* дней счастья с моим таинственным – сыном? Волшебным спутником... было – с двадцать третьего сентября – было в тот

день – 99 – 100-й! Да, были в счастье моем перебои, неровности его, часы горечи – но оно возвращалось – решением, что это же болезнь в нем, остатки ее – оно возвращалось, счастье, на круги своя. Теперь...

Еще через день он уехал в Воронеж. По делам, на несколько дней. А сейчас он звонил – простудился – но едет и, если Бог поможет, – он выздоровеет к Рождеству.

...Конец января. С нашей последней встречи с Валериком прошла неделя.

Он вошел и, размашисто, привычно меня по-сыновнему обнимая, – показался мне *мил*.

– Скучали по мне немножко? – спрашиваю ласково, матерински, ожидая, что отзовется всем стремлением недели без встреч, радостно.

Утомленный своим, привычным ему, неумением вести себя с родной (намученной им) матерью:

– Скучал, немножко! – ответил он рассеянно-радостно, взглядом обводя дни им не виданную комнату (продолжая, должно быть, свой тон с *родной* матерью, – со мной, тоже уже привычной, матью номер два...).

Мы были одни в мастерской. Я протянула ему мое письменное обращение к нему, приготовленное, чтобы избежать разговора.

«Мы в Таллине. Откуда Вы – недавно писали мне (ежедневно), где мечтали – со *мной* бродить “по 15-му веку”...

Вчера в первый раз тут (я болею немного) Вы от меня услышали, что я хочу на воздух – был золотым лучом отрезан угол дома в окне, – пройти по городу. (Вы уходили куда-то.) Вы ушли – и пришли через пять часов, когда солнце ушло. Вы ходили в город два раза и два раза забыли мои поручения – *виды* этого самого города, этот 15-й век. Забываете и то, что я уеду к моей внучке на пять месяцев – надолго – за пять месяцев в моем возрасте можно и умереть! Вы хотели (цитирую) “грохнуть десяток рассказов о Путешествии нашем”. Вы не пишете. Я четыре дня жду, чтобы Вы для меня просмотрели Ваши записи тех дней – для последовательности *моих* глав о нем. Вам все некогда. Вы листаете том философской энциклопедии,

взятой мною, чтобы Вы мне прочли хоть три статьи из семи отмеченных – (мелкий, мне недоступный шрифт). Прочли мне – почти насильно – одну – и читаете для себя.

Вы совершенно свободны – но *таким* употреблением этой свободы Вы питаете *будущую* главу о нашем совместном Таллине (и потом назовете ее моей аберрацией?).

А ведь наше Путешествие – еще длится!?

Храни Вас Бог на непонятных путях Ваших».

Он дочитал. Я следила за его лицом. Брови сдвинуты.

– Какая-то... (Чепуха? – подумалось мне) – Какой-то бред! – сказал он, бросая на стол листок. (Бросая? может быть – кладя?) И вдруг раздраженно: – Оставьте меня в покое!

Я не ослышалась, нет. Но еще скорее, чем в себе ожидала: «Уже! – отвечала я молча, – мой юный друг, я – свободна!..»

Второй день я – свободна. Он – далеко.

Я не отношусь к нему *сама*, а только отраженно: как он. Если расстанемся в такой тональности – он окажется в бесконечной дали.

Точно сон приснился! Моя ненасытность человеком, его холодком насыщается до сыти, сразу: не нужен совсем!

Грусть? И этого нет, может быть. Трезвость? Насмешливость? *Была бы*, если бы не наступило сразу ощущение – греха.

В страстной душевной близости Бог – близок. Может быть, даже прощает до некоторой степени ее греховность – греховность отвлечения от Него к – *одному* человеку. А когда наступает день – прошлый грех *налицо*, и тогда сразу одиночество, и – «Господи, прости...»

Если он *мог* – в делах, среди людей – не затосковать обо мне *целый день, позабыть священность* душевной близости, значит, всё его стремление к моей душе было – воображение, развлечение. И я, естественно, успокаиваюсь, как вскипевшее, снятое с огня молоко, и нечего мне кипеть – дальше.

Знай я, что он *м н о ж к о* скучал по мне – кипящее молоко капало бы ему навстречу – честное служение сердцу.

Но раз *день* прожит безбедно с другими, неделя, так и жизнь проживет с ними – и ответственность с меня снимается.

И служенье возвращается Туда, откуда оно снялось (от Бога к Человеку) – назад: от человека – к Богу...

Эпилог

Вот и кончилось наше Путешествие, казавшееся таким бесконечным! Круг завершился. Из им любимой сказки моих 27-и (как ему теперь), сказки «Черепашка», где кольцо Соломоново с «И это пройдет» упало со старого сустава отшельницы, некогда принцессы: «и никаких слов там больше не значилось. Молча канув золотом на песок пустыни, змея глотала свой золотой хвост...»

В сказке слова растопились в райском счастье. У нас – потому что кончилась казавшаяся бесконечной беседа, иссякли земные слова!

И – как только кончилось Путешествие и сомкнулось кольцо, так от него, как второй сомкнувшийся круг восьмерки началась *История* одного путешествия, – и в трехдневный срок полета поезда по России, Уралу и казахским степям оно, часы и часы, отдыхая лишь сном, перо по бумаге – сомкнулось. (Остался не уместившийся в три дня труда Карантин, блуждание по феодосийским старым улочкам (может быть, это последняя символика, что оно – не уместилось? (Как не уместилась моя душа – в нем...))

Путешествие и его зеркальная тень. Нет, это, конечно, – тусклое зеркало. Как ни тщила я воссоздать то, для чего в радости сперва, затем в горести полугодового путешествия всё не было времени – его первая музыкальная часть была несравненно светлей, радужней, чем – написанное. Перо по бумаге бежало, где-то внутри глубоко окунутое в горечь, оно лишь старалось писать о светлом. Свет хоть и фатаморганным был, куда сильнее – страниц. Был? Казался? Может быть, Мариной ответить – в семьдесят семь ее семнадцатилетними строчками:

Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользят,
Берешь рукой – она слезинкой тает,
И вернуть воздушность ей нельзя.

.....
Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быть –

Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!..

Человеку дороже его привычное одиночество, должно быть – чем самое нежное, всесторонне заботливое желание другого этому одиночеству помочь (NB!), если для этого надо и «спасаемому» что-то – отдать...

Человек держится за *свое*. Есть грубая, но выдавшая виды поговорка, поговорка: «По-свиному, но по-моему!...» Именно так осторожно рассуждает не вступивший еще на путь отречения от чего-то своего – в высшее, в которое поверил. За доблесть выдает он горькую только подчас свободу «эх, эх, без креста...»

В надписи мне Валерика значилось: «От пса, подобранного в Коктебеле»... Еще читая и уже смеясь, стремясь задарить собой эти слова, я понимала, что в нем это мелькнувшее «смирение паче гордости...» Игра слов!

Со всей цветаевской щедростью я уже вписывала эпитеты псу: «драгоценному...» но его *чутье*... «и любимому во веки веков...» Это писал человек в семьдесят семь, поверивший чуду! Что *может* молодое существо мужчина *п о т р я с т и с ь* встречей со *старой* женщиной, со старухой, в ней почуяв опору, правду в ее речах, беззаветность в желанье помочь. (Да и не был Валерик мужчиной мне, а вроде как полуангел, на мои слова о встрече с женщиной, будущей, моливший не говорить этого – оно ему *не* нужно), ему хорошо именно так, со мной, в нежной человеческой Дружбе, открывшей ему новый мир, показавшей всю ничтожность прежде с ним бывшего. Надо ли упрекать себя, что я в тот Бред – поверила? Это же был Бред – с *большой* буквы, и Жизнь полна чудес...

Упрекать ли себя за женскую свою привязчивость, за привычную радующуюся щедрость, за веру, что это ангельское и пребудет, утвердит его в труде, в борьбе с собой, со своей привычкой не обращать вниманья на то, как страдает о нем его родная мать... Через *меня* (ей, по годам, матери) я надеялась, что он изменится к ней! И как было не верить во все это, видя над собой с нежной улыбкой наклонившееся лицо чистого ангела с до того, может быть, даже не встреченной гармонией черт?

Любованье этим лицом было отдельным счастьем моего зрения, отрывающимся *восторгом* (не боюсь слов) в душе.

И не разрушение этой нежности внесло хинную горечь в наше общенье, не с него началось. А – медленно, верней, хоть рывками, но долго – раскрывались глаза в неблагодарность этого человека, – а это слово *так*, корнями, похоже на неблаго-родство... Прозренье в Лукавство, уклонявшееся от данных обещаний, от борьбы за доблесть. Моя трагедия в этой Истории – *не* женская, а – человеческая. С женской было круто покончено обетом, в жизни любовь отдавшим, в двадцать восемь лет. Женщина умела терпеть за почти пятьдесят лет, научилась! *Человеческое* не смогло продолжать терпеть слабость. *Ухо* услышало фальшь...

Честность до последней черты: какая-то боль *живет* под глубоким «спудом» в сердце. От нее может быть – не спасусь. Но стремление к принятому в сердце Облику, Образу – таяло закономерно от каждого удара по сердцу, удару удивления, разочарования – и, может быть, это Стремление кончилось у нас одновременно – мы отступили оба от рубежа Понимания и Восхищения: как только понял он, что надо *собой* платить за дружбу, *слушать* Правду – а она зазвучала тверже и требовательнее – так он начал осознать эту правду – неправдой, усумнился в понимании человека, ставшего зорче к нему... И щедрость цветаевская, щедрость до беспамятства, до самопожертвования естественного и привычного (первый круг) уступала все больше место Зоркости (второй круг) – беспощадной.

И все еще билась я – за Иллюзию! *Как* хотелось претворить ее в жизнь! Как билась! Но Высокая Трезвость уже говорила цветаевским (маминым!) голосом: тут звучит – музыкально – готовность к отказу. И шепот: откажись...

Но – бесконечная жалость к уже родному, кому без меня будет *тяжче*! Та жалость мышкинская, о которой Рогожин: «Твоя жалость пуще моей любви!..» Уже не юношу ангелоподобного я отдавала, а – «дитя мое», своего *ребенка*! И *это* может понять только *мать*. (Мне его мать в последнем письме: «Но Вы уезжаете, без Вас Валерик будет еще хуже... Я же не осушу глаз до конца моих дней» (может быть, и я – тоже?). Но как мне от нее скрыть – происшедшее? То, что я еще должна

объяснить; уже в начале ноября, в поездке в Курск – в моих словах, что не надо терять Декорум, было взывание к Доблести. Значит, счастья общения уже *не было*. Прояснилась картина безответственности в его молодой душе.

Безответственных должников в *моей* молодой жизни – не было. Борис, Миронов... о Вале, Леониде, Маврикии Александровиче и говорить нечего. «Мориц» – дитя моей Зрелости – *был* безответственный должник, *так* не хотевший быть назван, боровшийся за *название* обратное. Валерик не боролся за себя в моих глазах – почти. Сразу обвинил в непонимании. Хотел моего отношения – даром, не утруждая себя...

Только *раз* он спутал эти свои карты *настоящим* раскаянием: когда кинулся с рыданием ко мне (в ответ на мою замерзшесть от его грубости, в ответ на мой холодный убитый тон), с хлынувшими слезами – о мое плечо. *Очистительные слезы!* Но – неповторенные. Вторично не сорвался из себя – в Правду. (Может быть, это еще – впереди?..)

Как я прижала его голову к себе, как его утешала...

И последняя тема: его немота в Таллине во время моей болезни.

За две недели два раза, кажется, спросил о моем самочувствии. Раз вмешался в неделанье мне R<ентге>на врачом. И один вечер (или два, из тринадцати) вдруг ожил ко мне: ночью я мыла голову, он постучал в ванную:

– Я Вас потерял, – интимно, встревоженно. – Я не могу спать, когда Вы не спите (это – не раз).

И утром вдруг с доброй нежной улыбкой перебрался с постели к моему дивану, головой ко мне:

– Как себя чувствуете?

В остальное время вообще почти не бывал дома, очень мало. Поев, одевался:

– Я пошел.

Ничего о своих днях не рассказывал мне – другу, больной. С которым так стремился в январе оказаться в этом волшебном городе – ни слова сожаленья о том, что моя болезнь мешает – этому. Болезнь ли? И было ли уже – чему мешать? Хорошо, что не лгал, да – но куда же делась ангельская деликатность, проникновенность начала нашей встречи? Нацело перенеслась

в другую душу, в Таллине встреченную? Но *если* так было – почему не нашлось слов мне сказать: «Я встретил – Друга. Вы в ней ошибаетесь, верьте мне». Хотя бы это! Я бы насторожилась вниманием, желаньем *поверить* в свою ошибку... Но – так: исчезать! От *меня* исчезать, так хотевшей его счастья, *если* оно настоящее! (Та женщина – виденье на балконе коктейбельского дома...)

Прерываю себя: *что* было бы, если б не встретила эта женщина на, может быть, почти десять, семь, восемь лет старше его, так невзлюбившая его в его первый приезд в Таллин? Если бы он не полюбил бы ее! Как пошла бы далее Дружба наша? Полюбил? У *нее* спросить надо... *Ей* мужества пожелать! Потому что, когда я, всё с той же цветаевской щедростью (да и не только цветаевская, она и ЖенеКунинская тоже, Того поколения, Того мира...), преодолев свое первое неблагоприятное о ней впечатление, мыслью, что *она* страдает сейчас, с ним расставшись, *если* любит его – я рванулась к нему – о ней осторожно и добро, как старшая, пробуя воплотить что-то вроде возможности *их* будущего – он остановил меня (как накануне мои отрицательные о ней слова) – «я не хочу больше слушать такого» – и вот я не знаю, от любви ли *он* остановил мое на другой день *доброе* отношение к ней – может быть, от прозренья его в свою неуверенность о себе, в себе, от – осторожности... остановил меня словами неясными, что всякое напоминание о реальности жизни... – Господи! может быть, и тут – безответственность?

И еще одно: это момент с тем, что ему часто хочется звать меня «бабушка Асенька» – оттого ли он был, что я за полгода явно состарилась, в последние месяцы три раза проболела – сердце, межреберная невралгия, нервный чес и в первый раз пневмония (первая болезнь сердца и невралгия начались в вечер его грубости со мной, и он, позднее, сказал о тяжести ответственности, на него легшей – мельком, едва-едва, и я разговор этот будто бы не заметила, сознательно), то есть оттого ли ему вдруг показалась я – «в бабушках», что я физически состарилась (в Таллине он меня медленно вел под руку в собор – после болезни, памятуя наш Крым!)? Или потому, что от меня освобождался, найдя опору о другое плечо?..

И я перешла в разряд «бабушки Вари», им очень любимой и мне (ибо та – родная) – почетный, но такой, где, признав себя внуком, можно, как все внуки – отбежать, отойти – и уж во всяком случае не слушать того, что ему говорят вслед?.. От его, почти вдохновенного у Карантинной феодосийской башни мне: «Я *совсем* не чувствую Вашей старости!» – слов, которыми он зажег над нашими путешествиями фонарь Волшебства, – до тех слов о «бабушке Асеньке» – пять с половиной месяцев...

Вот и кончилось Путешествие наше, вот Вы и потушили над нами фонарь Волшебства! В свете которого поверилось мне в Ваше возрождение к творчеству и труду... к преодолению нервной болезни...

Все это – на восьми страницах наугад, в темноте, ночью записанных, переписанных и доделанных – днем. Сегодня день развода Валерика в Воронеже. За одиннадцать дней с моего отъезда Валерик не прислал мне ни одного письма. Я ему – письмо и открытку. (Ее он, может быть, не получал, уехав в Воронеж.) На письмо он ответил короткой телеграммой, кончив ее: «Целую Исянц».

У меня несколько его писем и телеграмм, и все они подписаны – Валерий.

1971–1972 гг.
Крым–Москва

*зимний
старческий
коктебель*

История пяти дней

*(дневниковые записи
10–15 ноября 1988 года)*

– В Коктебель? В вашем возрасте? В эту осеннюю пору? С телевидением? – сказал мне мой 76-летний сын. – Вы им скажите: «Меня сын не пускает». Только если они вам достанут двухместное купе и с вами согласится поехать наш друг, врач, – чтобы вы могли дорогою отдыхать, а не в четырехместном купе, вот так!

Фильм о Марине Цветаевой – сестре моей – после командировки съемочной группы в Париж, по ее следам, в Чехословакию, – шел к концу. Нам дали купе, и мы поехали – с телевидением, в осеннюю пору (я на 95-м). У нас оказалось столько еды, у Спутника и у меня, – снабдили нас на дорогу, – что не знали, за что приняться. Удивляло еще то, что, выехав с севера – осенью, мы, близясь к югу, въезжали в густой снег! Ехали, ехали. И – стали где-то возле Мелитополя.

...Авария! Поезда с севера доезжают, останавливаются. Поезда с юга – совсем не идут. Спутник мой шутит:

– Вот и пригодятся наши припасы! Ведь ресторан перестал действовать, электричества нет.

Еда. Беседа. Неизвестность. А ночью так ласково – сверху наклоняется надо мной – добрая голова. Добрые руки стараются помочь, дружески и врачебно облегчить непонятный недуг, постоянную головную боль.

И вдруг тихо приходит поезд в движение. Едем! Лишь бы авария – без человеческих жертв! И Бог милостив: медленно проезжаем мы причину беды – товарняк сошел с рельсов. Цистерны, с чем, неизвестно, – опрокинуты по насыпи, одна – в искусственном Каховском море. Дым, вывороченная земля, рабочее... О жертвах аварии – не слышать!

И вот уже пирамидальные тополя, с детства любимые, и Сиваш, где в молодости моей столько пролито русскими

русской крови после революции, в междоусобной войне. И уж близится Феодосия, любимый город моей и Марининой юности. Как радостно мне к ней подъезжать не одной!

Но и Феодосия становится – сном. Автобусом приближаемся к Коктебелю. Поворот дороги – и сразу, точно так, как ждала и как уже писала – о 1911-м, тогда впервые, – так *сегодня*, быть может, в *последний* раз – три горы на закатном небе, три горы, ожидаемые и обещанные. Правая, продолжением холмов, из них готическими остриями восставшая, – странно имя ее – Сюрью-кая; перешеек и – срединная, горбом, полукругом поднявшаяся, зеленая Святая гора, в себе татарского праведника сокрывшая. Перешеек, и, всех сложнее, лесом и скалами восстав и в море рушащаяся, профилем Максовым, абрисом рта, бороды – в море легшая, Карадаг-гора, гора Карадаг. Кротко закат принял их Троицу скупым золотым, и тогда я голосом Макса, медленно:

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...

И пошли они, горы, поворотом автобуса распадаться, раступаясь оптическими законами, временем, преходящим пространством, впадающим, протянувшимся...

Вот уже нет гор, одно море, и нет ему ни конца, ни начала, синеве, и закату, и рокоту. Мы уже сошли, Спутник, он – такой большой, и я – маленькая (в мои 94 уютно ложатся дважды его 47). Вправо от нас жерло двери, где скрылись сопровождающие оформлять наш приезд. А мы – мы, мы – по земле Коктебеля – в легкий сумрак потемневшей дороги сада, в ритм шагов, – чей голос первым начал, чей подхватил?

...Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины...

Я, голосом Мандельштама, – так навеки запомнилось, – и Спутник впадает в мой

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.

В унисон, как когда-то с Мариной, увлеченно (по-журавлиньи – выгиб, перешеек наших со Спутником голосов, совпадение):

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На головах царей божественная пена, –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И уже дружно, впев друг в друга, как сам Осип Мандельштам – убежденно:

И море, и Гомер – все движется любовью.

С крутым выгибом его голоса, волшебнo воплотившегося тут сейчас, где я в 1915-м его слышала:

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

А вокруг нас уже – ночь.

Мы уснули в двух, почти смежных комнатах Дома творчества.

Как прежде, в юности, все передавалось – в Память, так теперь все передается – в Забвение.

Стирается с доски грифельной дня – утро, и стираются меловые узоры вечера, но вот выжило: идем вдоль моря, по чужому Крыму – снегу, идем прогулкой по берегу – выбирая ногой, где ступить, – а над нами, там, откуда сошли к водному рокоту, сверху – лает собака. Но у нас для нее, неожиданной, неведомой, есть от завтрака куски бутерброда, зовем ее ласковыми голосами, и она умолкает, сбегает вниз – черная, поджарая, стоячие уши ее вздрагивают согласно, алый язык длинно ловит ломоть сыра, а серое море вторит беседе и удивлению пластам пышного снега на туге и кипарисах, отсутствию горизонта, туману и морской мгле. Неприюту и Неизвестности справа и слева, пропавшему профилю Макса. И все

заменившему, жадному и веселому, собачьему языку, черной голове остроухой, ничего не знающей о Максе и Марине, но больше, чем мы – море, чем нас – море, сейчас нас, обоих, любящей за сыр. Не зная любимых собак прежних лет – Макса, Марины, моих...

В Коктебеле – зима! Вместо гравия и земли – белый бархат, хрупко тающий в непонятность! Шубка синеглазой Оксаны, поспешившей к нам, услышав про приезд телевидения, – инсценировка к «Снегурочке». И белая маленькая собака, с ней пришедшая, кажется от белизны снега – желтоватой...

Радость встречи! Я три года не приезжала! А Спутник тут – впервые. И то, что они оба – врачи, делает встречу по-особенному ценной и нужной – ведь больных везде хоть отбавляй...

Прыжки Оксаниной собаки – тоже радость встречи – она сытая и печенье ест из воспитанности, чтобы нас не обидеть! А та, что вторая, вчера вилась вокруг нас, – ест подряд все с собакиной благодарностью, она еще меньше Оксаниной и еще белей – почти один цвет со снегом!

А на море сегодня – волны! Одна серее другой – куда делись зеленые волны! – это пенный свинец, он грохочет – и как его не боится самая маленькая; когда Спутник сбрасывает ей с тарелки еду, она царственно не замечает морской грохот, подхватывая на лету – куски...

Почему-то опять – вечер... И тот, вчерашний, поэт – голубые глаза и бакенбарды под старину (а почему у него – лунные волосы, он – седой?) – написал стихи, в них строки про мой разговор с Максом Волошиным:

«Скажи, скажи, Анастасия,
Ну, как – еще стоит Россия?..»

Он обещал дать знать Ире Махониной и Мусе Изергиной, что я – здесь...

Когда-то я с Максом ходила в бурю на феодосийский мол, возле Генуэзских башен... И волны хлестали нас по ногам, и мы смеялись. Это было больше чем полвека назад – полвека и еще четверть века!.. Мои старческие простуды – я со Спутником

встретилась в больнице, заболев пневмонией, скоро 12 лет назад, – эти простуды меня давно отбрасывают от смеха, если промочу ноги, и мы остаемся в комнате Дома творчества с милой и давно мне дорогой Оксаной, а Спутник идет на коктебельский мол, который зовется пирс, – другие времена и имена иные! Задевая снежный покров пирса, море бушует, бросает волны, сизые, пенные, и мне кажется, он смеется их обоюдной отваге! Всего окатило, но я, ему дважды мать, буду беспокоиться о его здоровье, хотя он и врач – и какой! (Такой дома в медицине, как эти волны – в море)...

...Зовут в мастерскую Макса, а я – в минувших днях лета 1911 года в Коктебеле... Получая письма Бориса о скором свидании и ему отвечая, с замершим сердцем ждала его приезд. Счастье Марины и Сережи меня к небесам поднимало, мне шел 17-й год. Борис, весь в фантазиях, как-то обмолвился о возрасте своем – 27... Но и это, как оказалось потом, преувеличенное число ничего в нем не открывало – так он дивен, неведом был, ни на кого не похож. Менее всего – на Сережу. Теплая мечтательность Сережи, его вдали потерянный взгляд, их полная слиянность с Мариной, от меня ее отнявшая, нацело, была – я это чувствовала всем существом – совсем иным краем, чем тот, в который я входила с Борисом, ничего мне о себе не рассказывавшим, но по-иному уводившим меня от Марины. Тем жарче я стремилась навстречу Борису. То, что он едет ко мне, было уже нечто, – а ведь мог не приехать – это бы не удивило меня... но его приезд теперь был мечтою об окончании моего одиночества рядом с ними двумя.

С телеграммой в руке я ехала в Феодосию, потерявшись в синеве Борисовых глаз, в ореоле пышных волос, золотых, как у Листа, обрезанных над плечами, – сходство было, впрочем, и с волосами Пра¹, тоже круто обрезанными у основания шеи, – но их темно-серебряный цвет разнился старостью от неведомого Борисова возраста. Что ему не 27, а куда меньше, было ясно в минуты его раскаленного, неудержимого смеха.

¹ Пра – Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта (от «Прама-терь»). (Примечание редакции.)

Феодосия. Вокзал, четверть часа до прихода поезда. Их не переживешь вторично, со всем опытом моих 94 лет – я не берусь описать их.

Но в тот миг, когда из вагона легко соскочил и пошел мне навстречу тот, кто должен был оказаться Борисом, неузнаваемый Борис, в темных очках, с коротко остриженными волосами, – что сделалось со мной? Негодование, обида, смятение – и уже шло хладное объяснение: жара! И все-таки это был он, он шел рядом; голос был *его*. Мы идем вместе, в падающем южной мгlistой крутизной вечере, и вот линейка везет нас в Коктебель...

Какая темная ночь! Когда она сделалась? Только что был закат – когда подходил поезд... Это – стрекот цикад? (Цикады – это кузнечики?)

А сияние над той пустотой, где должно обозначиться море, – откуда оно, ведь луны нет? На темном небе еще более темные абрисы трех коктебельских гор – радостно, что их дарю ему я, – рассказываю о них Борису – он столичный житель, не видел ни моря, ни гор, – а летом – свою степь только – в имение... Ему, наверно, волшебнo звучат имена: Сюрью-кая, Святая и Карадаг. Господи! Какое счастье дарить ему это... Уже подъезжаем. И сейчас рука в руке – к морю, *я подарю ему море!* Он не видел его никогда...

Линейка остановилась перед домом Макса Волошина. Пальцы путаются в деньгах, в ритуале расплаты. В то время как почти неслышный звук прыжка, легкого, нарушает стрекот цикад...

Я стояла одна на дороге, возле скамейки, на которую водружал возница – Борисов еле зримый чемодан.

Почти как удар грома – мое одиночество, и горький мой путь вслед исчезнувшему Борису – к морю, уже им овладевшему, не подаренному ему. Возвышаясь силуэтом над рокотом моря, стоял мой Борис, скрестив на груди руки, и – голосом мрака, гордости, торжества – отрешенно и все-таки упоенно шли над морем слова Полежаева:

Я видел море, я измерил
Очами жадными его

И пред лицом его поверил
Я мощи духа своего...

Отстранив *меня* – нацело... Мой *первый* любовный опыт!

...Но день идет, и мы позваны к Максиму, в мастерскую, в его круглооконную башню, и я в парадном темно-зеленом костюме сижу в кресле, как моему возрасту подобает, и, смеясь, внутренне, этому, отвечаю телевидчику Диме – он режиссер фильма – на вопросы о почти легендарной уже старине тут, в этой вот мастерской... Плохо, по-моему, говорю, не в ударе, не может быть что-то, но это мой долг Марине – и стараюсь, вспоминаю и повторяю, говорю стихи.

Годы со счета долой! Тут это было, перед этими окнами, у лесенки антресоли, вдоль книжных полок, но только не я, а мы, вдвоем, в унисон, в два неотличимых голоса – Господи! из каких невозвратных далей эти почти веселые, юные голоса?

Мы быстры и наготове,
Мы остры,
В каждом взгляде, жесте, слове,
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска
Два клинка.
Прочь, гumno и бремя хлеба,
И волны –
Мы натянутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы из Вильяма Шекспира
Два стиха...

Марина – выше, плотней, Ася – меньше, у обеих кудри до плеч, русые. Никогда не в одинаковых платьях, всегда в разных, и хоть похожи, но разные, и никаких нежностей телячьих,

как в ходу у сестер, – спартанство. Взгляд, неуловимый кивок, улыбка, каждая утверждаясь в другой...

Да, но в мастерской этой читали стихи не мы одни – читал Осип, – и, выгнув голос лебединым движением Мандельштама, – его, тогда говорили, 14-ти лет стихи:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать,
– Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

Божье имя, как большая птица –
Вылетело из моей груди, –
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади!

А от окон – подсказ:

...Бессонница. Гомер. Тугие паруса...

Нет, я этого говорить не буду – *Маринино!* (Я ведь для того – такую старухой здесь...)

И льются в воздух мастерской строки 1914 года, столько раз прозвучавшие двойным голосом; итог стольких бессонных ночей – юности...

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничим,
В медленных жилах еще занывают стрелы –
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг, и друг.
Целая опера – в каждом случайном звуке¹,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

¹ Цитирую первый вариант, потом она кое-что меняла. – *Примеч. авт.*

Нежно светлеют веки, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, – и от темной ночи
Только одно темнеет у нас – глаза.

Когда-то в моей книге «Дым, дым и дым» я писала: «Марина смерть будет самым сильным, глубоким, жгучим – слова нет – горем моей жизни...» и «Мой голос... жутко покажется мне – половиной расколотого инструмента», – как я могла предвидеть?..

И для чего я говорю эти стихи Марины сегодня? Этим случайным людям... Но ведь они любят Марину... Да, стихи я могу, но счастье тут Марины с Сережей – оно только во мне.

И тут – Спутник мой (большой, как некогда Макс!), это я ему говорю муку Марины, мою, на него вею ветерком юности... И уже просьба мне – встать и пройти вдоль мастерской, будет снимок, нужный для фильма, и я иду, и лащусь о Макс-овы стены, и говорю, что мне радостно видеть, как все тут осталось, как было, кроме – голос мой холодеет, – кроме вынесенного стола, им самим сделанного, он должен стоять здесь... Его вынесли для удобства экскурсантов. Это – грех, пусть потеснятся.

...Опять вечер! Как скоро! Веселая трагическая Оксана, астматик, могущая жить только здесь (а мать ее – в Минске), ведет нас к меня навестившей днем Ире Махониной – поэтессе, художнице, – и Спутник ведь тоже художник, передавший дочери дар – сдала в Художественное училище! – ему будет радость, все стены ее увешаны этюдами и портретами. Но не только собаки льнут к Спутнику моему, а и кошки, а кошек у Иры – две, мать и сын, и уже из-под пальто (у Иры свежо), у груди его ластится пестрая кошка, рыже-бело-черная, не поймешь, в сумасшедших разводах, всеми росчерками своей шерсти, своей красоты сразу признавшая гостя, пока я глажу ее рыжего сына, темно- и светло-рыжего, дар рисунка от матери своей повторившего тигрово-леопардовыми разводами.

А гость бессовестно изменяет кошке, он поглощен творчеством Иры, загляделся девушкой-эльфом, над водою летящей,

в сочетании с тяжестью гор, создающих достоверность образа, – и все это в легчайшей пастели...

Но время не ждет, и мы уже вновь в зимней морской ночи, полуутопая обувью в таянии снега, подходим к жилищу Оксаны... Уют, женственность. И гитара в руках, и мелодический голос ее ведет за собой струны гитары, она положила на музыку стихи Макса, Марины; заслушался гость.

(Опять по ночным записям! Неужели – не может быть! Чтобы в том же блокнотике, в полутьме – на кусках – не прочтется? Мелко, теряю зрение... То, что так зажглось под пером, рвалось к бумаге, но еще был законный час сна, я себя уговаривала, записав, лечь, – и опять, как тот раз, зря? Не прочту? Нет! В путь по записям, осенив себя крестным знамением, – ведь не в грех иду, а может быть, сумею рассказать, как идти по *берегу* греха Искусства, не окунуться!..)

...Но надо сказать об Ире, о ней самой. По-моему, она ростом со Спутника? (Другого измерения, чем я. Ее голова – так высоко!) Крупная, большеглазая, сама на кошку похожая. Увлекалась в юности, как я. А последнего мужа, обратив в веру, отпустила в монастырь – разве не удивительно? Что-то очень родное – мне в Ире!

А Спутник не только художник, он – писатель. Мы (лет 5–7 назад?), поэтесса и переводчица Женя Кунина, сестричка моя, и я: «Такой врач, да еще художник, – пишет?» Мы ждали его – с трепетом: *как* объяснить (он *так* умен?), что пишет он – ну... *ниже* себя врача, что ли? Был вечер. Мы слушали, занемев... *Этот человек пишет – прекрасно!* Мы еще потому не верили, что сказал, что прочтет *нам* – о *сельской* жизни! Городской житель. Но он просто сказал: «Я по распределению был послан – в деревню. Я три года там жил».

Как мы его поздравляли! Но – работа – дежурства ночные, *такая* профессия – вырывать у смерти больных! – встречи редкие, и прошло – 4? 5? лет, пока я услышала – его отроческие дни. Как тонул. Как за отвагу боролся, понимая, что в *ней* – жизнь...

Превосходно написано! И затем, еще раз – фантастика? мистика? Касание к необычному!

И эта любовь животных к нему...

Раз он *так* понимает мое и так *свое* пишет – мы что, парой впряжены в колесницу? И тут, в Коктебеле, набираем с ним – «материал»? А в этой поездке я под его рукой, как под шатром. (Как трудно понять все: я ему – мать, а он мне – врач, отец, что ли? Это как-то ни на что не похоже...)

...И эта, уже 14 месяцев, моя (невралгия на почве остеохондроза шейных позвонков) постоянная головная боль, которой и он тоже не может помочь? Как же это иначе понять, чем Богом посланная болезнь, и ей только одно лечение – терпение?..

Но как *нежно* карает Бог, милостиво испытывает: боль, но при ней я могу писать, от нее отвлекаюсь – дружбой, встречей с друзьями, радостью о собаке... Правда, я отмечаю в себе некую приглушенность чувств – ведь *волнения* от встречи с бухтою Коктебеля, с морем, где была и счастлива, и несчастлива на протяжении долгих лет, – волнения во мне – нет? Или только человек может меня взволновать, а природа – уже нет? Или эта немота – не от болезни, а только от возраста? А тот поэт с бакенбардами – неужели *забыл* сказать обо мне Мусе Изергиной? Не идет ведь... А мне – к ней с постоянной заботой о смене обуви по такой дороге... И вдруг не застану, а может быть, она – в доме, а Джим – пес ее, когда-то щенком у меня на коленях – не узнает у калитки меня, бросится? Вот и вспомнишь тут телефоны московские, которые там *выключаешь!* Как бы включить от Муси ко мне – теперь... Но пока еще есть время – ее ждать!

И как *всё* – *нельзя*, чего ни захочешь – телевидение, «фильм», – а ведь никто из начальства к нам не пришел. В доме-музее Макса про безобразие со столом Макса сказать некому и придется действительно в крымский центр, в газету писать! И кому, как не мне, – нас, друзей Макса, почти уже не осталось! И на вышку нельзя, откуда в 1914 году на затмение солнца смотрели за десяток дней, помнится, до начала войны, – «запечатана» вышка; и в летний кабинет Максина – нельзя, где он прятал в войну гражданскую «и белого офицера, и красного командира», как сказано в его «Доме Поэта», – Макс любил повторять строки поэта французского: «Je suis cet harpiste qui passe au milieu des armées» («Я тот

арфист, который проходит между армиями»). А как точно пишется слово «арфист», я забыла, не помню... Рука, наверное, *сама* помнит – любопытно проверить... (Годы уже не читаю ни по-французски, ни по-английски, ни по-немецки, а как я любила – какой, не решить, больше, – эти три языка.) Летний кабинет, наш, где я при Марии Степановне отважилась переспать в 6°, – а у Таиах спал Алеша Шадрин, «мое последнее земное очарование», в 78 лет... Он спешил мне – букет роз в день рождения, шел долго пешком, автобуса не было, он был на 16 лет моложе меня... седой красавец! (Умер от заболевания крови. Мне написал из обеих последних больниц.)

«Мое последнее земное очарование» – так Марина написала Евгению Ланну, а было ей 28 лет... Полвека позже повторено мной – об Алеше.

Запечатан кабинет летний! Куда, загромоздив, унесли стол Максов. Всё запечатано! Всё – нельзя! А при Максе всё было можно, в молодости...

И опять ночь, 3-я, и море бушует – как тогда бушевало. Юность. И как я была счастлива в тот вечер, когда вошел Алеша в столовую Марии Степановны Волошиной с донесенным мне букетом темно-алых роз! (Неужели еще счастливее – Марина с Сережей – тогда?)

А Муся все не идет... Как хорошо я помню ее 10 и 12 лет назад, в годы расцвета ее пения, которое мы слушали с Алешей Шадриним. Но надо рассказать, кто был тот, кого я звала «Алеша». Переводчик. И два слова о его биографии: молодость, красота, успех у женщин. И доносом одной из них – срок, лагерь. Много лет. Выйдя, жил с матерью; не женился. Поступил сразу на два факультета – романский, германский; получив четыре языка, к ним добавив им родственные, переводил со всех европейских языков, первоклассный переводчик. Когда я впервые его увидела, ему было за 60 лет, – красавец, седой, ультравоспитанный, по стереотипу церемонной вежливости; собеседник тончайший. Нас познакомил его учитель – профессор Мануйлов, в Коктебеле. Настолько он был не похож на всех окружающих – не очароваться было нельзя. Так ныне все в нашей стране очарованы Д.С. Лихачевым.

В переводах встречавшиеся стихи Шадрин переводил безупречно; как *поэт* – так перевода, нельзя не писать стихов, – на эти мои слова он только улыбался. Проводил меня на сельское кладбище, в волошинскую ограду, где и мать его, и мать матери, и друзья, умершие в Коктебеле, и Алик Курдюмов, 2 1/2-летний, умерший от той же дизентерии, как мой сын Алеша, за 3 дня до него. Его отец, художник Курдюмов, после смерти сына был отвезен женой в психиатрическую больницу, где и умер; в Третьяковке – его картина исторического сюжета. Смерть наших мальчиков была в 1917 году. Уже без нас Макс и его вторая жена Мария Степановна посадили между их могил тамариск, он разросся над ними крышей.

В 1963 году, впервые после лагеря и ссылки приехав, я, с помощью Муси Изергиной, заказала Алику и Алеше крестик, под тамариском. В 1966 году мы разделили могилки, поставили два креста. Туда, к ним, меня проводил Алексей Матвеевич, что закрепило дружбу. Одноименность с Алешей еще более сблизила; я стала звать его – Алешей.

Еще сблизила нас, как и моя, его любовь к пению Муси. Всё, что еще цвело романтического в нас, – под ее пение вспыхивало, как в молодости.

И всего больше сблизил нас Дом Поэта, где мы в те годы останавливались у вдовы Макса, Марии Степановны. И могилка Макса, наверху одного из холмов левого края бухты (так Макс обнял свой Коктебель краями, берегами бухты – справа своим, в горе, профилем, слева – могилой). У ее левого угла, переднего, рос кустик маслины – символ мира. Ныне разросшийся в большое шумное дерево, в ветре клонящееся над могилой. Большое единственное дерево на всех пустых холмах, указующее издалека путь к нему. Мы не раз с Шадриным ходили на его могилу. В последний раз, если память не изменяет, лет 9–10 назад, в мои 84–85 лет, его 68–69. Туда от Коктебеля мы шли 1 1/2 часа (крутой подъем на последний холм), а назад вниз, полубегом – 1 час. Так мы тогда были еще «молоды»!

В Москве Алеша не раз еще посетил меня в моей новой, однокомнатной квартире на Спасской, где я живу с 1979 года – 9 лет.

(Все это я вспомнила под стук колес вагона Джанкой – Москва.)

Была ночь. Видимо, запоздав на транспорт, Алеша принужден был лечь у меня на раскладушке, позади секретера. Среди ночи я проснулась и увидела свет в левом углу, очень *низко*, должно быть, не спалось Алеше, и он, неразрывный с книгами, стал читать. Но тут же эти мысли прервал – испуг: ведь квартира моя – на охране, как многие близ 3-х вокзалов Комсомольской площади, а начальник охраны, когда провели провода, сказал мне, чтобы никаких проводов *понизу* квартиры не проводили (освещение – все наверху, иначе спутают и нарушат охрану). А свет от Алеши шел *снизу*. Что он зажег? Как? Подойти? Я прокралась. Книга выпала из его рук, он – мирно спал. Было сильное искушение – посмотреть, какую он читал книгу. Но я боялась его разбудить. И вдруг всё затуманилось, свет погас – и в комнате, и во мне – погасло – как это могло быть? Ведь охрана поставлена всего 3 года, а Алеши нет уже лет – много...

(Я проснулась от стука поезда.)

Так это был сон! Явь же была та, что в Москве у меня он не оставался на ночь – ни разу... А *один* раз – когда в Голицыне он меня навещал в Доме творчества, заговорились, и он опоздал на последний ночной поезд, он вернулся, и я его уложила на 2-х креслах и одеялах, и он, вытянув длинное тело, полулежа, так же мирно проспал, как он мне сейчас приснился, – так тесно слиты сон – с явью...

И не у меня ли, лет 50 назад, в стихах сказано:

...О горькой жизни рок! Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы, –
Как часто Сон и Явь, в часы затмения Феба,
Меняют ощупью свои венцы...

Всё это я помнила и в ту холодную ночь в летнем Максимом кабинете этажом выше, чем ложе под Таиах. А в ночь после вечера моего дня рождения, вечера роз и пения Муси, когда что-то вспоминал под романсы ее – Алеша, я, хлебнув мои очарования им, попросила у Бога Помощи, и помог Бог, внял молитве – настала ничем не омраченная дружба до самой его смерти...

Дом Поэта! Неописуемый, незабвенный Макс, поколения приездов к нему неисчислимого множества друзей со всей

великой России, в его гостеприимный, поэтический, бедный дом, Дом Поэта, и его кроткая смерть, ранняя, в 56 лет, от болезни сердца и воспаления легких; и, как и он, неопиcуемая вдова, Маруся Волошина, Мария Степановна, хранительница заветов Дома Макса, на полвека его пережившая, Дома, где эти 3 дня было *всё* запечатано – нам с телевидением и Спутником моим открыта одна мастерская.

Все возвращаюсь к тому дню моего рождения, когда Шадрин ушел за розами.

Я ждала его. *Знала*, что он ушел за цветами. (Галантность?.. Я не скрывала никогда – возраст. *Он* знал, сколько мне исполнится лет!) В этот вечер обещала петь Муся. Она знала, что ее пение – есть радость моих приездов сюда. Она помнила, как, среди ее старинных романсов, услышав анненскую «Звезду», я вспомнила ту, другую, и, напевая по памяти, ввергая ее, певицу, во власть Иннокентия Анненского, легкими искусными перстами подбирая аккомпанемент, – запела. С тех пор эта «Звезда» звалась – моею. Прослушав то искрометное, то – словно смычком по виолончели – мастерское Мусино пение, я говорила, став за ее спиной или взглядом с ней обменявшись:

– Ну, а теперь – мою...

Вот «Звезда» – Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Теперь, в 94, желая проникнуть в суть волшебства этих строк, которые я – да еще в волшебстве пения – прежде глотала целиком, так глотают устриц (я их никогда не глотала), – спрашиваю себя (Анненского): каков смысл последних двух строк?..

Последняя мне – туманно, но лирично звучит как утверждение, что Она *сама* свет. Да, но – этому противоречит строка предыдущая. И может быть, надо просто вспомнить «Алису из Страны Чудес» Льюиса Кэрролла, в некоем затрудненье изрекшую:

«– Я бы дала 5 центов (может быть, 25?) тому, кто бы мне объяснил».

А! Там тоже шла речь о стихах, кем-то немислимым сочиненных, в которых *явно* смысла – не было, нарочито...

Но я бы хотела по-старчески сесть в кресло и хоть раз еще услышать – в пении Муси Изергиной – эту самую «Звезду» Анненского...

В тот вечер просила Мусю еще немного подождать Алешу – он *так* ценит ее пение – как начать без него?

В уголку сидя, я глядела на прелестную, вечно юную Мусю, слушая блеск *ее с кем-то беседы*, и думала об одном: *как* войдет с розами – он пошел за своими любимыми, первосортными, далеко – может быть, искал? – как он войдет в комнату, где столько людей, *как* подойдет ко мне? С розами – мимо скольких дам, к – старухе? И когда он вошел – со стремительностью молодого и лавируя меж гостей – *прямо* ко мне, – где взять слова? У *меня* их – нет! И где взять слова о пении Муси в тот вечер? Когда, сидя рядом, мы вдвоем слушали песни – чью-то любовь – в такой передаче в грации голоса, ни с чем не сравнимого, память о ней – чью? *Мое* расставание с последней любовью? Память о ком-то – Алешину? О, в таком пении ревности – нет! Вечер мой, розы – мои, темно-алые – и *как* он их подал *мне!* (И сила – без музыки *воспоминания* об этом – сейчас! в 94 года...)

...Мой *последний* любовный опыт!

Какая это была ночь! Еще звучали в душе обе «Звезды» – та, «избитая» (душой прошлого века), и поздняя, строгая, изысканная, как портрет моего «последнего земного очарования», носящего имя моего маленького умершего сына – такое совпадение, не Богом ли посланное? Как это число «16», дважды повторенное: разница лет между им, седым красавцем, и мной, сохранившей только *напоминание* обо мне в зрелости; и второе «16» лет – промежуток между моей небесной любовью к нему и случайной поездкой теперь в Коктебель, радостно принятой моим

сопровождающим, вдвое меня младшим, под его дружеской и врачебной рукой. Его же радость была в том, чтобы впервые в таких неожиданных обстоятельствах увидеть прославленный Коктебель! Он давно знал стихи Макса – и теперь увидит его Дом! Его море!

В эту ночь холод в летнем кабинете Макса был отменный, я водрузила на себя всё возможное и невозможное, согревала же меня, добавочно, память о Мусином пении. В тот вечер, как всегда, когда я приезжала, Муся пришла петь – для *меня*, особенно вторую «Звезду», за три с половиной десятилетия мною в тюрьме слышанную, Иннокентия Анненского, в которой – полыхала душа стареющего Алеши, *так* слушавшего в тот вечер пение Муси, так, должно быть, свою жизнь вспоминавшего...

Не в тот ли вечер, не под эту ли «Звезду» я так, в последний раз, погрузилась в мое увлечение Алешей, что из него *вынырнула* – в Искусство, в собственной душе – *освобождение*. Что уже совсем чистым сердцем бросилась сушить его очень большие ботинки, которые он промочил (меньшими и не могли быть по его стройному, высокому росту...), и теперь, их удобно и безопасно устроив на нужном расстоянии от Максиного калорифера, перекрестив Алешу, уже лежащего, благодарного, на одном из диванов под Таиах, – ушла к Максу наверх, в ледник только чуть-чуть холоднее, чем под Таиах, *убедив* Алешу грудой одеял и пальто уносимых, из которых он взял себе только одно, – а печурка уже погасла, не награв – мастерскую...

И вот – эта ночь! В Максином кабинете пламенность моей молитвы о Помощи!

Все человеческие чувства (и страсть, которою любовь выражается, на нее непохожая) имеют *дно*, будучи – *сами* – бездонны. И все повисает в воздухе, безвоздушном!

Помню, английский поэт Fitzgerald перевел стихи Омара Хайяма, перекликающиеся с Мариной, с моей зрелостью, годы назад упоенной Омаром Хайямом... Кто теперь мне на потребу процитирует позабытые, любимые его строки?

Наша жизнь *от* земли отлетает, *на* землю падает!..

Неутомимость любви – здесь...

Выше, выше! Выше неуголенности – неутомимости!..
Ибо выше всего –
Образ и Подобие Божие, данное нам.
Неутоленная любовь – выше утоленной?
Отчего же так мил человек, так драгоценен,
что в мгновенном *затмении* кажется драгоценней всего...

Господи! Ты, который *все* можешь, Чье Сердце, Его Ритм, Его Пульс (это я где-то прочла) бьется Чудесами (побеждая законы Природы), Ты, Который из грешника можешь сделать Праведника, Биением Твоего Сердца – неизбежными, неисчислимыми *чудесами*, самую суть всего составляющими... Сделай со мной маленькое, простое чудо – чтобы не искушалась я искушением, ничего *не* хотела бы для *себя*, чтобы я *легко* делала то, что я *трудно* делаю. *Чтобы я боролась* себя! Я ведь знаю – не это ли мне в юности моей толковал Волошин, – что мы *получаем*, только когда *отдаем*, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая – в ответ!

Научи меня *побеждать* себя...

Разве не ясно, что все человеческие страсти и любовь, все человеческие возможности дадут *один* итог – пресыщение... Почему же мы так слабы, что хочется себе – хоть немножко... Ох, какая долгая ночь... Как холодно...

(Ничего не разберу в записях!) Но еще не предала в забвенье – как в день отъезда, когда я хотела просить телевидчиков довести меня к Мусе – потому что она не шла, а поэт тот, может быть, и не сообщил ей, что я тут, – вдруг весть: мы не в Феодосии грузимся в поезд с аппаратурой, а должны *сейчас*, чтобы не опоздать к поезду, лететь на машинах – в Джанкой, *такие* билеты достали... Прощайте, моя Мусенька! Летим в Джанкой.

О радость! По пути на поезд машина остановилась у домика коменданта кладбища Полины Леонидовны Грицкевич, недавно мне приславшей цветную фотографию Алешиной младенческой могилки – в цветах, она смотрит за нею, показывает ее спрашивающим, где тут сын Цветаевой, и говорит, что Марины Цветаевой тут нет – она далеко, в Елабуге. Старушка, которой я шлю нужную ей гомеопатию, вышла ко мне – и мы обнялись. И машина помчалась...

По приезде в Феодосию 3 дня назад меня повели наискось от вокзала, к родной «Астории», где в 1920-м, в первые дни здесь красных, давали даровые обеды – пулярды! – за работу в библиотеке Наробраза (пулярды скоро сменили – макаронами...) Мы со Спутником успели только перейти путь, как подошел на Москву поезд. И вот мы едем, и нестерпимая жара вагона, просто нечем дышать!.. А скамеечки, на которых, нижних, мы лежим, так узки, как ни в одном поезде до сих пор! Юра стелет матрацы, и они с полок *спускаются*. Ночью я во сне просыпаюсь, повернувшись, лечу с моего места – и от чистого страха вот *сейчас* сломать шейку бедра, стать инвалидом – полупадая, повертываюсь в воздухе и кидаюсь к стенке, – спасена! И тогда я сбрасываю от жары одеяло, свертываю по ширине, толсто – и кладу на пол – чтобы, если еще раз полечу, не об пол, а об одеяло! И рикошетом – страх: что будет, когда утром, с чаем, войдет проводница, видя одеяло на полу?.. Но сон морит – я сплю...

Продолжаются мои ночные записи – Бог в помощь! Что добавить к этим страницам? О Москве, что продолжится?

Мои одинокие московские утра с ожиданием, что кто-то зайдет и дам мешочек измельченного хлеба – сойти во двор покормить голубей, знающих ритуал, как знают шаги хозяев своих – собаки: моя песенка им в окно с ритмическим стуком, и появление внизу человека с мешочком – и тогда с шумом вниз, с моего балкона, не ошибутся ни в чем никогда.

И мои одинокие вечера, когда я, проводив друзей, – одна, наконец, кончаю день, улыбаюсь рассказу друга моего Доброславы о ей подаренной кошечке с моим именем «Ася» – оттого и взяла, – как она с каждым днем все больше делается человеком и неизвестно, что из этого получится...

И надо же, чтобы за год до того за ней увязалась Ася (собаку ей удалось переустроить в хороший дом – а Ася, кошка, прочно у них поселилась) и часики ручные Доброславины стала уносить – в мордочке, а не об пол, *поняв*, что они – живые, и осторожно каждый вечер их уносит во рту себе на потребу в уголок передней. (*Мне урок: «Себе на потребу»!* Но она – кошка, а я – человек, мне – нельзя.)

А поезд все мчится и мчится по бессонным полям.

Спутник, после бессонных ночей, годы работая в реанимации, – сон победил жару, – слава богу, уснул...

«Бедный, бедный Алеша!» – думаю я, листая тетрадку стихов, посмертную, присланных мне наследником Шадрина. Листаю и мысленно отмечаю то, что может пойти в печать.

Жизнь, должно быть, опять обманет,
Как бывало уж много раз,
Только – как ты ей благодарен
За сегодняшний светлый час!

Читаю и узнаю его скрытую силу:

Когда приходят под вечер метанья,
И одиночество, и дрожь –
Скажи себе: и это испытанье,
И через это ты пройдешь!

Где та, о которой он пишет? Жива ли? Знает ли, что его уже нет?

Мне б тебя лелеять и радовать,
Мне беречь бы в тебе мечту,
Но любовь моя – с перепадами
И – с провалами в пустоту.

То – упорные, неумные
К свету рвутся ее ростки,
То – ложатся полосы темные
Отчужденности и тоски...

Читаю и думаю, с нежностью, о бедной его подруге. Дальше – следы эпохи прожитой:

Был неба свод и сер и слеп,
А на земле нам хлеб был небом.
Мы разговаривали с хлебом.
Был год: мы целовали хлеб.

Да, и голод был ему ведом, и тюрьма, и лагерь. Вспоминаю мельком сказанные слова, что женщиной был написан донос...

Беспомощностью собственной унижен,
К себе войдешь и изумишься ты.
Ты видишь: кошка нюхает цветы
И в них травинку тоненькую ищет.

Что, если б так вот сам ты был мудрей,
Что, если б так на миг себе поверил,
Иль просто поучился у зверей,
Откинувших свое высокомерье?

И еще, еще...

Что страхи, что – томленье, что – потери,
Разрозненности хаос и надрыв:
Бессонница? – приоткрывает двери
Она теперь в незримые миры.

И, может быть, былых раздумий тропы
При ней лишь воедино сведены?..
Бессонница моя! Мой поздний опыт
Полета. Постиженья. Глубины.

Об этом ли думал он, слушая пенье Муси Изергиной, взволнованно:

Пусть вел он к буре и к беде
Обоих нас от глади торной,
Я всё отдам за этот день,
За взлет шагов и воздух горный,

За узнанную синеву
Средь низких туч нагроможденья,
За – это солнце сквозь листву:
Несбыточности пробужденье.

И вот – о тюрьме:

Везде вас хочу узнавать я,
Везде вы мерещитесь мне –
Чугунные прутья кроватей,
Чугунные прутья в окне!

Как нить, эта память продлится,
Останутся всюду со мной
Небритые впалые лица
С недавней на них сединой.

И взгляд их потухший и кроткий,
Оглянешься по сторонам –
Всё те же шаги у решетки,
Всё те же мешки по стенам.

.....
Чужие тяжелые доли,
Пожатая тяжелые рук,
И мысли о людях, о воле,
О жизни, замкнувшейся в круг...

Даже после лет заключения – вновь – бунт:

Я и так уйду успокоенный
Накануне Большой Беды.
Не хочу я жизни устроенной,
Тихой пристани у воды.

А потом – тревоги задымленной,
И над гробом – толков кривых,
Я уйти бы хотел без имени,
Без могилы и без молвы.

«Бедный, бедный Алеша! – думаю я. – Мой Спутник проснется – прочту ему то, что отметила. Он так все понимает!»

Перевернула страницу своего блокнотика – и ни слова не понять! А столько в перо вошло! Ушло! И полет бурным утром строк – вверх, вниз – видно, как полыхало сердце... изнемог ум... полыхало! И в памяти вдруг – значение древнееврейского языка: «гур» – это «лев», а *окончание* фамилии Спутника – «финкель» – немецкое *funkeln* – иначе не сумела бы перевести, как «полыхание»...

А дальше – 2 строчки блокнотика так любовно слились, что никто не прочтет никому...

Зачем я так спешила? Не упустить мысль, образ, вдохновение – каракули, нечитаемо *навсегда*, всё ушло, часть ночи ушла, откололась и отскочила – в забвение...

Ведь с юности поняла: всё здесь – безнадежно, подвержено заживо – тлению, потому что мы, бессмертные, умираем каждый день, каждый час. И с юности не пойму, отчего же так *мил* человек, тленный, неверный, подверженный всем влияниям, как огонь на ветру? Что же светит в нем, как маяк в ночи, как лучина – в темной избушке? Образ и Подobie Божие? Марины Цветаевой:

...Тем ты и люб, что – небесен...

Снова, как в молодости, *мы с ней в унисон*... И опять эта коварная стихотворная лирика, в которой мы сожгли нашу молодость, вот она в старости, здесь...

Руки люблю
Целовать, и люблю
Имена раздавать,
И еще – раскрывать
Двери!
– Настежь – в темную ночь!

Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.

Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну – клонит.
Сплю почти.
Где-то в ночи
Человек тонет.

Фантастика прошлого, 1911 года: Марина уже вжилась в Коктебель, меня ждали позже. Неузнаваемость впервые

веселой, счастливой Марины – в шароварах, чувяках, загорелой, как мальчишка, – невероятный Макс и мать его, всё больше похожая на карточного короля (безбородого!), Игорь Северянин, манерно нюхающий розы на кусте, испанка Кончитта, в Макса влюбленная («Как не понимает она, что Макс – общий, ничей?» – думала я), ее веер и смех, катящийся золотыми шарами, поэтесса Мария Папер, читающая ужасные стихи, несмотря на явность того, что ее не слушают. Один день до ночи, среди этого бреда, наутро превратившийся в явь: Северянин и испанка – брат с сестрой, Сережа и Лиля, Папер – еще сестра, Вера, однодневный спектакль, на мою изумленность. И мой в 15 лет ответный спектакль – не изумиться, как бы заспать «вчера» и *принять* «сегодня» – мои первые два дня в Коктебеле...

И фантазмагория настоящего: седобакенбардовый бард меня, в 94, зазававший в «Травную чайную», где, как будто в зеркальных стенах, за каждым столиком – самовар электрический, и им управляет дама почтенных лет. Ни в одном чайнике – чаю, в каждом – эликсир трав, от которых мне – тошно... Но, нацело отвратясь от современного бреда, я тщусь поднять с колен – красавицу юную, должно быть, что-то мое прочетшую, что ей по душе, и в ответ на ее поцелуй на моей старой руке – я, целующая ее ручку. Она, как и я, «отсутствует», а работает она на заводе, на каком-то кране... фантастика! И Спутник, всё в себя, писателя, вбирающий, меня от всего защищающий. И настоящая темная ночь, звезды над снегом. И память о Марине с Сережей, их – вечном, надо всем – *счастье*...

...Темная ночь, и по ней несется наш поезд. Спутник покрыт простыней, и голова к окну – не простудится? (Отчего, пока мы тут, а не в вечности, все время о чем-то страдаешь? *Без* перерыва...)

Пациентка старается дотянуть простыню выше – к шее врача, и врач просыпается.

Рассказ о темно-красном одеяле, на полу. И тогда пассажир, Спутник, врач, с врачебным спокойствием подымает свое сброшенное одеяло, темно-красное, и, не складывая, целой горой, бросает *свое* – на мое. На полу, рвущемся на рессорах, по рельсам, целая Сюрьюкая! И ничего не боится Спутник, даже самой проводницы. Да я под его рукой – как в шатре!

Мы проехали Харьков... Это уже не Крым, Россия... Надо уснуть – и заспать всё: молодость, старость... И вдруг – опять Алеша Шадрин! Господи, помоги! Лет 8 спустя, когда ему уже было 70, он, приехав из Петербурга в Москву, быв у меня, рассказал, в смущении, что им увлеклась девушка 16-ти лет (роковое число 16!). Он не знает, что делать... Оттолкнуть, как бы мягко это ни сделал... Он, может быть, не договаривал, что сам *он*, в 70... что *ему* в сердце вошла девушка эта... *Как* я просила его – устоять! Не искушаться, ибо тут нет будущего, а ради одного настоящего... Я уговорила его – *пожалеть* ее! В будущем? Он слушал, смятенно...

Я боролась за его достоинство, *за его душу*... Мне радостно вспомнить, что он «внял голосу разума»... что он – устоял... Быть может, и Юре, *в его будущем*, предстоит такое... Господи, помоги ему в тот день!

...Уже вспоминаю. В завтрак, обед, ужин три дня Спутник кратко ест невкусную еду, не снисходя говорить о ней.

И вот – печатями на последней странице моего дневничка путевого:

«Зимний старческий Коктебель»...

Первой печатью – письмо в Москве Муси Изергиной, 75-летний голос которой до сих пор в душе моей звучит – над роялем Маруси Волошиной, где (по легенде ли, в яви ли?) играли и Скрябин, и Рихтер, – и с которой я дружу более 20 лет (ей 80), – почти отчаяние о *невстрече*... *Не* знала, что я в Коктебеле, потому что никто не сказал!.. *Так* хотела со мной свидеться, ведь так давно не видались – трудно поверить, что такое – случилось, что я *была* в Коктебеле целых 3 дня...

И еще печать: весть – после нас снег стоял, настало тепло, поэт снова купался!..

(Значит, для *нас* он лег и лежал – как иначе?)

Третья – голос в телефон телевидчика, режиссера фильма о Марине, сестре моей: «Здравствуйте, я просмотрел материал – очень складно получится...»

А в Москве – еще не зима, и зимний Коктебель кажется – сном, и с этим ничего не поделаешь...

Вспоминаю: как хотелось мне, чтобы и Спутник *был* со мной на могилке моего сына Алеши, – но я умолчала об этом, и он, поручив меня Оксане, хотел остаться, не умножать простуды. Поэт пытался меня удержать от похода на кладбище по такому снеготаянию: «Там очень грязно...» Я ответила: «Кладбище – на горе, с него все стечет...» Обращаюсь с молитвой о помощи мне *идти* – и тотчас к дверям подъезжает телевизионная машина, вернувшаяся из Феодосии. И мы едем, и Спутник – со мной.

...Москва! Коктебель – приснился? Но ко мне пришел Спутник – и я ему прочту всё, что тут мной написано. Он – писатель, на его суд. Сказала – я? Не сказала (лучше поздно, чем никогда), что я уже 12 лет называю его сенбернаром, и хоть много собачьей – выставочной – красоты сошло с него в ночи реанимации – но это тот же заслуженный Сен-Бернар, в Сен-Готардских горах, спасающий заблудившихся путников – силой лап, роющих снег альпийский, – и в руки принимающего, разбуженного сующий бочоночек с ромом...

Сегодня он мне принес фантастической красоты ветвь винограда – «Крымского»!

И мой самый любимый, детским пряником пахнущий бородинский хлеб!

И я прочту ему, выслушаю его суждение – и вот я дописываю то, что не удалось сразу, – мое горе невстречи с Мусей, долг подчиниться спешке машин, чтобы не опоздать к поезду, – не в родную Феодосию – тогда бы я к Мусе *успела!* – а в Джанкой (мы за три минуты домчались до прихода московского, и два сердца – Мусино и мое – бились негодованием и горечью)...

Сердца Алешиного *здесь – уже нет!*

Но память о прожитом, пережитом, перестраданном – вечна, и да будет *ей* *тухом* – земля...

И – которой печатью? – на этих страницах – слова по нашему возвращению в Москву моего сына: «Я следил за погодой Крыма – снег! Вы осенью с севера на юг – ехали. Обошлось? Но *без* Гурфинкеля было бы *безумием* ехать!»

«Да, ты был прав, Юра – прекрасный Спутник!» – ответила я.

А Вечность – бескрайним своим разливом затопляет мои берега...



Моя Эстония

*Посвящается светлой памяти
Александра Левина*

Пролог

Моя встреча с Эстонией произошла в годы моей ссылки («навечно») в Сибири в 1954 году. Через село Пихтовка (170 километров от Новосибирска) шел этап сосланных из Эстонии, так называемых «кулаков». Этап шел куда-то дальше наших мест. Мы видели их лица; они казались друг на друга похожими по общему типу их – честных, открытых, – трудяги все, как один, упорным трудом наработавшие себе корову, лошадь, овец и, может, вторую корову (молочное хозяйство так свойственно их народу), дом и двор, огород, сад (всё в идеальном порядке), – и за это их гнали теперь, за жизнь в достатке, – в Сибирь, назвав «кулаками». Но одного из этапа оставили в нашей Пихтовке, – тракториста, для работы в МТС (машинно-тракторная станция). Это совпало с днями, когда я переезжала в другую избу, из маленькой моей, в 3х3, перестроенную из конюшни. Услыхав, что я переезжаю, тракторист-эстонец пришел ко мне, звали его Лемперт Йохеллес. Это было за несколько лет до девальвации, и потому всё вместе: и постройка избышки, и забор вокруг картофельного огорода, и двойные рамы, и сени из горбыля – всё обошлось мне в 4,5 тысячи (после девальвации 450 рублей), но у эстонца было всего 1700 рублей. Он предложил их мне, – и я согласилась. Это были деньги «с неба»! – ведь на мою кроху-избушку, может быть, не нашлось бы другого покупателя. Да и с кем торговаться? – с тем, у кого больше нет денег? Но и эти 1700 были в будущем, в его рассчитанных возможностях.

– Я пристрою еще комнатку, – сказал Йохеллес, – и выпишу жену и дочку, Вайке, двух лет...

Помню одну из выплат: он встретил меня на улице, неся мне 300 рублей.

– Зайдемте сюда, на крылечко, к знакомым, – сказала я, – я напишу расписку.

– Расписку? – переспросил он. – Зачем? Я дал деньги, Вы – получили... – Меня умилило этим до недр.

Часть долга он приносил мукой овсяной, и моя невестка, приехавшая с детьми ко мне, потому что моего сына арестовали, пекла овсяные лепешки в той русской печи, которая оказалась сердцем купленной в самом селе большой избы (куда перешла к невестке с детьми).

А купила я ее – тоже чудом: подруга, профессор английского языка, Зоя Михайловна Цветкова, выиграла по займу деньги и написала мне: «Мои три дочери устроены, преподают английский, муж – на пенсии, я – работаю. И я разделила выигрыш на тех, кто попал в беду, на Вашу долю пришлось три тысячи».

Помню день, принесший радость и эстонцу, и мне: когда он притащил мне муки – не овсянки, а пшеничной, невестка испекла детям пирожки с картошкой. Но помню и день огорчения, тоже двойного: я, в суете переезда, забыла сказать Лемперту Йохеллесу, что перед окошком с торца избышки высажены черенки морозоустойчивых роз, присланных мне старшей сестрой Валерией Ивановной, из ее тарусского сада. Они перезимовали под самодельным шатром из соломы и ждали весны – расцвести... И, не зная, что это за ростки, невзрачные, он место, где было удобнее ему у входа в избышку сделать ворота, запахал и расчистил. Как мы оба огорчились! Эстонцы так любят цветы. Йохеллес сокрушался: «Моя жена так любит розы...» Как я себя упрекала!

Так я породнилась с Эстонией в далеком сибирском селе, за 13 лет до лета, когда я впервые приехала в Кясму, в 1967 году.

И вскоре, в Кясму, я подружилась с пожилой полуэстонкой, полушведкой Велли Сандбанк. Она знала немецкий, и на этом языке мы с нею говорили. Она всё еще была красива. Она жила в своем доме, ухаживала за разнообразными цветами и охотно беседовала со мной. Она рассказала мне историю своей семьи. Муж ее был капитан. Его портрет стоял на верху пианино, на котором, с ее позволения, проходила музыкальный урок моя

внучка Оля, одиннадцати лет. Я часто смотрела на портрет умершего капитана. Трудно вообразить лицо честнее, открытее. Светлые глаза отражали морскую даль, взгляд был благожелателен и приветлив. Его не тронула советская власть, когда водворилась в Эстонии. Но его сына, пасынка Велли, который возглавлял подводный флот Эстонии, арестовали и, как стало привычно в наши дни говорить, – дали 15 лет.

Отец не дождался возвращения сына, не было и вести от него. В тихий вечер, когда Велли писала письмо подруге, как всегда, прочитав главу Библии, он собирался отойти ко сну, ему, должно быть, стало нехорошо с сердцем: Велли услышала стеклянный звук пузырька лекарственного о стаканчик. Она бросилась к мужу, подала ему лекарство, села рядом с ним. Он лег, она прилегла рядом, головой о его подушку, и это был час его тихой смерти – вечер, не перешедший в ночь.

Вскоре по кончине его пришла первая весть: сын просил помощи, болея. Велли тотчас же послала телеграфом денег, потом посылку, и эта помощь длилась 3,5 года. Как ждала вестей от него Велли! Как радовалась! Оставалось всего 1,5 года дождаться! Увы, пришла скорбная весть: помощь ее не вернула пасынку силы, он умер на далекой чужбине.

Портрет его стоял на пианино рядом с портретом отца: так похожи они были – не столько чертами, сколько выражением лица: светлый взгляд, устремленный вдаль, доброта, честность, благожелательность, – не хотелось отвести глаз... Подруга моя, Евгения Кунина, тоже пристрастившаяся к Эстонии, тесно сдружилась с Велли и всегда приносила ей любимый эстонский хлеб – сепик.

Годы шли, Велли уже не могла ухаживать за цветами, болела. Она легла в самом уголку кладбища Кясму, в могилу своих родителей, и я подхожу к ним, и ставлю цветы в банку с водой, и молюсь за их упокой, и вижу ее снимок, синие улыбающиеся глаза.

Пред моим окном – 21-е лето – высоченное дерево, яблоня, вдвое выше тех, что я видела, с детства, в России. И когда, к осени, вызревают яблоки, я вижу их на такой высоте – сказочной... На ветках, куда не достичь ничем, – румянится райский

плод, много выше двухэтажного дома. Это – Эстония. Ниже – малинник: мелкокудрявые зеленые волны, игралище ветра.

Я приехала сюда – Молодой старухой, 72-х лет, с 10-летней внучкой Олей, и я посвятила Оле пачку моих эстонских рассказов. Но, выросши здесь, внучка Оля сюда больше не ездит, у нее уже мальчики – Сыновья, а я стала Старой старухой, мне идет 93-й, и пора написать, наконец, об Эстонии. Не об Эстонии вообще – о моей, личной Эстонии.

Я начинаю этот рассказ, эти воспоминания глубокой ночью, с 10 на 11 августа, за 16 дней до отъезда в Монастырь Пюхтица в Половину Четвертого Ночи. А когда так пишешь Названия, все с Заглавной, – всё становится Живым, как Действующее Лицо, – не так ли?

Очень тихо ночью в Эстонии, когда все спят, когда в Белую Ночь всплывает Луна, когда Ночь перестала быть Белой (в Августе тут рано темнеет, к Полуночи), и тогда настает Время Сказок, Время Воспоминаний, – но тогда, увы, настает Время Сна, потому Иначе вовсе не ляжешь, а все будешь Писать, а как же тогда встать? Тогда Вовсе не встанешь... Итак, мы продолжим – Завтра...

Когда я приехала в 1987 году в Кясму со спутницей много моложе меня, все цвело двойным цветом: Белый – цвет яблонь уже сыпался с веток, устилая тропинки сада (ковром) вдоль комнат хозяйки Марии и моего крыльца, а все улицы поселка были сплошь лиловые. Вы думаете, что они усажены кустами? Нет, это Деревья сирени – лиловые, Справа, Слева и на боковых улицах – Все Деревья Лиловые, вдвое выше домов, потому что это – Эстония... А какой дух стоит – разве Скажешь? Точно Вся Сирень, Всего Света – здесь... Идешь – и тебя качает: вместо воздуха – густой запах Сирени...

А почти у самой двери в дом, где я живу уже 21-й раз, в ряду кустов стоят два куста, густо усыпанных крошечными бутонами будущих маленьких роз без шипов. Их ветви густы, как у кустов шиповника. Это – белые розы: бутоны выдают свою тайну – тонкими ободками белого цвета вокруг завязи. Густота бутонов – невиданная. Но, вчера еще совсем одинаковые, а сегодня два-три, три-четыре вспыхнули, как белые мотыльки,

на ветки присевшие, белые крылышки, в отваге и спешке – раскрыться. Первые розы куста!

Между этих двух кустов – проход; но когда вечер – то ветви, перегруженные бутонами, почти сливаются, затрудняя человеку – путь. На обоих кустах эти мотыльковые, рвущиеся к расцвету, бутоны, и, может быть, кусты между собой спорят, у кого больше этих, начавших раскрываться, засветившихся... Люди идут мимо, не замечая, не чувствуя жара происходящего, им всё – некогда, у них всё – дела... Но если прислушаться к ветру, к шороху веток, приглядеться, идя утром, идя – вечером, то, несомненно, услышишь разницу – за часы, – ведь расцветание неостановимо, и те бутоны, что были утром лишь означены у зелени – белизною, вечером – полумотыльки!

Но «Вчера» – *нет*, тут дело идет только о «завтра», завтра полумотыльки будут уже – мотыльками, солнцем превращаемыми в невиданно маленькие розы, махровые, густо-густо оснащенные лепестками.

Первые розы куста! Те, что дрожали вчера от трепета расцветания, блаженствуют в покое расцвета, неслышимо на стебельке, простерши лепестки в поток солнца. Ярко-белые, как недавно – опавший яблоневый цвет. (Опавший? Но его уже нет, он погас, исчез, его размело, – разве он был? Есть только этот час блаженства...) Их число, вчера бывшее, три-четыре? Еще можно их сосчитать, а завтра – звезды так усыпают небо, как они усыпят – кусты!

Я прохожу между ними, так лежит мой путь, я нечаянно задеваю их великолепие, очень легко, сплошь розами осыпанное, – белый сияющий куст! Два куста, *два* великолепия – как были недавно деревья, сиренью цветущие, лилового цвета улицы. Где в России увидишь такое? Это – Эстония...

Дни – они быстро идут! Они заняты событиями, – как люди – делами. Они отвлекают нас от наслаждения цветами, а я, которая не отвлекаюсь, почти привыкла уже к кустам роз, стараюсь их описать, сравнивая с шиповником... Но шиповник одаряет редкими, крупными, алыми цветами, не махровыми, а такие два куста вижу впервые, хотя мне 90 и еще 3.

Но в Эстонии погода изменчива. Был ветер, был дождь, сильный дождь, и в нем закрутились кусты, намокшие... и начали *опадать* те самые первые розы! Как недолго они цвели!.. Как всё недолговечно на свете!.. Но бутонов великое множество, происходит великая смена, и те, что не падают, – те еще только готовятся расцвести, – изобилие их празднует свой час, ничего не зная об опадании, как не понимают своих родителей растущие им на смену.

Я все хожу перед кустами и между кустов, замечаю, как поредели розы, как усыпана легким белым ковром, веющим, земля... Земля – Царство метаморфоз! Уже исчезли с веток кустов маленькие махровые розы, вместо них крошечные красные созревающие тугие – как бы назвать? полушарики плода? – вместилище для семян?..

И их не видя, не чувствуя, им не родня, доцветают на кустах *последние* розы, две-три, три-четыре, с тем же правом на доцветание, праздничное, блаженное, как когда создавался мир.

Двадцать первый год я летом живу в эстонском поселке Кясму (Käsmu в эстонском написании) и сколько Бог даст – буду летом ездить сюда...

В Кясму – не строятся. Сколько есть домов – не прибавится. И те счастливы, кто *попал* в какую-то комнату – так и продолжают туда приезжать год за годом, до того получив в своем отделении милиции пропуск по вызову хозяйки с места на 3 месяца в пограничную зону, ибо напротив Кясму – Финляндия, если смотреть отсюда – *справа* по карте, справа от Таллина (Ревель звался когда-то...). А что от него влево – то не обладает пограничными зонами, потому что через море – наш Выборг.

Я живу в доме Марии Эйнхольм, бывшей капитанши. Муж ее, от советской власти ушедший со своим кораблем в Швецию, дважды присылал за ней шхуну или яхту – не помню, но она отказалась покинуть Эстонию, родину. Его фотографию я видела в альбоме капитанов, изданном там, далеко за рубежом... Но, оставшись одна и через годы встретив простого рыбака Волли, тихого, доброго, ее полюбившего, она согласилась стать его женой.

...Запомнив щегольскую наружность первого мужа Марии, я однажды спросила ее: кто же из этих, судьбою ей данных защитников ей был более по сердцу, Мария ответила несокрушимым коротким ответом: – Волли – лучше! И эти два слова на моем языке (из коих одно было – имя эстонское) прозвучали *таким* теплом! Этим теплом теперь звучат – скамеечка у его могилы, камень с его именем, цветы, побеждающие камень, и все это – позади могилы отца и матери, в ряду с могилами сестры и брата, отрока и отроковицы, в ряду тепла, здесь – отгоревшего, Там – ее ждущего...

Мария! 20 лет назад из рук парикмахера выходившая с каштановыми кудрями, теперь давно уже – с кудрями серебряными над прелестным, четким лицом... Мария – не простая женщина, она – дама. Она – воплощение изящества, женской грации, и об этом, кроме ее наружности и повадок, говорят ее шкафы с книгами. Хотя болезнь смолоду ее наградила – согнутой позой и затрудненным шагом, которым она обходит дорожки своих владений... и все же – грация побеждает... я наблюдаю ее, когда она поливает цветы или ставит на окошко соседу моему и мне тарелку с клубникой – собранную ею – сидя на стульчике – в неудобной позе.

И сменяются дни эстонского лета, полного метаморфоз, и ставит рука Марии нам на окна – малину, за которой мы видели ее ходящей больным шагом среди густых зарослей. И еще перевертываются листы календарные, и неожиданно входит Мария – и на тарелке несет – яблоки, еще зеленоватые, но уже побеждает в них желтизна, солнечная. И улыбается доброе красивое лицо Марии, торжественное по неизвестности – что она пытается сейчас сказать по-русски...

Хочется мне не забыть один удивительный случай. В доме, где я живу, в доме Марии Эйнхольм. Был вечер, но белый – начиналась белая ночь, – и совсем неожиданно грянула – гроза. Она подходила медленно, угрожая, грозя разразиться над самым домом Марии, – и грохнула громом и молнией так, что всю силу свою бросила на одну из оконных рам моей террасы, на которой я находилась. Удар грома, грохот и блеск – зигзаг молнии так же остр, как узор грохота в небе – и на моих глазах рушится, вылетает закрытая рама! Но и на моих глазах ее,

подскакив, ловит Волли – она вылетела ему прямо в руки – и он хозяйским, ловким движением вставляет ее на место! И остальные окна стеклянной террасы принимают шквалы ударов, отражают молнию, как в игре в мяч!

Это зрелище мне никогда не забыть – по громовой его складности, мгновенности и неожиданности, неповторимой в веках.

Уже после смерти Волли я постаралась рассказать Марии небывалость этого случая, но так как я не говорю по-эстонски, то передал ли переводчик ей весь блеск поведения Волли полную меру – я никогда не узнаю.

Отношение эстонцев к цветам – это страсть. Пока мы, русские, спим, встаем, хозяева уже давно поливают цветы. Великолепен контраст мелколиственной светлой зелени кустов белых роз с темно-зелеными широко-длинными листьями алых пионов.

Еще далеко до цветения: над круглотой и мощью кустов, на крепких стеблях – шарики с грецкий орех, еще неясного цвета; темные и неспешащие. Всё в будущем! Подросточный возраст пионов. Но дождь, но солнце, еще дождь – и обозначилась пунцовость шаров, еще туго закрытых, но выросших. И тогда я вижу, со ступенек крыльца – на одном стебле – нет, о, на трех – чудо расцветания пиона: широкая чашечка, насыщенная крутыми пунцовыми лепестками, чуть покачивается в ветерке, вознесшись над сестрами и соседями, одна из них живущая полным дыханьем! А на завтра весь куст просыпается в предчувствии расцвета, как рассвет – в предчувствии утра...

Я, конечно, живу, как и все, в делах, целый день, но где-то в глубине подсознания – помню, что кусты расцветают, что завтра – два-три, три-четыре шара расцветут, заблудившись среди уже раскрывшихся чаш пионов, темно-красных, пунцовых – на гордом тугом стебле...

День идет за днем, дождем и ветром, пионы влажные изнемогают от красоты. На ближнем одна большая чаша пиона вознеслась выше всех, замерла в блаженстве. И я, к ней нагнувшись, шепчу ей: «Не увядай! Ты одна! Останься!.. Не увянь! Ты слышишь?» И я чувствую, я слышу – ответ... Я слышу пунцовую тишину...

Проходит неделя. Ветры, дожди, время. Печаль метаморфозы – налицо: то, что было темно-красное, – отцветает в первую розовость, а те, что *были* розовые, почти белы, одни розовые ободки. И ветер сметает с кустов – пунцовые и бело-розовые лепестки, под кустами – густой коверик.

Когда я впервые приехала в Кясму с младшей внучкой Олей, все пять лет ее там день был полон: до обеда – английский язык, после обеденного двухчасового сна – занятия музыкой (десятилетняя внучка была отличного веселого нрава, не просила пощады, училась охотно), вечер – с друзьями.

1967-й, 68-й, 69-й, 70-й, 71-й, пять раз летние месяцы прошли в дружбе, радости, смехе, подарках. Так, за лето пройдя языковой учебник, она знала его не хуже зимней учительницы, «преподавая» его на переменах весело, гордо, – подругам, – но книг по-английски без меня не читала и, перестав со мною ездить в Эстонию, – должно быть, язык позабыла... И хоть упомянем о том, как в ее 12 лет ей делали в Раквере операцию аппендицита (а в Павлодар, где работал отец, и в Архангельск, куда поехала повидаться к родным мать, летели телеграммы. Оттуда – молитвы). Не забыть, как в Раквере, районном городе, куда привезли нас с ней, композитор Николай Петрович Раков с женой Лидией Антоновной в ответ на просьбу мою об автомобильной помощи в город, в больницу, тут же, не пообедав, подали к калитке сада машину и повезли нас за 50 км... Ночью, при свете двух керосиновых ламп, зажженных из-за аварии с электричеством, прошла операция, после которой в конце первого же дня Оле было сказано встать, но из-за головокружения – позволено лежать, а на второй день она сошла ко мне по тяжелой каменной лестнице, придерживая рукой правый бок. Операцию и больницу до сих пор моя внучка, ныне 30-летняя, вспоминает со светлым чувством (разрез был в 4 см, и ни боли, ни тяжести...) И ласковость к ней.

В Раквереском книжном магазине нам удалось найти двухтомник Андерсена и множество детских книг, как эстонских, так и русских.

На автостанции и рынке есть *аптека* и *оптика*. Прочтя название последней, одна первоклассница выразила

неодобрение: «В одном слове – и две ошибки!» (приняв *оптику* за *аптеку*).

Роза

*Посвящается моей внучке
Оле Трухачевой*

Она увядала, маленькая, палевая роза в высоком тонком стакане, и его тяжелая водяная глубь и серебринка по краю круга были прекраснее немощного цветка.

Пересекши Кясмуское кладбище, его принесла мне подруга, старая, как и я, и мне хотелось продлить его угасавшую, как и наша, жизнь.

Мне кто-то сказал давно, что, если в цветочную воду всыпать сахарного песка, – это поддержит силу цветения. И вслед, пузырьком со дна памяти, всплыл совет развести в воде полтаблетки аспирина. А может быть, – целую? Легкий прозрачный самум летит на дно, улащая стебель. В пальцах хрупко растирается порошок, утишающий жар человека. Он волшебным образом поможет цветку? Стакан стал мутным. Была ночь. Я пошла спать.

Утром, войдя на терраску, – я сделалась, как жена Лота, – соляной столб: над узким стаканом поднялось в воздух – чудо; оно парило, как птица в жаре, оно пылало новым родившимся цветком, слегка алое. Большие округлые твердые лепестки – их стало столько, что роза казалась махровой – вычурно, пышно, торжественно окружали они завязь цветка, из которой шла по зарозовевшим лепесткам – алость, тая в сверкании света и края.

Роза чуть покачивалась от великолепия на выросшем стебле. Я нагнулась над чудом – оно пахло, как роща роз!

Скорее! Олину тетрадь рисовальную, и хоть карандашом – зарисовку... самой большой розы, виданной за 74 года! Я бросилась в комнату – за Олей! Но она уже сама шла: прелестная, ласковая, двенадцатилетняя, еще розовая от сна.

– Ах!.. – она замерла на месте.

Когда я вернулась с тетрадкой, карандашом и резинкой, золотые глаза Олины были в слезах...

– Бабушка, я только пальцем притронулась – и вдруг все упало...

Они еще продолжали падать, опустошая рог изобилия: капали алыми каплями гигантские перезрелые лепестки. Только два еще держались на стебле с колючками и листьями.

Пустой завязи, только что источавшей амброзию, – казалось сто лет!

Оля плакала...

Как простить себе, что я ее упрекнула? Ведь я поступила с ее слезами несравненно хуже, чем она с лепестками розы.

Я шла через эстонское кладбище – тут они – как в саду, расчищены и пылают цветами, – шла мимо живых роз, – рассказать подруге о нашей и о моей вине перед Олей...

Кясму, лето 1969 г.

Все эти воспоминания о Кясму для меня «ежелетка» – с лет моей младшей внучки Оли от 10 до 14 – пронизывалась моими днями с нею, росшей со мною мирно, весело, в исключительном для ее возраста послушании. Она никогда со мною не спорила, это ей в ее веселых и дружных днях со мной – как-то не приходило в голову (в противоположность моей старшей внучке Рите, со мной всегда спорившей, 10 лет назад, своевольной и, несмотря на ее несомненную привязанность ко мне, часто со мной дерзкой. Но рядом с этим шло ее покаяние, сильное, от души, от самых глубин идущее, возвращавшее часть утраченного мира). Ничего этого с Олей не было. Она, должно быть, была дольше и прочнее – ребенком, чем Рита. И, раз войдя, с детства, в колею мира со мной, не колебалась в ней, от природы веселая и веселая органически, смехом заливавшая день, даже не задумывалась над тем, не много ли мы (английский и музыка) учимся, никогда не бунтовала, не противилась. С матерью часто капризная и непослушная, со мною настолько иначе себя вела, что Рита, нередко этим поражавшаяся, лет в девятнадцать ей, десятилетней, при мне говорила: «Как ты

можешь так слушаться бабушку? Я в твоём возрасте всегда *спорила* с бабушкой...» И Оля, как взрослая, как старшая сестра в этом пункте, уклонялась, не углубляя вопроса. Кто бы знал, какой станет потом мирная, веселая в благословенном Кясму младшая внучка, нацело ко мне другим боком обратившаяся, в лето ее 14-летия, последнее свое лето со мной...

Но до того – далеко, будущее нам не известно, заливая дни наши английской речью (мы *никогда* не говорили по-русски, даже не соскальзывали на родной язык, так родным нам стал английский. К удивлению окружающих, видящих этих двоих – и стар, и млад – иностранцами среди русских. С Ритой я начала английский с пяти лет в Сибири, с Олей с восьми лет – в Павлодаре и летами в восемь и девять лет в Паланге.

Но специфика нашей с Олей жизни была – музыка, начав с шести лет, поверив в ее слух, я уже через полгода убедилась, что слух развивается; детонирование, сползание в *до* с *си* или с *ре* кончилось, стала давать чистый звук, в 6 с половиной, начав уроки с бывшей певицей, жившей в нашем дворе в Павлодаре и дававшей ей уроки – со мной, она через два месяца усиленных и веселых занятий поразила старушек-немок в дружеском доме тем, как легко играла и по нотам, и наизусть крохи-пъески, как без труда запоминала знаки пауз, бемоли, диезы, бекары, подстрочные и надстрочные ноты... Старушки ахали над чашечками кофе, восхищались... И дело шло!

Так Оля училась с семи до десяти лет. Правда, *таких* успехов, как в первый год, уже не было; в мои отъезды в Москву на зиму она не так рьяно, как при мне, делала уроки, в девять лет она стала жаловаться, а я – думать о музыкальной школе. Но поступление туда удалось только в одиннадцать лет, и в то, первое наше с ней лето в Эстонии ее десяти лет встал вопрос о том, где мы будем играть на рояле и с кем (я только надзидала за уроками). С кем – сразу нашлось: две подруги, девушки-музыкантши московские вызвались вести ее летние занятия, плененные ее послушанием мне: Юля и Ирина. Они жили на берегу, у самого моря, в маленькой комнатке на 2-м этаже, дружно, вдвоем, как мы. Но – рояль?

И мы стали ездить на автобусе в соседний курортник – Вызу, где в Доме культуры были и рояль, и пианино. Где было

свободно – там и играли. Так прошло, может быть, лета два. А затем я узнала, что близко в большом саду в собственном доме живет старушка – полушведка, полуэстонка, проуа (фрау) Вэлли Сандбанк, о которой я уже писала, и у нее – пианино. Я бросилась к ней. Дородная, в прошлом – красавица, синеглазая, добрая, седая, в царстве цветов, как все эстонцы, живущая, она согласилась, и я еле упросила ее принять от меня за месяц (ежедневных полтора часа) – 15 р. Но так как дружба, сразу вспыхнувшая, росла, то эти пятнадцать оказались единственными. Царственно-добрая проуа Вэлли – больше не приняла от меня денег...

Но я забежала вперед. Должно быть, в одиннадцать Олиных лет (ее рождение было 1 июля, в День Боголюбской Божьей Матери – эту икону носили в Тарусе в нашем с Мариной детстве крестным ходом – и праздновали мы его все лета у нашей соседки, живущей через дорогу, родившейся с Олей в один день на полвека раньше, Молли Борисовны, приветливой, светской, умной петербурженки), когда не было киносеансов в Кясмуском клубе, удавалось играть – там. Клубом ведала Алиса Пикамяэ, хозяйка Юли – Ириночки, и она стала мне давать ключ от клуба. И вот однажды, когда мы, Оля и я, у самой двери, раскрытой в лес, где стояло клубное пианино, занимались разучиванием заданного нам Юлей – Ириночкой урока, из самой гущи леса, как в сказке, вдруг раздался женский голос:

– Не фа, а фа диез!

В голосе была власть и, как во сне, прелесть.

Оля, смутясь, взглядом спрашивала у меня, что это? Я еще ничего не успела понять, когда из лесу показалось очертание высокой женской фигуры в светлом, и смеющийся голос проговорил внятно, глядя на меня:

– Ваша девочка ошиблась. Пусть сыграет снова внимательно! Она взяла фа, а надо – фа диез...

В этот день зародилась одна из самых больших, несмотря на редкие встречи, дружб моей старческой жизни. Не гаснущая с годами, а растущая. Торжественная, как музыка, с которой она началась. Дружба с Ольгой Семеновной Гальпериной, оказавшейся пианисткой, концертмейстером, окончившей

консерваторию, жившей, как и мы с Олей, уже не первое лето, недалеко от нас. Кажется, в то же лето, когда Юля с Ириночкой уехали, а мы с Олей доживали лето в Кясму (до возвращения в Павлодар к началу школьного сезона – в 4-й Олин класс), Ольга Семеновна начала заниматься с Олей музыкой. И тогда я впервые почувствовала, *что такое* настоящий преподаватель музыки, как в руках ее Оля стала воском, гипнотически следуя ее указаниям, легко (и не могло быть иначе в руках Ольги Семеновны) перенимая *ее* пояснение вещи, ее интонацию. Я поняла, в какие властные, талантливые, волшебные, умелые руки попала, наконец, Оля... Но – увы – выросши, не в меня пошла: 9 лет музыкальных занятий, с похвалами, с достижениями, окончив музыкальную школу, музыку бросила, и пианино, искусно выбранное тремя музыкантами, пальцем не трогает... А дружба моя с Ольгой Семеновной цветет и цветет, ей уже 20 лет...

Эстонская овечья поляна

Внучке моей, Оле Трухачевой

В то утро мы вернулись – двенадцатилетняя внучка Оля и я – из Вызу, где она, упражнясь на рояле в клубе Дома культуры, одержала победу над ее очередным заданием – Вариациями Паганини в обработке Выгодского. Когда мы выходили оттуда, ко мне подошла знакомая – худенькая, оживленная француженка, вышедшая замуж за русского музыканта. «Кто так чудесно играл сейчас Паганини?» – спросила она. Мы просили. «Моя внучка!» – «Вот эта? Девочка? О-о!...» – посыпались похвалы. Старые сосны шумели над нами в несмолкаемом балтийском ветре. Они тоже радовались! Как не сообщить такое – той московской музыкантше, которая и задала Оле Вариации! Приехав к себе в Кясму, мы поспешили к ней.

Путь лежал через овечью поляну. Нет, это мы так ее называли, хотя овец было всегда две: мать и дочь, и они паслись на широкой приморской поляне возле залива, купающего в тихом зеркале свои древние валуны.

Но овцам не было видно ни валунов, ни залива, они жили среди травы и кустов по бокам поляны, и им этого хватало для их овечьего счастья. Мать-овца была больше и темнее овцы-дочери, в остальном они были так похожи, точно игрушки одного и того же мастера: курчавая шерсть, тонкие ножки с копытцами, жующие подвижные губы – и желтые, будто пустые, но совсем волшебные глаза.

Целые дни две овцы неразлучно бродили по солнцу и щипали, и щипали траву, и одинаковым движением подымали голову, когда кто-нибудь шел мимо. Так было уже – третий? год; младшая росла и делалась все более похожей на мать, и, видя их снова, как и в прошлом году, я забывала, который год вижу их – они были одно с поляной, я видела их столько раз, проходя к заливу, они были – живая часть пейзажа, знакомого, узнаваемого. Они радовались протянутому куску хлеба, – разнообразие в однообразной овечьей пище, вытягивали две одинаковые головы к руке, жадно и ловко хватали гибкой челюстью хлеб, мелко, аккуратно жевали.

Так было и в этот день: мы уже свиделись после зимней разлуки, *радуясь, что на свете – мир, солнце и тишина.*

Музыкантша Ириночка жила в доме у самого залива, в комнате второго этажа, окном в светлую, водную даль с валунами. Она тоже похвалила Олю и сказала, что завтра ее послушает – так ли уж права та француженка... Посидев у нее, мы пошли домой, мимо той высокой ивы, где скворешник.

– Бабушка, знаешь, их кошка играет с детьми до 10 часов вечера, а потом, когда дети ложатся, она лезет спать в скворечник. Скворцы уже улетели... А где овечий хлеб?..

Но, проходя, мы увидели, что поляна – пуста. «За кустами, наверное», – сказала я. Но, подходя к шоссе, куда, после поляны, шел наш обратный путь, мы услышали жалобный, настойчивый крик, овечий. И только мы на шоссе вышли, как увидели бегущую и мечущуюся по сторонам овцу. Она бежала навстречу и, увидев нас, заблела и по-человечески тревожно посмотрела на нас: «Где она? Где она? Где?» – говорил взгляд желтых глаз. Сейчас глаза ее не казались пустыми...

В беспомощной жалости Оля протянула овце оставшийся бутерброд с сыром, я – хлеб. Но овца, мать-овца, отвернулась

и побежала от нас к кому-то еще подошедшему и ему заблеяла свой вопрос...

Мы спешили – мы ведь всегда куда-то спешим, но весь вечер с нами был образ осиротевшей, презревшей лакомство, побжеавшей прочь от нас, не понявших ее вопроса, не ответивших на него...

А на другой день – летний эстонский день, праздничный, с красками, не бледнее крымских, и поляна снова полна мира и счастья, и нас ими дарят те же две овцы – мать и дочь, щиплют и щиплют травку, одним движением поднимают головы к кускам хлеба и едят жадно, и радостно, и благодарно, аккуратным движением мелких, будто бы заводных, немного игрушечных челюстей. И снова в их желтых глазах нет человеческого, одна сказочная и овечья, таинственная пустота – или полнота природы, не вопрошающая, а получившая ответ.

Птенец

Внучке моей, Оле Трухачевой

Птенец упал из гнезда под крышей, возле крыльца. Кто-то поднял его. Он лежал на сорванных травках, крошечный, еще живой, наверное, легкий, как кусок пепла с пожара. Подобие маленького крыла двигалось вместе с дыханием, и над полуоткрытым клювиком блестел круглый черный глаз. Но почему же он молчит – ни единого звука, из породы щебечущих, испускающих крики?

Внучка Оля и я остановились над ним.

– Лучше его не трогать, – сказал кто-то, – стемнеет, и родители прилетят за ним.

– Унесут?

– Ну конечно. Соединят крылья...

– Может, он хочет есть? Пить?

Оля уже несла на листке – воду и словленную для птенца муху. Но мы тщетно совали ему жизнь – он не тронул ее.

Глаз черно блестел. Ни движения, ни звука.

– Не трогайте его, – сказал, проходя, русский мальчик, – птицы не любят. Видите, летают возле гнезда.

– Ласточки?

Вздыхнув, мы ушли.

День прошел. Мы вернулись из хвойного леса, потом – с моря. Он все так же лежал и дышал, беззвучно. Мы ждали вечера, чтобы птицы его спасли.

Стемнело. Проходя с рыбной ловли, Женя, худенький подросток, сказал Оле:

– Нет, не возьмут его родители... Раз его подняли, трогали, – если человек трогал – уже не возьмут, я читал...

Оля грустила, чем было ее утешить? Что такой, мол, у птиц закон? – Разве это помирит с бессилием целого дома людей перед все еще живым птенцом? Я прощалась с ним на ночь. Оля спала. Может быть все-таки, вопреки зоологии, мать с отцом прилетят, когда я уйду? Ведь он дышит! И глаз так же черно блестит...

Когда, много позже солнца, я встала, он лежал на холодных ночных травках, увядших, торжественный в холодной неподвижности.

Перламутровая скорлупка опустилась на исчезнувший глаз.

День вставал солнечный, синий, крымский день над эстонским поселком, над огородом летели чайки, бил запах моря, ласточки влетали в гнездо и из него вылетали, высоко над крышей.

Я закопала птенца в коробке из-под лекарства, у крыльца, там, где он упал, чтобы не исполнился еще один закон зоологии, чтобы кошка не сожрала птенца.

Возле дома Марии Эйнхольм – поляна, на которую, слева от ее территории, выходит и кладбище с венчающей его – лютеранской церковью, а далее группа на низкорослых стволах пышных сосен, а в сторону леса, в самом правом углу поляны под соснами – часовня, – каменная, старинная, столь живописная, что ее абрис просится в пейзаж Италии. О ней сохранилась легенда: век назад в России в покушении на царя был замешан знатный житель Эстляндии. Покушение не удалось, покушавшихся поймали. Должно быть, во время ловли бежавших эстонец был убит. Его тело взяли похоронить на родине. Был вечер, и гроб до утра был поставлен в эту

часовню, чтобы на другой день его похоронить на Кясмуском кладбище. Но ночью грабители, польстившиеся на тело убитого богача, на его золотые перстни, полезли в неохраняемую часовню – и увидели, что вместо тела бревно, а вместо головы – муляж... под цветами. Кто-то проболтался, и весть пошла, но эстонец был уже далеко за границей, в Швеции или Финляндии – в безопасности.

Есть ли в этом правда – понятия не имею.

С 1972 года вместо Оли стала ездить со мной моя подруга, на четыре года моложе, поэтесса и переводчик Е.Ф. Кунина. Первое лето в моей комнате, а со следующего нашедши себе комнатку неподалеку, ездила со мной в Кязму 14 лет, пока не стали перестраивать дом: хозяйка-старушка после смерти мужа нашла себе опекуна, и комнатка ушла в прошлое... А я все живу и все езжу, и каждое лето кто-нибудь из друзей разного возраста ездит со мной. И я вспомнила вечера стихов Евгении Куниной в Доме культуры соседнего маленького курорта Вызу, их неизменный успех.

И так как ее стихи об Эстонии идут в лад с моим рассказом и являются к нему иллюстрацией, я привожу их здесь. Писались они в течение 14 лет.

Первые Кясмуские стихи

Где по-эстонски жалобятся чайки,
Друг друга кличут, ссорятся сердито,
Где море пахнет рыбой меж камней,
А камни – одинокие гиганты
И целые стада – словно коровы:
Купаться вышли – да и позабыли...
Да и лежат... а то стоят недвижно,
А море утешеньем небогато...
Пустынен берег –
И тоска пустынна.

Август, 1972

Прощание с Кясму

(после первого лета)

Три величавых сосны – хозяйки нашей поляны,
Три величавых, раскидистых, пышно одетых сосны.
Кладбище, церковь... Под мягкие гулы органа
Снятся усопшим высокие мирные сны.

Стала знакомой и памятной сердцу поляна.
Дверца резного металла, цветов и надгробий печаль...
Поздно полюбленный Кясму, поздних раскаяний рана –
Неизгладимого лета неизгладима печаль.

Кясму, август, 1972

У меня сохранилась пленка со снимками кладбища, церкви, органиста за органом. Горят свечи, солнечный луч пересекает скромную лютеранскую церковь...

Моя подруга, привыкшая к Черному морю, не сразу разобралась в прелести тихого залива в Кясму. Но вскоре она полюбила Эстонию и стала писать о ней.

Я учусь языку

Я учусь языку у щебечущих деток Эстонии –
Льноволосых, веселых и ловких, как тролли, ребят.
И у чаек учусь, – потому что я слышу по тону их:
В перекличке живой – по-эстонски они говорят.

Я брожу вдоль залива, его побережием узким,
Меж огромных камней, словно сказочных спящих зверей.
Я страну постигаю несходным мышлением русским,
Я постигну. Я – друг. Я вошла – и стою у дверей.

1973

Памяти Антона Таммсааре

Вот теперь понимаю. Теперь понимать начинаю
Молчаливую речь валунов – и Эстонии той,

Где земля на родном языке именована «Маа»,
В переводе на русский назвать бы ее «маятой».

Где упрямым, насадным трудом, из столетья в столетье,
Из болот и лесов добывался и хлеб, и уют.
Не с такой ли закалки бесстрашно эстонские дети
На прибрежных камнях, словно легкие белки, снуют.

В деревенских садах расцветают махровые маки,
Роз пунцовых и розово-алых сияет рассвет.
Для меня – это духа народного гордые знаки,
Это – сердца веселье, веселье любви и побед.

У залива

I

От светло-серого до голубого
Едва блеснет волны кипящий лед
И облака – строения любого –
Волшебный переменчивый полет.

Хрустальных дней хрустальная мгновенность,
Непрочная, как облик облаков –
Неповторимая, как драгоценность,
Похищенная счастьем у веков.

II

Я иду на свиданье к семейству серебряных ив.
Я сегодня увижу совсем еще сонный залив,
Солнце теплыми пальцами кудри его шевелит,
Утро свежей красою проснуться скорее велит.
Он еще не откинул прохладный рассветный туман,
Он еще голубеет виденьем полуденных стран.
Все дневные заботы в прозрачной тиши позабыв,
Я иду на свиданье к любимому племени ив.

III

Мелодика эстонской речи –
То щебет птиц, то плеск волны,
То быстрый бег ручьев и речек,
Спешащих в море с вышины.

На ласковом, на теплом камне
Сижу и слушаю, дивясь –
Как, непонятная, близка мне
Причудливая эта вязь.

Кясму, 1973

IV

Словно кто-то стряхнул одуванчики
Над заливом, иль роз лепестки –
Это белые чайки – обманщики –
Ширь усеяли, словно цветки.

А залив-то! Коричнево-бурый,
Весь от рыжего ветра косой,
Тучи лепят и лепят скульптуры,
Дождь и солнце летят полосой.

Это первая осени проба,
Это росчерк стального пера...
О, залив! Час прощания пробил:
Нам на зимнюю спячку пора.

Кясму, 1974

* * *

Ну вот, и осень повернула вспять
И значит, нам осталось добирать
Последние заливинки залива,
Последние сининки синевы,
Да воздух Кясму, свежий и счастливый,
Дыханье моря, сосен и травы.

Таллин впервые

Друзьям-художникам в Таллине

Таллин. Ливни. Город-сновиденье.
Встречи волшебство. Друзья друзей.
Студия. Портретов наважденье –
Ярких лиц и ярких плоскостей.

Таллин. Чужеземный и желанный.
Люди – каждый, как живой портрет.
И – художник, силы несказанной:
Мастер, маг, мыслитель и поэт.

14. III. 1974

Сосны Рейндорфа

Посвящается Адели Рейндорф

А сосны Рейндорфа шумят и шумят величаво,
Печально шумят, величальную песню поют.
Они понимают: бессмертна посмертная слава,
А нам остается утраты таинственный труд.

Тервист!

(Привет!)

Пионеров, наверно, автобус привез
В лагерь Кясму, – а может быть, и октябрят!
Невелички. Но бодро шагает отряд.
И у всех на меня недоверчивый взгляд.

«Эта тетка – чужая?» – безмолвный вопрос.
И враждебность. А тетка внезапным кивком
И улыбкою, словно взмахнула флажком:
– Тервист! – крикнула. – Тервист! – ребятам привет.
И сейчас же ей радостно, хором в ответ –
«Тервист, тервист!» – за рядом приветствует ряд,
И улыбки, и дружеский взгляд.

Кясму, 21. VII. 1976

Таинственные северные зори

Таинственные северные зори –
Столь долгие, столь полные прощанья!
Как медлит розоватое сиянье,
Как нехотя тускнеют облака.
И вдруг блеснет неожиданный луч над морем,
И даль залива озарится светом,
Как будто солнце ласковым приветом
Душе напомним: Милость велика.

В церкви Кясму

Я только имя Божье поняла
В иноязычном том богослуженьи –
Но задушевной силе кроткой речи,
Но песнопений простоте вяла.

Я мысленно стояла на коленях.
Я слушала – а музыка текла
К Тому, Кому понятны все наречья;
И слитна с ней мольба моя была.

Кясму, милый!

Вот я дошла, – и конец недалекой дороге.
Скоро дом наш, и морем запахло, и виден залив...
Кясму, милый мой Кясму! Давно ли я здесь, на пороге
новой дружбы стояла, впервые твой край полюбив.
Эта мирная зелень хозяйскою дышит заботой
обо всем: о дровах – и цветах, и о каждом кусте!
Через годы труда, через горькой судьбы повороты
светит белая ночь терпеливой эстонской мечте.
Статься может, последнее лето люблюсь тобою –
тем нежней и грустнее гляжу я на тихий закат,
на деревьев красу и на кладбище, мне дорогое,
где и милые сердцу в блаженном покое лежат.

1985

Ласкается пушистый
Доверчивый зверек –
То кясмуский душистый
Июльский ветерок;
А солнца луч не жжется,
Не жалит, но слегка,
Играя, как бы льется
По граням ветерка;
И сладкий дух жасмина,
И скошенных лугов,
И моря запах дынный,
И нежность облаков:
Ну что за миг бесценный
Нам дарит штиль, шаля.
О, будь благословенна
Эстонская земля!

Лето. Кясму, 1985

Августа Оскаровна Веллеранд и Ирина Иннокентьевна Подвысоцкая

С первой из них я встретилась в первые же лета мои в Кясму. Человек со сложной и трудной биографией, в которой сменялись родные ее различных национальностей – шведы, немцы, эстонцы, – если не ошибаюсь. Была человеком веселого нрава, светлого духа. Маленькая, уютная, сердечно-приветливая. Взгляд открытый и радостный, лицо круглое, улыбающееся. Встреча с ней давала ощущение нежданного подарка от жизни. Очень разносторонне образованная, она читала в Доме культуры лекции (работала библиотекарем и читала) – не только в Вызу, но приезжала и к нам в Кясму. Одна из излюбленных тем ее была – жизнь Пушкина и всё, что с нею было связано. Энергичная, трудолюбивая, она вела большую переписку с потомками Пушкина и с радостью делилась со своей аудиторией всем, что ей удавалось узнать. Труд, труд, труд. Но есть отдых у души: две, а может быть, три собачки? Мать и сын? Или отец и дочь? – Позабыла. Так радуются, так прыгают... Да их не две и не три – не сосчитать... Жила она вблизи Вызу в небольшой усадьбе, где вместе с мужем своим, эстонцем, занималась огородом и садом и созывала к себе друзей на вкусный обед или чай с пирогом собственного искусного изделия. Именно там я с моей подругой Женей Куниной встретилась с многолетним затем другом моим – ленинградкой Ириной Иннокентьевной Подвысоцкой. Среднего роста, тело полное, но легкое. Продолговатый овал лица, правильность черт. Взгляд внимательный, но не острый – мягкий. С первого рукопожатия этот взгляд покоится на мне и подружке, с живым интересом и дружески вникает, понимает, одобряет, радуется (обе мы что-то читаем: Женя – стихи, я – прозу), слушает. Как рассказать это чувство, что каким-то образом оказался в месте этом – у-себя-дома? Покой. Ничего объяснять не надо. Глоток за глотком погружение во что-то, что утоляет жажду. И жест, которым, глядя на нас, ласкает она привычно собачек, умиляясь их умилению, таков именно, как нужен собачьим душам, одновременно взволновываясь строкам стихов, теме

моего рассказа; и столбики золотистого чая и ароматные ломти уже разрезанного пирога вызывают память о детстве. Это – в усадьбе под Вызу. Но вскоре, почти сразу – не Ирина Иннокентьевна, а Ириночка, возрастом мне – дочь, приезжает ко мне раз, другой, и скоро еженедельно по два раза проводит со мной день, а затем я – к ней в Вызу, в прохладную большую двухкомнатную квартиру, и после обеда ложимся в широкие две постели – на отдых (сюда к матери приезжает на отпуск дочь, матери – доктору медицины).

Ириночка читает с осени по весну лекции – не студентам, врачам, и обожает свое дело, живет им преданно, радостно, как многотрудным ребенком. Муж Ириночки – старший патологоанатом Ленинграда, высокий красавец, умница. В знакомых разборчив, держится отстраненно. К радости Ириночки, меня признал сразу. Помню день: приехав на своей машине ко мне за женой и застав нас за поздним обедом, он подсел к нам, примкнул и, похваливая наш борщ, как мальчик хлебал его заодно с Ириночкой. У него, Дмитрия Ивановича, – пес, да какой! Породистый (какой-то терьер, черный с желтым, короткой мохнатости), в машине сидит рядом с хозяином и не сводит с него глаз. Но хозяин его ненадолго приезжает из Ленинграда, – редкий гость.

А когда Ириночка у меня, – мы иногда, устав от хозяйства, ходим в далекую столовую по лесной дороге и, вернувшись, ложимся спать – на часок – в маленькой моей комнате с занавесками с зеленоватым узором, и зовем их – подводное царство. После сна иногда идем в лес в сосновую тишь, иногда читаем стихи, вслух, на поляне Марии Эйнхольм с креслами между яблонь (ах, как понимает стихи этот доктор медицины!).

Лета идут одно за другим, дружба крепнет, – это такой мне подарок жизни – такая дочь! А зимой – Ленинград – Москва идут письма, и медленно подходит весна. Иногда по пути к автобусу мы заходим навестить Женю Кунину, и Ириночка по ходу дает указания, какое понижающее давление лекарство ей надо принять. Воскресенья проводят они вместе у Августочки – одно за другим, лето за летом – до трагического дня, когда добрый, молчаливый (по-русски не говорил) ее муж,

принеся дров, вдруг над ними склонился – это была смерть. И, не в силах одна справиться со своей усадьбой, Августа Оскаровна сменяла ее на квартирку в Вызу.

Чтобы память не путала годы, ставлю вехи: знакомство у Августочки Веллеранд с Ириной Иннокентьевной произошло в одно из первых лет со мной в Эстонии Е.Ф. Куниной, и она мне напоминает, что года через 4 или 5, внезапно, выйдя из машины, скончался от инфаркта муж Ириночки, Дмитрий Иванович, – и с тех пор ее утешением стала, кроме дочери (взрослой, замужем) – ее работа, которой она предалась с еще большим рвением, потеряв многолетнего спутника жизни. Это горе еще теснее сблизило нас. Когда я днем ложилась у нее отдохнуть, – на тумбочке у кровати стоял портрет ее мужа, с которым я успела сдружиться. Он как будто был еще с нами... А то, что хозяйева уже не сдали более комнат моей подруге, что я жила без нее в Кясму, тоже помогло нашему сближению с Ириночкой.

Должно быть, году в 1985, разработав план своих лекций врачам, Подвысоцкая уезжала, как всегда, бодро, к ленинградской работе, – но тут случилась беда, остановившая все течение ее жизни. Ленинград встретил ее вестью, что ее, ввиду 65-летия, перевели на собес, чтобы дать дорогу молодым. И рухнул человек, полный сил и познаний, рухнул – в депрессию. Степень депрессии этой была так глубока, что врачи не нашли иного лечения, как электрошоками. Может быть, сделай они 3–4, – она бы воспрянула, но ей сделали их 30 (при каждом она теряла сознание и утрачивала память). И она уже не стала собой, она лежала, ей ничего не хотелось, контакт с людьми прервался. И она скончалась в 1990 году, уже не приезжая в Вызу.

Что запомнила я еще об этом удивительном друге, подаренном мне в эстонской усадьбе у А.О. Веллеранд, – Ириночка моя не помнила родителей, выросла у тетки (профессорской же фамилии и звания), а няней ее была монашенка из разогнанного монастыря. Обеих она помнила с нежностью. Та же няня вырастила ее дочь. Мир ее памяти!

От кого, в первый же год, я услышала о монастыре Пюхтица, женском, где монахинь – 100 человек? И, услышав,

прочтя в соседнем маленьком скромном курортике Вызу маршрут экскурсии в те края, стала ездить. Ездила с 1972 года, без подружки... Чтобы, отъехав в половине восьмого утра, попасть к самому высокому месту в Северной Эстонии, там – самый большой в Эстонии камень, у него экскурсанты снимаются – и на память, и чтобы видна была *гора* камня над человеческим телом; и Нарва, где мы в последующие поездки обедали, и курорт Усть-Нарва, и сосновый лес, сходящий к заливу...

Близ камня – на той же остановке автобуса – пристань речная, запах канатов, суда. Тут, у дороги, напротив смутно видимой дачи – мемориальный камень Игоря Северянина, в Эстонии долго жившего, женившегося на эстонке, могила его в Таллине...

И – магазин, где мы покупали что-то, вещи – дешевые, а прочность – навек, как и всё, что произведено в Эстонии, и где-то трогательно-маленький краеведческий музей, и место, где был бой со шведами.

А автобус едет и едет, безупречно, по безупречной дороге, и вот уже мы у Чудского озера – водная гладь, светлое бабочкино крыло далекой парусной лодки. Ужин в приозерном ресторанчике – и мы приехали в Куремяэ, в монастырь Пюхтица. Но тут я делаю остановку. Тут надо – рассказ о его построении князем Шаховским, Сергием, основание его – в год рождения моей сестры Марины – 1892. А в год рождения моего – открытие (освящение?) главного храма, Успенского – во имя успения Божьей Матери, и есть небольшие иконы, на которых – ходит Она по эстонской земле, в Куремяэ... И тут остановка, снова – рассказ о том, как когда-то в этом лесу шел Иоанн Кронштадтский (которого собираются канонизировать в этом году) и, глядя в просвет веток, на далекие пустые холмы, сказал: «Я вижу на них дивную обитель...» Тут некогда немецкие бароны помыкали эстонцами. Те находили якобы защиту от них – у князя Шаховского. Шаховской послал премьер-министру (Столыпину) донесение о том, что на этих холмах хотят строить кирху немецкие бароны. Он просил разрешения

построить тут православную обитель. Оно было дано, и встала обитель. Немецкие бароны отомстили князю: пригласили на банкет, на котором его отравили. Жена его похоронила, и построила храм во имя Св. Сергия Радонежского, и продолжила стройку монастыря, почти на полвека пережив мужа. Ее положили рядом с мужем в ограде храма. – Сергей и Елизавета... Напротив растет дерево – не в обхват – выше разделилось на две мощные части, и народ пояснял: «два строителя монастыря». Кто все это мне рассказал? Позабыла. Экскурсия заканчивается к шести часам вечера, ко всенощной в Успенском Пюхтицком храме – огромном, напомнившем мне кремлевские храмы в Москве.

Слушали монастырский хор, стояли часть службы – а я летела вниз по отлогому километру через лес к Источнику Чудотворному, где я каждый год раз, два или три за лето окуналась: каждое окунание по три раза, до шеи, во имя Отца и Сына, Святого Духа, содрогаясь от холода в черной воде, в деревянной купальне, куда сходят по очереди, по трем, четырем ступеням, держась за поручень. По шею, а не как другие, с головой, по моей близорукости не снимая очков, надетых на меня, как и на Марину, с десяти лет, но окатываю голову ледяной водой. Однажды встретился мне маленький шуплый старичок, который рассказывал идущим с ним в гору: «Я 10 лет не вставал, – так сильно болел ревматизмом – лечили, лечили... Услыхал про этот Источник, приехал. Десятый день окунаюсь и вот – смотрите – хожу по холмам».

Вода течет из родника под часовней. Монахини наливают святую воду – кому в кружки, кому в бидоны, в путь.

Начались мои окунания, видимо, с первого лета без Оли, но и без подруги моей, боявшейся холода. С 1972 года.

Вытираться не полагается. Прямо на тело, только начинающее согреваться, – сухое белье. А тем, кто окунается с головой, совет голову тоже не вытирать, а, прижимая волосы к голове, спускать с них текущую воду – сразу теплую шапку.

Никто никогда, конечно, не простуживается.

Живем дальше. За домом, там, где вчера ничего не заметила, – одиноко, легко, высоко – куст желтых роз, совсем иного, чем красные и чем розовые, строения – нежно качаясь, побеждая заросли.

В Коктебеле, у вдовы Макса Волошина, Марии Степановны, я в году 70-м или 71-м встретила с эстонским профессором литературы Вальмаром Адамсом, человеком пожилым, с тонким выразительным лицом. Это была встреча с большим умом скептическим, редким собеседником. Мы беседовали в мастерской Макса, в родном, с юности, месте, и в 1972 году, узнав, что я в Эстонии, он пригласил меня к себе в имение, в Тарту, в Валгеметса. Но я ответила, что у меня гостит подруга, поэтесса и переводчица, и он пригласил и ее.

Мы ехали в очень плохом – что редко в Эстонии – автобусе, и кто-то едко шутил, что таллинские автобусы – столичные, а что Тарту, знаменитый своим Университетом, – это провинция.

После четырех часов пути мы приехали в Тарту, где нас встретила жена профессора Адамса, Лейда, чье открытое, умное, доброе лицо с горбоносым профилем до сих пор живо в памяти. Она довезла нас к себе в Валгеметса – на легковой машине, где нас встретил гостеприимный хозяин.

Обстановка дома была проста и одновременно уютна, и дни, проведенные у Адамсов, навсегда живы в душе. Валгеметса, если не ошибаюсь, – в южной части Эстонии, живописной, холмистой. Мы много гуляли в сопровождении Вальмара, он свел нас на хутор показать образцовый порядок, со старины уцелевший, рассказывал об эстонской культуре. Вспоминал о дружбе своей с Игорем Северяниным: «Он кончил всего два класса реального училища, – сказал он с доброй улыбкой, – а я – два факультета, но это не помешало дружбе». Адамс заботливо проводил нас в наш обратный путь – поездом.

Как горько было годы спустя узнать о смерти доброй и умной Лейды. Но он, слава богу, здравствует. А подаренные нам его статьи о литературе и его стихи нам переводила Дагмар Нормет, и, должно быть, хорошо это делала, потому что дошел до нас его своеобразный, ни на кого не похожий стиль.

Шаг назад – кто же мне нашел жилье в Кясму? Почти невозможное дело! – Юдя, которую знала еще девочкой. Соня и Юдя Каган – друзья молодости моей... Со дня, когда началась дружба с Соней – зима 1921–1922 года. Москва, после разрухи. Вечер в квартире Бердяевых. Высокий, стройный, темноволосый, высоколобый человек, вернувшийся из Германии, там окончив курс, в Марбурге, у Германа Когена, не смогший остаться при его кафедре философии, философ Матвей Каган – он говорит. Это его доклад, говорит очень сложно, так что я, слушавшая лекции по философии в Университете Шанявского, с трудом слежу за мыслью. И об этом друг Кагана, поэт и импровизатор Борис Михайлович Зубакин, друг и мой, утешая меня, сказал: «Не удивительно, он думает по-древнееврейски, переводит на древнегерманский и оттуда – уже на русский!» – так любовно шутил друг Матвея, которого Матвей любил, отвергая все слухи о нем, все рассказы, чтя в нем ум, доблесть, талант. И почти одновременно привел ко мне один из друзей моих, Эли Шноль, девушку, о которой сказал, что она – удивительна, ни на кого не похожа. И я с этой девушкой – ей было 19 лет, мне – 28 – проговорила до утра: значит, было о чем. И стала Соня ко мне приходить изредка, но всегда – повелось, с вечера; сидеть до утра. По странной случайности фамилия Сони тоже была – Каган. А на следующий год вдруг пришли ко мне вместе – Матвей Каган и Соня Каган, не знаю, где встретившиеся и ставшие – муж и жена. Дружба моя с ними крепла. И однажды, придя к ним после долгого перерыва, я увидела в детской кроватке крепкую темноглазую девочку – Юдю – Юде было восемь месяцев. Она все понимала и была похожа на отца. И я шила Юде кукол из шелковых и бархатных лоскутков. И потом прошла целая жизнь, Юдя сделалась латинистом, о Матвее осталась вдохновенная память. Соня давно перестала водить геологические экспедиции по Кавказу, и жили вместе

Соня и Юдя. Я бывала у них очень часто, мы как-то друг без друга не могли. Но и это время прошло. На лето мать и дочь уезжали куда-то в Эстонию и говорили о ней с нежностью. Это началось еще в ту пору, когда Соня звонила мне: «Уже четвертый день Вас нет, я так не могу!» А с Юдей такая была близость вкусов, что на вопрос, была ли я на такой-то выставке, я отвечала: «Нет, не была, – Юдя ходила!»

И мы ходили с подругой Женей («Куняева и Цветкова», которые не могут расстаться) к Каганам... Вообразите – у исхода поселка, у поворота туда, где туман, – справа по пути прохождения участок хозяйки их, Сельмы Кааман: большое картофельное поле и, обойдя его, – вход в дом, окруженный кустами цветов, – без цветов эстонцы не дышат! Сельма – само благородство, но жестокий insult заставил продать поле и дом и впасть в руки племянницы, благородства лишенной. Новые хозяева до смерти Сельмы обещали ее холить; это делают, но племянница утверждает, что продажа – незаконие. Суд отвергает их, но, славя правду, Юдя, больная, из Москвы едет в Таллин и защищает их на суде... Возвращает им их доброе имя. А через три года, забыв благодарность, они отказывают Соне и Юде – в жилье. И нет больше мне Каганов в Кясму, вечеров у них – они где-то там, в Москве...

На обратном пути моем к дому – пораженность: не дней ли десять назад я старалась узнать, *кто* скосил, вырвал, смял целую россыпь крапивы, так мощно и высоко покрывавшую левый бок погребя, – и зачем? Кому она мешала быть? – негодование, протест... Я стою и взволнованно дышу: не только *то* заросло заново, что зверски вырвал какой-то негодник, – но и шире, и дальше радуется жизни крапива, сокрушается вместе со мной – о тех...

С семьей Тынсон я настолько срослась за почти четверть века, что не помню, с чего эта дружба началась. С Кясму слилось воспоминание об их домике – в глубине зеленого двора, чуть вниз шедшего. Никому другому не мог принадлежать этот дом, кроме матери, Хельги Юрьевны, и дочери, Хельги

Леопольдовны, и мужа дочери, Арво, – словно это открылся, поднялся занавес – и предстал, как в пьесах Ибсена, интерьер норвежской пьесы, а на авансцене большая собака – боксер, цвета песка, с тупым, на мопса похожим, но большее его, носом, и доброты и ума несказанных, за что она и стала членом этой семьи, по имени Деэли. В норвежском домике – элегантно – простых очертаний, с густыми струями висящих до полу занавесей, окон к морю и в кусты цветов – кто же там мог жить другой, кроме в Лозанне окончившей гуманитарный факультет университета матери, невысокой, легкой, светлоглазой, с внимательно всматривающимся взглядом, вроде улыбающимся. Мать, страстно любящая дочь и ею любимая, в тревоге о дочери, часто болевшей, о муже, о котором все говорили, что он «носит ее на руках», обожает; и какая собака самой доброй на свете породы, боксеров, могла бы наполнять эту семью собачьей, самой большой на земле преданностью, кроме могучей своим ростом и своей добротой, носившей имя с двойной гласной, Деэли?

Иначе быть не могло, что молодая хозяйка, Хельга, – кем же ей быть, как не музыковедом-писательницей и не другом эстонского певца, знаменитого Георга Отса, которого постигла беда самой страшной болезни, и это в то время, когда Хельга Тынсон писала о нем монографию и он смог, одним глазом после операции головы, заглянуть в книгу о себе, тяжело больной. Хельга и фильм сделала о нем, вслед ему. А перевод на русский язык монографии автор нашла столь плохим, что заменила, по существу, – своим, несравненным, в дар памяти об ушедшем друге, прославившем Эстонию своим голосом. И я в Москве получила в подарок пластинку с его удивительным голосом.

Наша дружба – подружки моей, Евгении Куниной и моя, с матерью писательницы, Хельги Юрьевной, длилась все годы моих приездов в Кязму, и зимой – частой и нежнейшей перепиской до тех скорбных дней, когда она стала терять зрение.

Помню лето, когда Деэли, заболев и подвергшись лечению ветврача, вышла из его неудачных стараний с расчесанным ею самой от зуда – добрым ее плоским носом, и мы с подружкой стали лечить ее гомеопатией, и Хельги Юрьевна говорила нам, что, когда она зовет ее: «Деэли, идем к Анастасии Ивановне

и Евгении Филипповне», – собака вскакивает и бежит, понимая пользу гомеопатии, которую в те годы еще не уразумели врачи-аллопаты. И Деэли перестала чесаться. Но годы шли, и пришел срок жизни собачьей, и когда Деэли не стало, во дворе, в уголку, у кустов, под которыми шла черта моря, появилась могилка Деэли. Было настоящее семейное горе.

О прибалтийской волшебнице

И вот еще тема, эстонская: в Кясму, на берегу залива живет пожилая женщина. По-моему, она волшебница. Почему? Ей несколько лет... Зная ее, – вижу каждое лето, более 20 лет, дело близится к четверти века, – я не замечаю в ней никакой перемены. Перемена сопутствует череде ее внуков, которых она терпеливо растит, – были маленькие, стали большие, а она – ее зовут Дагмар, Дагмар Нормет, – какой была, такой и осталась. Мне особенно памятен сын ее дочери, Стен: его отец – финн, высокого роста, белокурый и строгий, а Стэн – точно такой же, только очень маленький финн. Он своеволен и свободолюбив, строг к чужим, внимателен к молодой бабушке. Я его помню почти крошечным, он подымается год от году, как березка; дорастая до плеча Дагмар, перерос плечо. Я за годы не слышала ни одного окрика, – волшебницы не кричат, они – взглядывают, качнут головой, улыбнутся – и внук понимает без слов. Чем занимается Дагмар, кроме череды внуков? Дагмар пишет детские книги; иллюстрации художников к ним, само собой разумеется, оживлены присутствием волшебства. Дагмар любит дельфинов, она видит их, выходя к заливу из своего домика у залива, (если я не ошибаюсь в географии и зоологии, что очень возможно), и если в заливе Кясму их нет, то взгляд Дагмар легко пролетает пространство к, например, Черному морю (там и я их видела в детстве); она видит прыжки их, их повадки, привычки, улыбается их доброте, радуется их уму, и эстонское издательство выпускает ее книги одну за другой. И как из всех внуков мне запомнился больше всех белокурый и светлоглазый Стэн, так из всех книг Дагмар Нормет в памяти моей стоит название «Дельфиния», превышающая других – волшебством.

Дом Дагмар – маленький, синий, блестит стеклом широко-оконной прихожей, перед ней сад с застывшими валунами; они когда-то спускались ледником и поселялись, где им захотелось. В саду еще радуются жизни – качели, и калитка, выпускающая на дорогу у моря и впускающая гостей. А внутри гостеприимно горит камин, в нем в огне купаются саламандры. Но я не сказала, какой облик дал Бог Дагмар Нормет: статная, с легкой походкой, подвижная, проносящая на пути прохождения – веселье. На лице, постоянно меняющемся, – светятся и смеются глаза, карие и большие. В сочетании короткого носа и губ – лукавство. И не описать ее темных кудрей, обрамляющих прихотливо улыбающееся, таинственно и приветливо, ее вневозрастное лицо.

Евгения Кунина

Вечер у Дагмар Нормет

Голубые переливы, переливы без конца.
Голубая даль залива здесь, у самого крыльца,
Розы рдяные заката расцветают за стеклом, –
Ваша комната богата морем, солнцем и теплом.

Вспышки золота в камине и сверкают, и поют,
Невозвратности старинной воскрешается уют.
Чайки белые летают, ласточки снуют вокруг,
В доме Дагмар обитает гармоничной жизни дух.
1979 г.

Сельма, Рули, Кот и Кирюша

Это было в Кясму, что стелется узкой полосой меж заливом и лесом. Русские люди приезжают туда лето за летом – кто 15, кто 25 лет подряд, радуясь, что в погранполосе – меньше народу.

В то лето я жила в Кясму уже десятый раз, а друзья мои, мне там нашедшие комнату, – вдвое больше. Я часто их навещала: Соню (мать) и дочь Юдю, живших так дружно, как будто у них одно сердце.

Так же дружно жили они со своей хозяйкой проуа Сельмой мужественных привычек и нрава. С ними в доме было еще двое: пес Рули и безымянный кот. Рули был черный с белым. По совпадению, странному, кот был тоже странный и черно-белый – но в коте было больше белизны, чем черноты, а Рули – вполне отчетливо черно-белый.

Рули был к коту – жесток. А кот – как точнее выразить это? Кот пламенел вниманием к псу: пробовал ластиться, но, отвергнутый, уступал псу дорогу, смирялся с невеселой судьбой.

Пес казнил кота самым-самым тяжким из отвержений – он просто не замечал его. Эта человеческая по силе – да простят мне слово – трагедия происходила уже годы на фоне зеленого картофельного поля и огненных и белоснежных цветочных кустов, обходивших дом проуа Сельмы. Постояльцы только летом участвовали в ее жизни, и я только в воображении себе представить могу, как тяжело было коту испытывать равнодушие друга – зимой, в тесноте украшенных мебелью комнат, у тепла уютного очага.

Сельму же Рули любил безаветно, всей преданностью собачьего сердца. Когда проуа Сельма, уйдя из дому, долго отсутствовала, Рули тосковал и, оживая под лаской ему уже годы знакомых русских женщин, матери и дочери, занимавших у проуа Сельмы две комнаты, шел с ними на почту или провожал их в магазин и обратно. Он знал, что не скоро он увидит хозяйку свою, что она уехала на автобусе на работу в соседний Вызу и вернется только после того, как постоялица-мать будет возиться целое утро в кухне, а дочь – шелестеть листами бумаги, бормотать что-то, раскрывать и закрывать книги... долго!.. Потом мать позовет дочь обедать – и когда пообедают они все, тогда только появится в конце огорода высокая, худая, родная Сельма, хозяйка! Вот тут начинается у Рули – раскаяние. Обнимая со всех сторон всего-навсего двумя лапами – Сельму, он легкими взвизгиваниями, переходящими в легкий вой, кается ей в том, что не дома ее дожидался, а ходил по поселку не с ней, ходил с чужими гулять, развлекался... Но хозяйка не смотрит на Рули, она снимает плащ, кивая рассеянно в его сторону, он же мешает ей...

Тогда, в отчаянии непонятости, Рули становится на задние лапы и передними, которыми собаки «служат» за сахар или печенье, опустив кисти лапок, – он, раскрыв обе свои собачьи ладони, взмахивает ими – назад, назад, трудностью этой обращая внимание хозяйки на силу своего покаяния...

И вот уже Сельма, поняв, – смеется, треплет за уши Рули... (Я бы хотела знать, *как* на все это смотрит бедный кот?..)

Но раз уже заговорили о Сельме, – договорим, чтобы понятно стало – *какая* хозяйка у Рули, к которой он *так* привязан (а заодно станет ясно, какие бывают дачники).

Однажды, в отсутствие моих друзей, Сони и Юди, в дом, о коем идет речь, пришла жена одного пожилого приезжего писателя, очень заботившаяся о здоровье и об условиях отдыха мужа. (Знал ли *он* об *этой* ее заботе, я не знаю.) Она вошла к проуа Сельме вальяжным шагом и, убежденная в успехе своего предприятия, сказала ей так: «Вот что: вам платят за лето эти ваши жилыцы – двести. На следующее лето мы будем у вас жить. Я вам заплачу – пятьсот».

Договорив свое предложение, устав от спешки в пути, она присела на минутку отдохнуть в уютное соломенное кресло. Но «ушам ее» и ей, несмотря на уют позы, пришлось, как говорят, «не поверить». Ибо Сельма, спокойно продолжая поливать цветы в горшках на окнах террасы, подымая и опуская носик леечки, отвечала тоном как бы созерцательным, как если бы дело шло вполне о чем-то отвлеченном, а не о деньгах:

– Я привыкла, – сказала Сельма, – распоряжаться комнатами моего дома сама, – и она вытерла тут же висевшей на гвозде тряпочкой воду, пролившуюся чуть-чуть через край подоконника, – в будущем году в этих комнатах будут жить... – и, назвав фамилию Сони и Юди, она прошла из террасы в дом. Что при этих словах испытала ее гостя – я не берусь рассказать.

Приближался конец лета, и я пришла к моим друзьям с маленьким фотоаппаратом «Любитель-2» – снять на прощанье проуа Сельму, ее огород, ее дом и, конечно, кота и Рули. Мне частично это удалось; правда, сопротивлялась старшая, та, которую я зову Соней. Должно быть, как и я, она отвращалась

давно уж от зеркала (я помнила ее тому лет назад с полсотни – ее глаза огромные, широко раскрытые, маленький сомкнутый рот... кудри...).

Но что сделалось с поведением Рули?!.. Дав мне сфотографировать себя овечьи-кротко, он начисто воспротивился моему желанию сфотографировать и кота (а я еще намеревалась ухитриться снять их *вместе*... Какой был бы кадр!..).

Рули не соглашался – он забегал вперед перед котом, прыгал яростно между нами – хвостом к коту, мордочкой ко мне, он лаял, он метался, обнимал меня с аппаратом умоляющими объятиями – я не знала, что делать! Наконец, он будто одумался, смолк, стал передо мной на задние лапы и попробовал, как все собаки, – «служить». Но я все рвалась, отстраняя его, – к коту.

Тогда Рули отчаянным жестом вскинул вверх собачьи свои ладони и в полном молчании, последним усилием горя отогнул их назад – и замер. Он не отводил от меня, так стоя, взгляда, он гипнотизировал... Мне стыдно сказать, что я все-таки, погладив его, «чикнула», проходя, кота «Любителем-2».

Однажды к друзьям моим Соне и Юде пришли знакомые со своим старшим сыном Кирюшей. Кирюше было 5 лет. По пути «следования» от калитки мимо длинного картофельного огорода он увидел сперва кота, потом Рули – и его заняла мысль, почему они оба черные с белым. Навстречу мальчику шла Юдя. Она *тоже* была в черном платье с белым узором, белолицая, черноволосая. Кирюшу эта игра цвета поразила как-то особенно, и он выразил удивление со всей непосредственностью своего возраста. В его вопросе звучало желание получить объяснение этой тройной проблеме. Задумчиво он спросил: «Может быть, Вы их мама?»

Юдя ему ответила так: «Да, мы – одна семья...» Тогда, из еще более глубокой задумчивости, Кирюша выговорил: «Может быть, чудо природы?»

Годы пройдут, и через 5–6 лет (когда позади в семье будут два рождения – брата Илюши и его сестры Аси), когда кто-то из взрослых знакомых спросит его о ней, может быть, долгожданной дочке:

– Ну, а как сестричка твоя, Кирюша? Как – Ася?

Кирюша ответит, тоже задумчиво:

– Ася – девочка, поэтому она – прелестна. – И, возвращаясь к реальности дня: – Но *вообще* она – нестерпима... Как точно он *сказал* о сестре, так часто мужья *чувствуют* о женах...

Но заглядывать в будущее – стоит ли? Любопытство, учащее людей гаданиям, подглядыванию в будущее – есть плод малодушия, и есть в этом – брешь в благородстве и недостаток достоинства.

Я думаю, нужно *тут* остановить рассказ о Рули и о Кирюше. Рули уже нет и нет Сельмы, она легла к родным своим на кладбище в Кясму, мы носим ей цветы на могилу, а кот все еще грациозно крадется меж рядов картофельного поля. Думаю, он помнит Рули...

И вот – все лета мои в Кясму по многу раз в месяц оставливался на шоссе, а иногда и на самой нашей поляне – автобус с экскурсантами, и неизменно экскурсовод подводил слушателей своих к первой от входа на кладбище статуе работы известного эстонского скульптора Раудсеппа: в темной бронзе изображена – в целомудренной, склоненной над могилой позе – юная девушка, простирающая над могилой руки с сосудом, из него сыплются живые цветы: это 15-летняя младшая сестра умершей Сигне Тидеман горюет над ней, безвременно ушедшей... Юность Сигне оборвалась в 24 года. Она вела веселую светскую жизнь, увлекалась верховой ездой, приемом гостей, нарядами – но туберкулез – недуг, бич прошлых времен, положил ее в землю перед самым входом в лютеранский храм... Простой, как очертаниями, так и внутренним убранством – скамьи, кафедра для проповеди пастора, орган. Орган, похожий на ряды огромных флейт, часто звучал хором низких звуков в отошедшие годы, пока в Кясму жил летом молодой музыкант, москвич Миша Сапонов, и смолк вместе с кончившимися его приездами. Только редко, когда умирает кто-то, вновь звучит он под руками приезжих органистов.

Так жила церковь в день трагической гибели русской женщины именем Людмила. Моя подруга знала ее. Эта женщина очень любила плавать. Было 1 августа, лет, должно быть, десять назад. Ее муж уехал за билетами на 10 августа в Москву; уезжая, просил ее не купаться.

После его отъезда она стала звать знакомых женщин идти с нею в залив. Те отвечали, что уже – купались и больше не хотят. Но ради нее – пошли. Кясмуский залив – мелок. День был жаркий, но она уже долго была в воде, и они стали звать ее. Как бы в ответ она выплывала из-за далекого камня и снова, и снова, и эта повторность их испугала. Одна из них пошла в погранзону, прося послать моторную лодку – узнать, в чем дело. Солдат, замещавший начальника, отказался, не имея права без распоряжения командира... Сделать ничего нельзя было. Были небольшие волны, и к вечеру эти волны принесли на себе женщину, лежащую на спине, не нахлебавшуюся воды. Тут на берегу ее и увидал муж. Похороны были торжественны. Русская колония нанесла горы цветов. Звучал орган, пела сестра хозяйки того дома, где они с мужем жили. После похорон могилу по периметру устали рядом толстых зажженных свечей. Муж пораженно смотрел на все это... 10 августа, день их отъезда, стал ее девятым днем...

Перед самыми окнами дома – сухая ветвь, не отпавшая от заросших прошлогодних роз, красных, в 30°-ный мороз зимой дотла замерзших – напрочь! Столько красоты... От них – метром вперед, должно быть, отросток той гущины – пробивается в жизнь причудливая ветка таких же, но редких, но робких, но – хотящих жить! – роз, ничего не знающих о конце, цветущих! нежно алеющих среди жесткой зелени шипов, – как алели и нежились, и расцветали тысячи лет назад...

Перед моим окном – зеленая буря. Вьются и быются гибкие зеленые ветви, переплетаясь, сгибаясь к земле, тянут ко мне руки – это непомерно разросшиеся в таинственном климате – просто малиновые кусты. Внизу. Аверху к ним покровительственно наклоняются яблони, защищают от непомерного ветра – но это вовсе не зеленая буря, это зеленый вихрь!

Небо за ним – серо, сменив с утра гнев на милость не раз, тучу на солнце – приучив нас к сменам света и мглы, делая из нас философов.

Это – эстонский день. 22-е лето сменило здесь относительную бодрость на несомненную старость. Вчера наш автобус

до Вызу ехал прямо в жерло будущего дождя, в низкий нависший вал над крышей автобуса, едущего неуклонно; и автобус, и дождь были действующими лицами хрестоматийной сказки, которой этот край является воплощением – непрерывный бой солнца и ветра, ветра и дождя, дождя, уже сохнувшего на ветвях от сверкнувшего в разрывах туч – солнца.

Вдруг мой зеленошумный вихрь увядает, на дальней поляне почудился пласт солнца, и, опрокидывая шум, бросая в него тишину, солнечный свет ложится на землю – спокойно, как в первый раз, угнав мрак многочасовый – как видение, затеплив небеса синевой и светлыми облаками наставшего дня. О! Это Эстония...

Это я пишу год спустя тех, увлеченных страниц моего прошлогоднего, 92-летнего, здоровья. Я проболела почти год и полузабыла то, что тогда написано. Я не помню, написала ли о еще одном уходе отсюда – одной удивительной женщины, пожилой, полной, доброй, умной, отлично знавшей английский. Подруга моя, Евгения Кунина, жила с ней в одном доме, дружили. Звали ее Суламифь.

Я только что рассказала о том, как мгновенно в Эстонии погода меняется. Это вовсе не значит, что она не может, еще больше, дальше – изменив вокруг всё и вся, позабыв свое северное имя, стать Крымом на дни и на дни. Без счету. Жара!

Вот в такой день захотела идти со знакомыми в лес Суламифь. Но знакомые знали, что ей в лес сосновый, где жара густа, как смола, – вредно. Отговорили ее. Но через лес должна была своей дорогой пройти женщина, мало Суламифь знавшая, и, соблазнившись тем, что им по пути, Суламифь пошла с ней. Они прошли этот жаркий и тихий лес. Давление у Суламифи в крови поднялось, о чем больная не знала. Знакомая, дойдя до поляны, на которой – горячие камни, села на камень – читать. А Суламифь увидела ручей. Он был, как сама прохлада. Радостно разувшись, она вошла в него босиком. И тотчас стала склоняться и падать – и это была смерть. О ней не сразу узнала читавшая книгу: Суламифь умерла без звука... Инсульт. От жары и ручья – мгновенный.

Но не появилась могила на кладбище кясмуском нашем, рядом с могилой Людмилы, волнами принесенной на берег. За Суламифью родные приехали и тело ее увезли...

Но довольно о смерти – ибо ее побеждает жизнь. Вечная! Которая отнимает у смерти и Суламифь, и Людмилу. И мы возвращаемся в жизнь.

Цветут темно-красные розы и бледно-палевые, и розы цвета зари... Месяц спустя поднялись на царственных стеблях гладиолусы, эти усеянные цветками лилий, символом гордости. Они гнутся в ветре, омываются под дождем и королевски недвижны в солнце. А у их ног выросли – им пора – анютины глазки, но это вовсе не то, что нам, русским, при этом названы мерещится. Они поднялись на своих тоненьких стебельках до половины высоты гладиолусов и красуются бархатно и цветно, темно-лиловые, светло-желтые, царем природы разрисованные «анютины глазки», прославляя почву Эстонии.

А я все так же – кувшинами – ношу воду (не прошу помощи, но когда мне ее оказывают – благодарю, но настаиваю на том, чтобы и я сама воду носила), по четверть ведра выношу помой, не пользуюсь появившимся у моей милой хозяйки проу Марии – холодильником, хожу через капустный, клубничный и картофельный огород – в погреб, в сырую прохладу – все те же две крутые ступеньки, по которым ходила Молодая старуха, принимают спускающийся шаг Старой старухи – ведь если бы мы все жили сегодня так же, как вчера (чтобы завтра, как сегодня), и так – день за днем – старости было бы куда труднее класть нас на лопатки. (Старой я себя вижу для других уже лет 30 – для себя – никогда.) Себе я просто «я», как в детстве, юности, зрелости – вне возраста, где грань? На зеркало взирая равнодушно, не гоняясь за наружной молодостью (ни разу в жизни Марина и я, всю молодость не тронули себя ни пуховкой пудреницы, ни краской. Брови, губы, глаза у меня и до десятого десятилетия, кроме воды и мыла, не ведают ничего). Я еще ни разу не сказала себе «этого я не могу» – в обиходе. Могу и влезть, и подлезть, тело заставляю быть гибким; кроме сна, не лежу, не «полеживаю», каждый час моего бдения – занят, да

и как иначе? Времени в дне не излишек, – не х в а т к а. Отдых? Лет 36, 40 на Коктебельском берегу искала камешки; в гамаке – читала английские 19 века, книги... (На это у меня теперь времени нет, тогда – было. Вся разница!)

А на самом берегу морского залива стоит в Кясму длинный, белый, пустооконный нежилой дом, дом-призрак прошлого, кончивший свою жизнь в год прихода в Эстонию советской власти, перенесшей маленький порт из Кясму – в Таллин, соединившей их. И стихла жизнь белого длинного приморского дома, некогда – морского училища. И всё вокруг – не фигурально, а буквально – «быльем поросло»... Но об этом – лучше стихами моей подруги, Евгении Куниной:

Кясмуское мореходное училище

Сутулится, белея на пригорке
И окнами чернея в пустоту,
Унылое, забытое прегорько,
Как старый конь, ослепший на посту.

Трава кругом, и сосны, и забвенье,
И тихий плеск залива чуть вдали,
Туда питомцев своего ученья
Водить ты посылало корабли.

Ученики веселою гурьбою,
Бывало, осаждали эту дверь,
Теперь же все пустынно пред тобою,
И кто вспомянет прежнее теперь?

Нет на тебе мемориальной даты,
Ни памяти потомков для веков,
Училище, которое когда-то
Стране дало отважных моряков.

Я болею. Почти год научаюсь болеть. Это трудно и горько. Плач стоит где-то у горла, но я верю в Творца, Ему же легко

прекратить эти боли. Однако они длятся, – значит, так должно быть, и надо удерживать плач.

Всё прекрасно вокруг, это *твоя* доля – болеть, только не падай духом, прими эту тебе посланную новизну и не закрывай глаз на – вокруг. Живи твой день – урывай час и пиши, пиши об Эстонии, которую ты, может быть, не увидишь в 23-й раз... И благодари Бога, что боли твои дают тебе писать об Эстонии, ведь могли бы быть так сильны, что уже не могла бы писать! Но дар тебе дан – и справляйся с делами быта, и урывай час души.

Но вот наступает уныние: день за днем – когда началось? Когда кончится? – холод, ветер, дождь... Без просвета. Это – Эстония?

Топим печь, добрый сосед и я... Вместе мешаем кочергой гору углей, нет ли под ней – головешки! Наша осторожность дала то, что столько лет заботы об общей печи – не было ни разу угару, ни разу! В белом кафельном блеске печи наверху – два крюка. Я вешаю на них тяжелое ватное одеяло, сыреющее. Уже давно стала вечерами включать свет. Белые ночи в августе – посерели и скоро пройдут. Зашиваем посылки, тем облегчаем железнодорожный путь. Пропуск в погранзону истекает. Скоро – домой. Ложусь, устав, на дневной сон.

Сплю. Что-то тревожит веки – поднимаю их: на стене моей зеленостенной комнаты – невероятное зрелище: солнце – вовсю! – залило край стены и пылает по всей террасе. Вскикиваю. Что? Когда? Ведь только что был дождь?.. Дождь! Приснился? За окном – роскошь лета! Малина ластится к яблоне в тишине безветрия, небеса – лилово-сини, как в Генуе. Удивляешься?.. но это ж – Эстония! И ты собираешься ее покидать? О, до весны, только...

Мне сопутствует цыганский очаг: двухконфорная электроплитка, в картонном футляре, – как я, год от года ветшающая, она укутана шальями, платками, она – как человек, а все вокруг нее свободное под материями место уплотнено коробками и флаконами лекарств, ни крошечки пространства не пропадает. Мы вынимаем очаг и ставим его на маленький стол, на кирпичи возле ночного ложа, и каждый раз, как холодно, – очаг

согревает комнату и варит суп, молодую картошку – в помощь столовой, куда ходим с соседом – в бывший пионерлагерь, где бывает рыба и шоколадный кисель и, когда можно, когда не пост – сбитые сливки!

И снова, снова вспоминаю, как много энергии было во мне в прежние годы, на восьмом десятке лет – это все мне давала Эстония. Не говоря о тех, первых годах, с внучкой Олей – приучение ее говорить по-английски, и уроки музыки... А то лето, когда на месяц отпуска приехала старшая внучка Рита, чтобы я говорила с ней по-французски. И втроем – и в столовую, и в магазины, и в кино – с уговором: с Ритой я – по-французски, с Олей – по-английски, и чтобы между собой – ни слова русского. Как срывались, и спорили...

А через дорогу, не видя всего этого, – бело желтеют крошечные ромашки, по-французски их зовут *raguerettes*, предки их у Леманского, Женевского озера цвели почти век назад, в нашем с Мариной детстве...

В Кясму, в старческой моей жизни тут, уже больше десяти лет – через стену с общей печкой живет пожилой (по возрасту – сын) инженер-ленинградец, живший тут же 19 лет назад в той же комнате, с женой и большой семьей родных ее, но горькой волей судьбы этой жены лишившийся, поселившийся теперь со своей сестрой, племянницей и внучкой, в том Ленинграде, где я была в последний раз – когда? Три года назад?.. Вряд ли в Ленинград еще поеду когда-нибудь... Мне кажется, наша дружба крепка, она прошла через много людей, тут подолгу бывших. Не только я, но и все, кто знал соседа моего, – знают его как доброго, легкого на помощь человека, и горечь его утраты, и горечь моих начавшихся заболеваний, старческих, может быть, сплотили нас в это лето еще крепче, чем в те, более счастливые годы. Он года полтора назад перенес микроинсульт, и мне не забыть никогда, как он, мне про болезнь свою не сообщив, встретил меня год назад на автостанции, как всегда впрягся в тележку с моим багажом и повез ее наверх. Я, опасаясь его обидеть опекой, шла рядом и мучилась, не имея

возможности ему облегчить ношу, и как он, доблестно, молча, героически всё довез, всё снял – не показал виду... Я горюю, что он – из поколения неверующих, и, зная, что Бог это поколение жалеет, молюсь о нем...

Но я же в сущности ничего не сказала о нем, Кленове Иване Никитиче, – скажу, что за девятнадцать лет я не слышала от него осуждения кого-то, замечания о чем-то, жалобы на кого-то – то есть, что знает о нем один Бог – что он и есть истинный христианин, при этом не знающий, что есть Бог... И мне будет очень его не хватать в Москве, скоро...

А другие годы, их было – 5? 6? Когда уже без них, одна, я за столом на террасе переводила одну за другой две французские книги о Лурде, об открывшей Лурдский источник четырнадцатилетней Бернадетте Субиру, дочке бедного мельника... О явлениях ей Святой Девы – у входа в грот, над кустом шиповника, как шли за ней толпы, Святой Девы не видевшие, но замороженные видом преображающегося лица Бернадетты; преследования ее представителями католической церкви, прокурором и полицией, бесстрашие ее и Победа Правды, исцеления, чудеса, и через 46 лет – канонизация в соборе Святого Петра в Риме Ее, в 20 лет принявшей монашество под именем Марии Бернар! Сколько было сил у меня за этой работой! И зрение... А теперь – лупой, полстранички Евангелия и – немного из книги о старце Силуане... И письма друзьям... Легко с Олей тащили ведро из колодца, а теперь – кувшин из колонки; еще недавно – легко, как в юности, сбегала в погреб, теперь – избегаю...

А когда я открываю дверь погреба, где всегда росли ледяные голубо-лиловые колокольчики, как в Тарусе, – и где в этом году их нет – вижу из редких всходов крапивы – тянется мне навстречу – «я здесь!» – один маленький колокольчик, помнящий о Тарусе, во сне видящий сны об Оке...

Подсчет: первые 5 лет (лучших) – с Олей, внучкой... Следующие, когда она в 15 лет изменила мне, – я позвала к себе в комнату подругу Женю Кунину – о ней я уже писала – на 4 года моложе меня. Трудно, но выжили в маленькой комнатке. Разные привычки и характеры. На следующий год и на

последующие 13 она нашла себе близко, через кладбище и через дорогу, комнату с отдельным ходом у стариков-эстонцев, бездетных, полюбила их очень. Стала, как и я к Марии Эйнхольм, приезжать к ним, как домой, оставляя вещи и посуду. В первый год недооценив Кясму, тишь залива, через год стала «эстониться» и все короче, ближе вживаться в то – как словами сказать? – что всех нас, русских, раз попавших сюда, сродняет и притягивает. Маленькая эта «колония» русская и перезнакомилась, и привязалась друг к другу. Приучились к погоде Эстонии, в полчаса меняющей радость на огорчение и огорчение – на радость...

Я навещала мою подругу раза два, чаще – три в день, каждый раз поднимаясь сразу за калиткой на бугор и сразу с него спускаясь, со страхом упасть головой о стоящее на пути дерево, каждый раз, помолясь и о него не стукнувшись, веселясь, – и так – дни, так – лета, сквозь нашу шумную дружбу, о которой говорила местная поговорка, путавшая обе фамилии: «Все кричит Куняева на Цветкову, а расстаться не могут!» Так прошло 14 лет. И, увы, они кончились: пожилой муж Жениной хозяйки – умер, и хозяйка, больная, взяла себе опекуна – а он построил у дома теплицу, колодец и еще, и еще; занял комнату, которую снимала подруга моя, и уже 3 года я тут – без нее. Мы часто ходили в сосновый лес и, сидя там на плоском камне, работали, каждая – свое.

Из ворот направо – стоят сосны невиданной вышины, вдвое выше российских – чтобы увидеть их кроны – головы запрокинуть! Эстония...

Отчего этот феномен эстонских деревьев? Не только сосен и елей, а и наших плакучих берез, и сиреней, и высоких аютиных глазок? – от того ли, что сыро и этот вечный полив растит высоту непомерную? От того ли, что к солнцу тянутся от прохлады? Это царство сказочной высоты всего, на что падает зрение, чему не устаешь удивляться, и, уехав, не устаешь вспоминать и, как только заглянет весна в нашу зиму, не устаешь рваться назад? Разве я одна? Все, кто тут бывает со мной, – рвутся назад, в Эстонию.

Праздник Успения в Успенском женском монастыре в Пюхтице

К нему съезжается духовенство со всей Руси, и толпа народа окружает храм и холмы, его окружающие. Но там, где стечение людей, – там и милиция тесным кольцом напутствует празднику. Все давно привыкли к этому зрелищу, не удивляются.

И вспоминаю случай, бывший в Москве на Пасху, много лет назад: в ту минуту, которой так ждет толпа, заполонившая площадь церковную, когда батюшка откроет, в полночь, двери церкви и возгласит: «Христос воскресе!», сотни голосов готовятся ответить «Воистину воскресе!»... – молодой мужчина нагибается и хватает с земли камень – и в то же мгновение четыре мужских руки хватают его, по свистку подлетает машина, хулигана втаскивают в нее, машина отъезжает, и толпа поглощает заступников священника – «переодетая милиция»... – говорит кто-то.

Подобного ли опасаются эти ряды милиционеров, окружающие пюхтицкую толпу верующих?

И вот, после лет привычного уже зрелища, в какое-то не очень давнее из моих более 20 приездов в монастырь на Успение – глаза не верят себе – ни одного милиционера, стройно выходят из дверей храма Успенского священники и народ, крестный ход спускается по ступеням, хоругви, колокольный звон, церковное пение – старая Русь!.. И это зрелище повторилось уже не раз в эстонском Успенском монастыре, старая Русь зацвела на монастырских дорожках, цветет, как в годы моего детства, моей юности...

Впереди всех идет высокая статная монахиня в черном – Игуменья Варвара, за нею ряды монахинь, черный наряд свой носящие и в такой праздник, а за ними священство в синесеребряных ризах, зажженных солнечным блеском. И волны колокольного звона качают радостный воздух, прославляя и древнерусское пение, и великий праздник Успения – отшествия души Божьей Матери в иной мир, к Сыну. А на иконе, которую несут торжественно-высоко, Христос, стоя в воздухе над телом Своей Матери, держа на руках, у груди Ее душу в обличьи ребенка, как Она держала Его тело младенца на

земле... А крестный ход направляется к Источнику, и толпа заливает всю дорогу. А в трапезной уже расставлены столы, и на ширину после строгого поста монастырь предложит верующим всё, что только может предложить земля в праздник Успения, воскрешая картину старой Руси.

И еще, я не могу вам передать, как любят монахини свою Игуменью Варвару, строгую, добрую, благостную, всем родную мать.

Таллинская художница Ирина Бржеска

Пан Бржеский не любил евреев, нацию, отмеченную Богом в Библии, но еврейка была так прелестна, что гордый пан сделал ей предложение. Она, смеясь, согласилась, и они поженились, и появилась маленькая Ириночка Бржеска. Она несколько не походила на своего отца, гордого пана, она была копия своей матери и веселилась с утра до вечера. А как она рисовала! (Это потому, что она уже становилась художницей...) На всем: на бумаге, на коробках с игрушками, на песке, на воде, но на воде почему-то не получалось. А когда Ириночка выросла, она выбрала палитру из дерева и на ней – густые масляные краски и стала писать портреты тех людей, которые ей нравились, но она писала *al prima* (т.е. без поправок), – писала каждую натуру до тех пор, пока портрет ей понравится. И когда в Таллине, куда привела ее судьба, эстонцы увидели ее первую персональную выставку, они дали ей мастерскую в центре города на площади Свободы. А туда и меня привела к ней судьба, потому что мы подружились с ней в Кясму, и она там и в Таллине написала с меня 24 портрета: и одну, и вдвоем с подругой моей Женей Куниной.

В пору, когда мы сдружились, она жила там зиму и лето. Внучка моя Оля к ней пристрастилась – обоюду! – отчего получился портрет Олечки, поныне висающий на стене ее взрослой квартиры. Неудержимой веселостью и энергией она завоевывала сердца сразу. Невысокая, не полная и не худая, с беспорядочно разбросанными вокруг смуглого лица прядями каштановых волос, она больше походила на еврейку, чем на польку. В прошлом – замужем, оставившая 25-летнюю дочь мужу – чтобы

целиком предаться живописи. Муж не хотел ее искусства в доме, хотел порядка, который она весело отодвигала в сторону, всё дальше, пока не отодвинула дух чуждой ей жизни.

Ее портреты обладали удивительным свойством передавать-выявлять основные, часто и владельцу их маловедомые свойства, и, будучи *al prima*, рождали за собой вторые, и третьи, и четвертые, без счету, пока ее собственная душа не насыщалась душою натуры настолько, что могла перейти к другой. Детей она писала с особенным увлечением, и ее спящие дети так воплощали сон, что гостям хотелось тише ходить возле портрета, чтобы не разбудить. И какая-то из ее выставок показала эстонцам только детей. А с Эстонией она сжилась так крепко еще и по своей способности к языкам – по-эстонски говорила бегло, несмотря на 14 падежей, и понимала язык отлично (французскому выучилась сама). Портреты ее имели шумный успех, и заказы шли неуменно.

А за это время мы все три – Ирина, Женя и я, состарились; не совсем еще, но уже поседели, и Ирина сделала меня седой и только тогда успокоилась. Это было уже на хуторе, доставшемся ей чудом, в трех километрах от Пюхтицкого Успенского монастыря, где она стала жить летом и куда к ней приезжали люди, которые любовались ее работами и хотели, чтобы с них она написала портрет.

У нас, ее друзей, установился порядок – приезжать к ней под Успенье, окунуться в чудотворный монастырский источник. Туда меня не раз на машине из Таллина возил врач-кардиолог и талантливый поэт Алик Левин – его стихи, как крылья ночной птицы, полыхали над всей Эстонией. Внезапная смерть Алика летом прошлого года потрясла всех его друзей. Но когда перечитываешь его стихотворение «Аутодафе», датированное маем 1990-го, то начинаешь верить, что сам он внутренне предчувствовал свой уход.

Аутодафе

Высокому, как говорится, слогу
всенепременно отдавая дань,
мы прожили свой век, и, слава богу,

всем бедным нам сегодня понемногу
понятым стало – дело наше дрянь.

Еще – что это и не наше Дело...
Еще – что мы-то вроде ни при чем...
Что не душа от тела отлетела,
а люди из особого отдела
ее давно свели со стукачом.

Теперь пора в дорогу без оглядки
туда, где нет ни виз, ни паспортов,
и жечь мосты, тогда и взятки гладки,
не нам теперь устраивать порядки,
определять – кто и каких сортов.

Мой Бог, гляди на нас, являя жалость,
яви свой свет на нас издалека.
Как мало утешения осталось,
как будто сердце предынфарктно сжалось
и нет в конце тоннеля огонька...

*Из письма Тамары Левиной о конце земной жизни Александра
Левина.*

Нет больше у нас Саши, у меня дорогого Алика. В ночь с 10-го на 11 июля 1990 г. он умер – внезапно, от нарушения ритма сердца, лежа в своей постели, читая газету и слушая «Свободу». К приезду «скорой помощи» он уже не дышал, и ничего нельзя было сделать. Похороны были 15 июля. Оплакивает его вся Эстония.

Я не могу поверить, что его больше нет. Потеряла с ним всё. На этом и моя жизнь кончена. В последнее время он жил еще более полнокровной жизнью и верил в будущее своей родной Эстонии. На здоровье – ни одной жалобы... Ничто не предвещало такой трагедии...

Дорогая Анастасия Ивановна! «Моя Эстония» лежит на его столе. 8-го июля мы собирались к Вам, в Кясму, приехать, так как у Алика были вопросы и поправки – он хотел многое

уточнить с Вами. Но из-за отсутствия бензина поездка сорвалась, поэтому Алик думал, что мы поедем на автобусе 14 или 15 июля...

Попадая к Ирине, чего мы только не отвеживали: грибы в сметане, яичницу с сыром, все плоды своего огорода, мед и прочее. На ночь она укладывала нас в большой комнате, зажигала лампадку и уходила к себе. А утром мы шли пешком, по лесу и полю на торжественную монастырскую службу.

Но однажды к ней на хутор в ее отсутствие пришли воры, – сорвали височий замок и украли иконы, перед которыми так празднично и уютно горела ночами лампадка. Верно рассчитав время, когда она поет во храме (у нее был чудный алыт), да и псаломщицей она работала.

«Ириночка, – сказала я ей, – Вы живете совсем одна в поле, Вы должны завести собаку!» На что Ирина ответила мне так: «Если я заведу собаку, я буду надеяться на собаку, а *так* – я надеюсь на Бога...» А потом настали болезни, и Ириночка ходила на костылях, и в наш приезд к ней она встретила нас на пороге – словами: «Я знала, что кто-то придет! У меня испортилось электричество, и я помолилась, чтобы кто-то пришел». А когда мои спутники электричество починили и мы пили чай, кто-то из нас выразил сочувствие ее бедственному положению с болезнью ног. Ирина Бржеска ответила бодро: «Это ноги сдали, а портреты я же пишу руками...» И жизнь продолжается дальше.

Однажды Ирина повезла меня и мою спутницу – в монастырь из Таллина; путь длился четыре часа. Я сидела левой щекой у замерзшего окна автобуса – и простудилась (дело было на Рождество). В монастырской гостинице нам дали теплую комнату, с подушками и стегаными одеялами, сшитыми из цветных треугольников и квадратиков – из народной русской мозаики. По протекции художницы, дружившей с Игуменьей, матушкой Варварой, нас пригласили на Рождественский обед. Гостей было много и в комнатах, и на лестничной площадке. Еда была проста и одновременно – сказочна. Цвел монастырский квас. Вокруг горело несметное число украшенных елок – это была, отраженная в зеркалах,

одна елка, рождественская. К Игуменье после обеда я подошла, прося ее благословения.

– Матушка, разрешите ли Вы мне зимой окунуться? Мне идет 80-й год.

– С верой – конечно! – отвечала Игуменья, – наши женщины каждый день купаются – смотрите: седеет Вас, – а какие розовые...

Я обрадовалась и пошла в купальню с обеими спутницами – хотя они окунаться и не собирались. Стоя над черной водой, уже раздетая, я себя спросила:

– Ведь ты простужена? И зимой окунаешься – впервые... И матушке ты этого не сказала...

И отвечала себе:

– Но ты веришь, что вода эта не простая?

И ответила: «Верю...»

– Тогда в чем же дело? – Лезь...

Я стала спускаться по лесенке. Нет, не холоднее была вода, чем летом! Думаю, что показалась даже теплее из-за контраста, летом в жару большего. Но что весело было мне, когда я вылезла из воды, три раза во имя Отца и Сына и Св. Духа окунувшись, это то, что не было и следа от простуды: точно вынули из меня занозу – и всё.

Годы шли, все мы стали болеть. Хельги Юрьевна – умная, добрая, несравненный друг, была, должно быть, на год моложе меня и больше, чем я, болела; и в одно из лет Олав Маран не смог меня проводить в гости к моей эстонской подруге, как он делал это последние лета, когда уже не приезжала в свой норвежский домик семья Тынсон, уже болел Арво, – все оставались в Таллине. Но жива, слава богу, дочь, талантливая писательница-музыковед, и жив ее муж Арво Яама, и почта привозит от них письма, и пересылает им наши...

Воспоминания дочери о последних днях Ирины Бржеска

Последние две недели своей жизни она прожила в Пюхтицком монастыре. Игуменья Варвара дала ей квартирку из двух комнат, послушницу и монашку – операционную сестру для ухода. Мама была довольно бодрая, иногда

сидела. Ходить она не могла, как врачи утверждали, – по причине психологической – страх болей, страх падения (что нередко бывает в этом возрасте после костных операций). Однако она надеялась расходиться, и мы надеялись. Причиной смерти явилась тромбоэмболия сосудов мозга – как результат малой подвижности. Она скончалась на руках отца Сергия, который был ей близок. Она много раз его писала. Он сказал, что смерть ее была не тяжелой.

Далее, Игуменья Варвара сделала великий поминальный праздник по ней. Ее сразу поставили в Собор, читали всю ночь (умерла она 4 августа днем), на другой день служили поминальную службу по ней и покойному патриарху Пимену, читали всю ночь. В понедельник 6-го отслужили удивительную торжественную панихиду под райское пение. Затем усыпали хвоей всю дорожку от храма до кладбища, Игуменья приказала срезать лучшие розы, хор монахинь и сама Варвара проводили ее и пели до конца похорон. Игуменья повторяла: «Вы чувствуете, что нет тяжести? Вы чувствуете, что душа ее ликует?» Ее похоронили на почетном месте, рядом с матерью Силуаной, любимой ею. Мать Варвара сказала: «Ее вела Богородица». Перед операцией 25-го февраля она сказала мне, что «в случае чего» похоронить ее в Пюхтице.

Ее могилка первая направо за часовенкой у входа на кладбище.

Эпilog

Об эстонском художнике Олаве Маране

*«Натура мертвая»! Какое странное
Название дано тому, что будет жить,
Переживет художника, века и страны,
И в вечность тянет огненную нить.*

А. Ц.

Знаю этого художника и человека много лет и хочу сказать о нем свое слово – выразить то, что давно уже звучит во мне. Что я прежде всего могу сказать об Олаве Маране? Совершенно

простую вещь: что он, как никто из всех, кого я видела в моей долгой жизни (а мне уже 95 лет, и я была в картинных галереях Германии, Франции и Италии), утверждает и освящает то, что преданно следует за человеком по земле; то, что так часто отбрасывает от себя презрительным жестом средний человек (меня себя сверхчеловеком): быт нашей жизни, служащий нам в наших земных потребностях, помогая нам от себя отрываться – ввысь.

Выбираю слова: слово «старинное» о живописи Марана падает само собой (и это слово с улыбкой напоминает нам, что и оно могло зваться в свое время новаторством, а затем, как и человек, старея, отошло за предел возраста, стало в отношении сегодняшнего дня «старинным»). Тут нужны другие слова.

Быт в натюрмортах Марана перерос понятие старины и шагает тихим шагом к понятию вневременного, вечного – отсюда удивительный покой этих картин. И еще одно чувство в нас зарождается перед полотнами художника: одушевленность всего, что он пишет; священность, спущенная к нам в них, их первозданное дыхание, чистота первого дня сотворения мира. И тогда понимаем мы всю нищету, всю ошибочность термина *nature morte* – мертвая природа, ибо многое можно сказать об изображенном, вернее, воплощенном Олавом Мараном, вместо покоя мертвости – тут дышит именно жизнь, покой жизни в этой живой натуре.

Цветы Олава Марана. Его букеты! Трудно о них сказать... Как добивается он стереоскопичности этих волшебных букетов? Тайна художника. Мы стоим перед чудом: лепестки отделены друг от друга – воздухом; передние – словно совсем возле нас; задние отодвинуты осязательным пространством. И тени живут меж них. Взгляд прикован восхитившимся изумлением: миг – и лепестки встрепенутся! Чувство, что каждый цветок – живой, что мы присутствуем при некоем чуде воплощения, и чувство это не покидает нас и после того, как насильно пришлось отвести глаза от картины: зовут, надо идти, но словно уже хлебнул живой воды, и тебе легко, светло, празднично. И все еще видишь – оком памяти – тот луч солнца, что скользил где-то позади букета астр, лишь задев отдельные лепестки, ту тень, которая поглощала уходящие

вбок стебли с драгоценной ношей этой густоты, этой легкости, неповторимых оттенков колорита, ту единственность зрелища, словно первое воспоминание детства, которое молча подарил художник. Он и сам будто нехотя сменяет свои «экспонаты», ведь это страдание: оторваться от астр, перейти к тюльпанам, от тюльпанов к розам, оторваться от благоухания роз, розовых, бледно-янтарных, но уже пышные белые пионы берут нас в плен...

И вот натюрморт: темный фон, слева чуть светлей, чем справа. Над этим миром, этим спокойствием вековой домашности, озаренной светом, светло-желтый – жбан? ковш? белый внутри, чуть отступя, – медная ступка, двухручная, с пестиком, той же тусклой меди: возле нее пустая яичная скорлупа. Еще две скорлупки яичные, пустотой зияют кротко, выполнив свой яичный долг. В глубине – налитый водою графин, мягко блестящий, чуть отсвечивая желтизной жбана. Между предметов – тени, делающие всё выпуклым. Тишина...

Как передал художник в своих натюрмортах удивительное чувство тишины?

И вот неожиданно оказались рядом на этом пути одушевления предметов быта и растений Олав Маран и сказочник Метерлинк. И вправду – разве не сказочен тихий дом на краю Таллина, где живет творец этих картин? Разве не сказочна художница, жена его, Сильвия, из-под чьей руки выходят тончайшие графические листы, тонкопись украшенных, перерожденных букв?

Портрет Сильвии. Прозрачность, хрупкость, неизъяснимое очарование этого женского облика, густота волос, окутавших это лицо, улыбчивая серьезность взгляда глаз, одновременно темных и светлых... Рядом со статным, мужественным Олавом не могла встать иная, кроме Сильвии. И не мог защитить ее от всех трудностей жизни иной, кроме Олава. Да, библейский рассказ о том, как Бог создал подругу Адаму из его собственного ребра... Но, если Маран может быть сравнен с Адамом, ускользнула от сходства с Евой Сильвия, с Евой, увы, искусившейся... И вот на портрете воплощена Сильвия – и Сильвия, взглянув, говорит: «Жаль, что я не такая, но я хотела бы такой быть!»

...А за окном дома художника о чем-то шепчут ветви: уходит в бесконечную высь береза и, прильнув к окну, видишь, что она обнимает небо, а гуща ветвей превосходит обычное дерево – береза ждет кисти живописца... Та Лазурь, в которой утонуло дерево Марана, которая небесным шатром зовет людей к миру, освещает их земной путь. До последнего дня маленькой вечности на земле человека, до Последнего Дня.

Ответ Сильвии о портрете доказал правоту Олава. Ту великую скромность, которая обитает в их доме, с которой едут его картины на выставку. С которой он, прочтя эти мои слова, улыбнется, не согласится с ними.

Морские пейзажи. Один из них висит в моей квартире: широкая полоса песка, водная бесконечность с тусклыми водорослями и узкая полоса серо-сиреневатого моря, у берега шумящего длинной волной; отчетлива черта горизонта, поднявшая над собой очень бледно-серое небо. Слышно, как звенит тишина. Глядя на эту картину, вспоминаю ту, далекую, первую встречу с морем Италии. Далеко и плоско, крошечно зажатая между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевой узенькая полоска. Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина.

– Я могу писать природу только Эстонии, – сказал мне Маран на предложение поехать к другому, южному морю, попробовать себя на Коктебеле. – Я мог бы им любоваться. Но писать бы я его не мог... Писать надо не с любованием, а с любовью. А любить можно только родное, близкое.

И опять натюрморты, бессловесный разговор вещей. Хлеб и яйца. Маленькая тяжесть яиц ощущается как драгоценная полнота, ненарушенность, таинственная в природе цельность, через всю скромность их назначения. Низкая коричневая тяжелая миска рядом с мерцающей медью пирожницы с лунками для пирожков, зовущий к еде свежий срез рижского хлеба. Как свидетель всего этого – молчание высокого медного кувшина, может быть, страждущего по воде. И все эти светло- и темно-коричневые оттенки зажжены блеском белой эмалированной кружки. Ей откликается, как звук в оркестре, белая скатерть. Фон? Серо-голубоватый.

Амариллисы с серебряным сосудом. Что за грация! Это внезапный звук флейты, яркий блеск стеклянного кувшина. Цветы, сходные с лилией, неожиданно алые; на каждом лепестке – белая полоса! И внизу – матовый блеск из серебра сделанной корзиночки для сахара.

А напоследок сказала бы по-французски: *le comble du bonheur* – верх счастья. Нежданность! Поглядите! Над крышами встала луна. Вплыла и – стала. Полнолуние. Золотое – неверно сказать – рыжее, ибо тусклое. Но странно: снег на крышах не мерцает в его свете. Это не белизна, это почти синева... Почему синева, когда луна рыжая? Она стоит в небе выше своего отсвета, безучастно, беззвучно. Если в некоторых натюрмортах Марана был музыкальный отзвук – тут полнейший покой, тишина, с которой мир вещей, природа глядит на нас, беззвучно повествуя о чем-то самом важном, о том, что придет после этой жизни, о Вечности.

P.S. Политика – не моя сфера. И несмотря на то, что она прокатилась по моему хребту так активно своим колесом (аресты, допросы, тюрьмы, лагерь и ссылка), она все-таки не стала моей сферой. Вероятно потому, что я – верующий человек, т.е. верю в Иную жизнь, а *этой* – только частично внимаю. Несмотря на все это я, полюбив Эстонию и желая ей того же, чего себе – Свободы, я за все 24 лета моих *ни разу не написала* в адресе эстонским друзьям «Эстонская ССР» – просто не поднималась рука! Но всегда – вольно и крупно «Эстония»... Вот мой маленький политический акт.

10 июля 1990 г.

Кясмү

Анастасия Цветаева

на 96-м году жизни



моя голландия

Голландия – сказочная страна.

В ней всё иначе, чем в других странах – я во многих была за долгую мою жизнь. Я бывала в Италии, Швейцарии, Германии, во Франции – юность, зрелость и старость – и вот в без двух месяцев 98-ми увидела Голландию. И именно о ней – говорю: сказочная. Так на что же она похожа? Она похожа на детскую книжку с картинками. Ожившая – и живет себе, себе и другим – на радость.

Прилетев днем и проезжая по улицам Амстердама, что я увидела? Ни одного белого дома, только цветные – с белыми окнами. Все оттенки от темно-коричневого до светло-серого, чередуя песочный цвет, кирпичный и темно-серый, и снова – коричневый – палитра художника. Тогда я и вспомнила детские книжки с домами из пряников, окнами из леденцов. Отдохнув в гостинице, я с моим спутником, многолетним другом и врачом (без него я бы не решилась лететь в Голландию), вышли в вечерний час на улицы Амстердама – мы увидели приглушенный блеск реки Амстел – судоходной, широкой, отражавшей огни берегов, слышали с лодок и пароходов, да и с берегов тоже – песни.

Три больших канала, один маленький, баржи, на которых живут – было совсем незнакомое чувство – *раскованности*; веселья народа, свободы и ощущения *дома* в своей стране (и я сказала: «В этой стране не знали коммунизма, всё было – естественно!»). Катались на лодках, пели, а ночь из еще светлой делалась темной, и город сказочно отражался в воде, всё еще веселясь и не утихая. И мы бродили, дышали и любовались, гася усталость пути об эту сверкающую реку, лившую в ночь песни, как свои струи.

Часы в Голландии на два вперед против Москвы. И когда мы возвращались, высоко на башне фосфорически светящиеся в темноте стрелки показывали час ночи (по-московски – три).

Ничего подобного я не испытала ни в Италии – даже в Венеции! – ни в Германии с ее сосновыми лесами и легендами. Там была – драгоценная литература, история. А в Голландии – драгоценная жизнь, Богом подаренная в таком музыкальном тоне...

Мы должны были вылететь из Москвы в среду, 24-го июня – в этот день начинала работать книжная ярмарка писательниц-женщин, куда меня пригласили – но не были готовы наши заграничные паспорта. Четверг ушел на усиленные сборы, а в пятницу 26-го машина издательства «Отечество» отвезла нас на аэродром Шереметьево.

За свою долгую жизнь я летала лишь однажды – в 1951 году. Я была пожизненно сослана в Сибирь. Как-то, из-за тяжелого бревна, поднятого, что-то случилось с сетчаткой – стало пропадать зрение. Удивительно, но начальство разрешило мне лететь в глазную больницу. В двухместный, чуть больше лодки, самолет, помимо пилота втиснулись провожатый, я и мешок с письмами. А назад тоже летели на двухместном, санитарном.

Но тогда мне было 56. И полет занимал меньше часа. А сейчас... Голландия?

...Я решила просить Юру. Если он сможет лететь со мной – работа в отделении реанимации, сможет ли взять – отпуск? Несколько лет назад мы с Юрой ездили в Коктебель на съемки фильма о моей сестре Марине в мастерской Максимилиана Волошина. Сутки поездом – туда, три дня там, сутки – назад. «Зимний старческий Коктебель» – история этого путешествия уже напечатана в «Юности» в 1989 году.

– Юра, – сказала я Юрию Ильичу Гурфинкелю, – если б даже мне пришлось *умереть* в пути, – я знаю, что Вы бы и это мне облегчили, как никто. Наше первое путешествие уже напечатано в журнале «Юность» – «Зимний старческий Коктебель», а теперь я напишу о Голландии. Превозмогу страх полета. С Вами – не побоюсь!

Юра утешил меня:

– Самолет голландский, по последнему слову техники, комфортабельный...

И мы собрались.

Большой многолюдный, многоголосый зал Шереметьевского аэропорта. На таможне меня попросили показать медную

иконку – подарок мне на 90-летие. Вписывая ее в таможенную декларацию, молодой, одетый в форму человек с интересом поглядывал на меня, словно не веря, что в таком возрасте можно еще куда-то хотеть летать.

Еще одна проверка – на оружие, и вот, по наклонному темноватому коридору прямо из зала – ноги сами тебя несут – в самолет. Открытая дверь, милые лица стюардесс.

– Осторожно, здесь порожек, – сказал Юра, поддерживая меня под руку. – Переступите его, и Вы – в Голландии.

Сам полет, вопреки моим опасениям, почти не ощущался. Стремительный разбег – и мы в воздухе. Облака, небо ярко-голубое. На какой-то момент под крылом всплыла земля, поля, маленькие дома и опять – небо. Когда и облака, и земля под ними оказались далеко внизу, из спинки стоящего впереди кресла выдвинулся небольшой столик, а над ним, точно по мановению волшебной палочки, появился сервированный поднос. После скромных московских обедов этот поражал деликатесами. Полукопченый лосось, камамбер, салат, маслины без косточек. В отдельном фарфоровом судке тушеная морковь и зеленый горошек к мясу (не для меня), десерт – взбитые сливки со свежей клубникой. Всё это на высоте 11000 метров! Начало нашего путешествия отпраздновали, выпив по глотку поданного нам французского вина.

Три часа продолжался полет. Предупредительные, ласковые к нам стюардессы сделали их совершенно незаметными. А я рассказывала Юре о том давнем – 40 лет назад – полете в Сибири, мы говорили о моем отце, его Музее. Уж не знаю почему, мне вспомнились, – и прочла их Юре, – любимые нашей с Мариной матерью стихи Алексея Константиновича Толстого – что-то вроде глотка поэтического вина в облаках:

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтесь натиску нового времени!
Мир отрезвился, прошли увлечения –
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»

Други, не верьте! Всё та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!
Правда всё та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Смело гребите, во имя прекрасного,
Против течения!..

А затем самолет пошел на снижение, ощутились толчки, – колеса коснулись земли – и мы оказались в удивительной стране.

Чудеса начались сразу же. Позаботилась об этом все та же KLM, самолетная компания (Королевская компания воздухоплавания), везшая нас на книжную ярмарку. Зная, что в самолете очень пожилой человек, они сообщили об этом по радио, и у двери самолета нас встретила молодая женщина в голубой форме и проводила к маленькому электрическому автомобилику. Она указала мне на место рядом с собой – она правила, Юра сел сзади, и мы плавно и быстро двинулись внутри огромного здания аэровокзала, лавируя между пассажирами. Она произносила какое-то короткое слово, и дорогу уступали. Ощущение было необычайное. Сошли мы у того места, где нас встречала наша знакомая голландка Таня Дас и где выдавали багаж. Оттуда на такси проехали до гостиницы De goede leeuw – «Красный лев» в самом центре Амстердама.

Я сказала Юре:

– Ваша фамилия в переводе означает «Гур» – лев, а «финкель» – измененное немецкое *funkel* – полахать. Чудное л ь в и н о е совпадение. (Любопытно, что «лев» по-голландски и по-русски звучат одинаково.)

Прекрасный букет роз и лилий ожидал нас в номере – подарок строителей ярмарки. Фрукты в вазе, казалось, увеличены лупой: виноград почти со сливу, слива – с яблоко, нежно-желтая гондола банана, персики.

Наутро первоклассный завтрак – в ресторане гостиницы – а затем Таня Дас (откуда это русское имя у голландской

девушки?) и ее подруга (тоже Татьяна) – в прошлом году они приезжали в Москву – повели нас в церковь. По ступенькам, вверх, на стене табличка с надписью «Русская православная зарубежная церковь». Молодой темноволосый священник служит литургию. Прислуживали мальчишки-подростки. Обычно в России после крещения, например, священника приглашают за стол». А тут, в Голландии, вышло наоборот: после службы нас пригласил к чаю священник.

На хорошем русском языке (изучал в Париже) спросил о моих первых впечатлениях. На мое восхищение «раскованностью» голландцев, ответил, что, к сожалению, обратная сторона ее – г р е х. «О, конечно...»

Этот священник служит в Амстердаме всего один раз в месяц. Я обещала ему передать мою книжку «О чудесах...» (но затем решила, что лучше ему не ее, а те же рассказы, но напечатанные в Латвии отцом Виктором в христианском журнале «Христианос» (Рига, 1991 г. Фонд имени Александра Меня), где еще много другого, а также писания священников. Таня обещала передать.

За чаем познакомились с княгиней Марией Николаевной Львовой, немолодой, красивой, с трагическими глазами женщиной. Она рассказала нам, что родилась и выросла в эмиграции. Отец ее – Николай Львов – профессор истории искусств. Семья их много претерпела.

– Мы никогда не оставляли русский язык, – говорила она. – Ведь мы никогда не теряли надежды увидеть Родину. – Это с застенчивой улыбкой.

Она собирается приехать в Россию, но не знаю, совпадет ли нынешняя Россия, какую она увидит, с той, что она носит в своем сердце.

Мария Николаевна на своей машине, которую она сама вела, отвезла нас на книжную ярмарку.

Занимающее целый квартал здание со стеклянным потолком. Очень много посетителей. Чувствовалось, что это событие в культурной жизни города. О ярмарке постоянно упоминают газеты, по радио и телевидению выступают писательницы-женщины. Мое выступление назначено на завтра, воскресенье.

А пока мы ходим вдоль длинных рядов выставленных здесь книг. Английские, голландские, французские, испанские, немецкие – такое множество языков... О чем эти книги? Никогда не узнать. Горько мне это сознавать еще и потому, что последние три года по зрению не могу читать никаких, даже русских.

И вдруг, среди книжного моря, – дорогое лицо моей сестры – Марины с темно-лиловой обложки. Книга ее стихов, переведенная на голландский нашими Татьянами и двумя другими переводчицами, о которых я еще расскажу.

Вечер мы провели в доме Марии Николаевны Львовой. С трудом подымалась я по крутым лестницам на третий этаж дома, где она живет. (В Амстердаме в частных домах нет лифтов.) Как объяснила Мария Николаевна, жившим здесь прежде морякам такие лестницы не были страшны – напоминают отвесные, корабельные. Мы ужинали на застекленной террасе (балконе?), перед нами были черепичные крыши, зеленый двор и медленно гаснущее небо. О чем мы говорили за столом? Об отце Марии Николаевны, который 17-и лет вынужденно покинул Родину. Я сказала: «Вот поэтому Вам и надо в память об отце посетить Россию».

Мы долго говорили, вспоминали прошлое. Я рассказала, что – в 20 лет написала книгу, гордо названную «Королевские размышления», в которой отрицала существование Бога. Я хотела уложить его в «свой лоб». Он туда не укладывался, и я объявила его несуществующим. Все мысли и о вере в Бога и неверии в него самостоятельно существуют в Космосе, и у каждого возраста человека есть свой Мефистофель, который ему подсказывает эти мысли на его уровне. Человек ими гордится, как я гордилась своей книгой. Теперь они мне кажутся смешны. А *звучат* для меня писания Святых Отцов, их поучения.

Небо за окном стало совсем синим, и мне показалось, что мы в Москве и Мария Николаевна у нас в гостях.

Мое выступление было назначено на 12 часов дня. Удивило и тронуло то, что так много людей собралось в этом большом зале. Я поднялась на высокую сцену и села у стола перед микрофоном.

– До революции, которая нас с Мариной разъединила, она никогда не читала перед публикой одна, – говорила я, отвечая на вопрос о манере чтения стихов Мариной, а переводчица переводила на голландский. – У нас были одинаковые голоса. Сейчас мне почти 98 лет. От этого голоса мало что осталось – старческий голос. У нас были голоса так похожи по интонации, что старшая сестра из другой комнаты не отличала, кто говорит. И поэтому мы выступали вдвоем и читали стихи в унисон...

Меня попросили прочитать стихи Марины. Я начала с этих:

В огромном городе моем – ночь.
Из дома сонного иду – прочь,
И люди думают: жена, дочь.
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет путь,
И где-то музыка в окне – чуть.
Ах, нынче ветру до зари – дуть
Сквозь стенки тонкие груди – в грудь.

Есть черный тополь, и в окне – свет,
И звон на башне, и в руке – цвет,
И шаг вот этот – никому вслед,
И тень вот эта, а меня – нет.

Огни, как нити золотых бус,
Ночного листика во рту – вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам – снюсь.

Затем прочитала:

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничьим,
В медленных жилах еще занывают стрелы,
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, – и от темной ночи
Только одно темнеет у нас – глаза.

Я люблю эти стихи. С удовольствием читаю их, сама вслушиваюсь... Оба написаны в июле 1916 года – 76 лет назад. Мне кажется, будто Марина заглядывает в сегодняшний день из того далекого прошлого. Следующие два – о смерти:

«Уж сколько их упало в эту бездну,

– продолжала я читать, –

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.

И еще одно стихотворение из этого цикла с удивительным для юности ощущением трагизма – может быть, от переполненности жизнью?

Настанет день – печальный, говорят!
Отцарствуют, оплачут, отгорят,
– Остужены чужими пятаками –
Мои глаза, подвижные как пламя.

.....
По улицам оставленной Москвы
Поеду я, и побредете – вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, –

И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.

Стихотворение включено в вышедший в Амстердаме сборник стихов и прозы Марины. Пока переводчица читала его по-голландски, я вспоминала свою поэму «Близнецы», написанную мной по-английски, – на языке, понятном залу.

Twins

There was a Polish sailor. Once
He came to England's shore,
And as his fairy story runs,
He left it nevermore.

Time went. He changed the mast for the desk
He wrote romantic stories
He underwent the strictest test
His English style is glorious.

But one of his books, that one called "The Typhoon"
Is, I believe, sublime.
Not Hemingway with his "Afternoon", –
Conrad's book glorifies our Time.

The night is pitch-dark. No stars and no moon,
The prenatal chaos is raging,
The sound of the coming typhoon afar,
Waves like mountains. The ship in danger.

Billows over the desk. Yes, it is the Typhoon,
Sailors wounded, half dead and washed down
On the captains bridge quite alone. Very soon
He will be in the fairy town of the sea.

There's no future. No hope. It is death.
Blind and beaten by waves, mad exhaustion, –

Conrad's captain will fight till the last of his breath,
Or he'll master the Pacific Ocean

I shall give all the dialogues of Richard the Third
Their brilliancy almost unmatched
For this man in the sea. For his soul like a bird
Soaring up by the waves untouched

Joseph Conrad, God bless thy unfatamable tales
And England, thy second land
Will be heir of thy books, while thy soul soars and sails
Over sea storms and desert sands.

Наизусть прочитала только первую часть, посвященную Джозефу Конраду, вторую, посвященную Александру Грину, наизусть не помню.

Когда я закончила, зал долго аплодировал стоя. Тщеславием я не страдаю, была только рада, что поэма дошла до слушателя. Был ли ее поэтический перевод второй части на русский? Был. Я сделала его тогда же, когда написала английский текст. Вот несколько строк.

Приплыл из Польши раз матрос
К английским берегам.
И, говорят, как в землю врос,
Навек остался там...

Остальное – увы! – в тот час забылось.

После чтения стихов задавали вопросы о наших с Мариной родителях.

Те, кто читал мои «Воспоминания», знают об этом, сказала я по-английски и по-русски продолжала:

– Марина и я родились в Москве, в старинном доме со старинным укладом. Наш отец, профессор, преподавал историю изящных искусств в университете, на высших женских курсах и, кроме того, отдавал все силы созданию Музея изящных искусств, который, неизвестно почему, до сих пор называется музеем имени А.С. Пушкина...

Воспитанием нашим, в основном, занималась наша мать. Чрезвычайно, со всех сторон талантливый человек – великолепный музыкант, прекрасный художник. Знала многие европейские языки, переводила с них. При всем этом находила время заниматься нашим воспитанием. По складу души она была романтик. В детстве читала нам сказки, позднее – легенды, учила языкам. Тридцати семи лет умерла от туберкулеза.

Меня спросили – «Как вы себя чувствовали после революции, продолжали вы писать?»

Я отвечала, что писала и после революции, но долго не печаталась. А в 1937 году была арестована и на 10 лет отправлена в лагерь, без суда, как брали многих из интеллигенции. 10 лет была на Дальнем Востоке в общих бараках...

– Все эти годы была ли у вас какая-либо связь с вашей сестрой Мариной?

– Мы с ней виделись в последний раз в 1927 году, когда Максим Горький пригласил меня в гости в Сорренто. Туда Марина прислала мне французскую визу, и я поехала в Париж. Это было последнее наше свидание.

– Когда вы узнали о смерти сестры?

– Я догадывалась – что-то случилось. Я чувствовала. Я даже видела сон... Но я надеялась, что это фантазии, что она жива – досижу срок, и мы увидимся. А в 1943 году до меня дошла весть, что она покончила с собой. Потом мне прислали телеграмму...

– Какова была Россия, когда вы вернулись из лагеря, – 10 лет – немалый срок.

– А я не вернулась. Только полтора года пожила у моего сына, который тоже был в лагере, далеко от меня – но к этому времени был освобожден. После чего меня снова арестовали и повезли на вечную ссылку в Сибирь – через пять пересыльных тюрем. Четыре с половиной месяца этапом – поездками... Там, в селе Пихтовка, я прожила семь лет. Об этом книга – «Моя Сибирь». После смерти Сталина нас стали освобождать, а затем реабилитировать. И только после реабилитации я смогла вернуться в Москву.

Вопросы продолжались.

– Можете ли вы рассказать, как вы отнеслись к самоубийству вашей сестры Марины? Какие, до вашему мнению, были причины?

– До самого последнего времени я была уверена, что причина одна. Ее шестнадцатилетний сын. Дочь ее была похожа на отца, Эфрона, а сын Георгий – она звала его Мур, как кота, – похож был на Цветаевых характером, всем. Марина его обожала. В шестнадцать лет он был совсем взрослый человек. В Москве, которую им с началом войны пришлось покинуть, шла эвакуация, у него был свой круг. Когда они приехали в Елабугу, он ей заявил, что учиться здесь, в этой дыре, как он выразился, он не будет. И даже прозвучали такие жестокие слова: «Кого-то из нас вынесут отсюда вперед ногами!», – то есть пригрозил ей самоубийством. И тогда она решила, что должна поспешить это сделать сама, чтобы он жил. Так я думала. И это, несомненно, одна из причин и, может быть, главная. А в последнее время стало известно, что в Елабуге, где ей не давали работы, жилья, всячески притесняли, ее пригласили в НКВД и предложили сотрудничать. Тогда она, понимая, что, если откажется, поставит сына в трудное положение, а согласиться – невозможно – в ее последнем письме (посмертном) была такая загадочная фраза: «Я попала в тупик» – после этого и произошло самоубийство.

Слушая перевод моих ответов на голландский язык, я с привычной горечью думала о судьбе Марины, ее последних годах. В детстве, юности мы были связаны друг с другом. Как писала Марина в одном из своих стихотворений:

Мы быстры и наготове,
Мы остры.
В каждом жесте, в каждом взгляде,
в каждом слове –
Две сестры.

Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска –
Два клинка.

Прочь, гумно и бремя хлеба,
И волю!
Мы – натянутые в небо
Две стрелы!

Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы – из Вильяма Шекспира
Два стиха.

– Мы вышли замуж в один год. Марине было 19, мне – 17. А после 1927 года мы не виделись, были отрезаны друг от друга. Собираясь возвратиться в Россию, Марина даже представить не могла, что я в лагере. Это скрыли от нее ее муж и дочь, которые уже были здесь, опасаясь, что она не поедет – знала, что политикой я никогда не займусь, значит, попала в заключение – зря.

После выступления меня окружили, протягивали мои и Маринины книги, книги – с просьбой подписать их. Один подошедший ко мне юноша – фамилия его Кунин, Дмитрий, запомнился. Он рассказал, что, когда служил в армии под Москвой, доведен был до отчаяния – даже до мысли о самоубийстве. Случайно у него оказалась книга «Моя Сибирь». Когда он прочел, как пожилая женщина городской культуры, живя в ссылке, выжила, не впала в отчаяние, понял, что и он сумеет все перенести. Уезжая в Голландию учиться, он взял эту книгу с собой. И вот здесь на книжной ярмарке мы встретились, и я ему эту книгу подписала. В руках у него был большой букет полевых цветов, напомнивших мне Россию, и я радостно приняла его.

Нежданность этой встречи и трагизм, им преодоленный из-за моей книги, что-то здесь было родное.

На следующий день из гостиницы мы переехали в дом двух молодых женщин (их зовут Татьянами), – я уже упоминала о них. В прошлом году пришли они ко мне в гости в Москве, и мы подружились. Им обоим немного за тридцать. Объединяет

их еще и интерес к русской поэзии. Обе – переводчицы. Участвовали в переводе на голландский язык книги стихов моей сестры Марины, которую мне подарили. Они снимают две большие комнаты. На потолке одной из них – овал. В углах старинные лепные изображения четырех последних королей Голландии. Нынешняя – Беатриса – живет в королевском дворце. Мне подарили фотографию королевской семьи. Я ожидала увидеть сказочные мантии, украшенные горностаями, а увидела на групповом портрете очень демократичного вида семью в обычной одежде. Впрочем – нам сказали – в дни торжественных приемов королева выходит к народу в самом деле в мантии и короне. Однако управляет страной, как и в Англии – при королеве – парламент.

Трогательной заботой и вниманием окружили нас молодые хозяйки.

Каждый день на столе разнообразие фруктов. Хлеб – о нем нужно сказать особо. Голландский хлеб мало похож на русский, совсем другого печения – от легко гнущегося до сухарного треска, хрупких и тонких лепешек – полусыр, полухлеб – круглой пластинкой, с орехами, изюмом, плотный, но несколько на русские куличи не похожий. Я могла бы тут одним им питаться. Но очень белого – не видела, скорее – серый, как часто в Швейцарии.

Обед – поздний: суп в широких чашках, навстречу вегетарианству моему – салаты, помидоры, бобы, еще не называемая по-русски, изысканность разнообразия, и – голландская селедка необыкновенно нежного вкуса. Говорят, бочонок такой селедки в начале рыболовецкого сезона рыбаки в знак уважения преподносят в дар королеве. Царский подарок!

Татьяны с искренней готовностью стараются показать каждую дорогую им черточку Голландии. Только мне, к сожалению, далеко не всё по силам.

Сегодня мы отдыхали после двух предыдущих, насыщенных выступлением, переездом из гостиницы, дней.

Парк неподалеку от дома. Жара июльского дня несколько ослаблена прохладой доносящейся от реки Амстел (давшей название городу; «дам» – сокращение от дамбы), от парковых прудов. Утка с утятами. Аист – этих утят ворующий.

Возвращаемся малолюдной в это время дня улицей, состоящей из домов, поставленных, как и большинство в Амстердаме, друг к другу впритык. А внутренняя часть домов выходит в такие же, во весь квартал засаженные деревьями, внутренние дворы. Тоже есть в этом какое-то волшебство!

Вечером по радио передают беседу со мной голландского журналиста. Она состоялась на второй мой день в Голландии.

Слушаю (с наушниками), а две кошки, любимицы хозяек, ходят вокруг меня. Ошейнички с адресом не позволяют им потеряться: заблудятся – доставят домой.

Молодой журналист представлял себе и хотел представить слушателям дело так, будто я живу призраками прошлого, а не в яви. Я в самом деле за долгую мою жизнь дружила со многими людьми, в том числе и с такими замечательными, как Максимилиан Волошин, Василий Розанов, Осип Мандельштам, Борис Пастернак... Часто вспоминаю их, думаю о них, но они для меня не призраки. Нет, не могу с ним согласиться!

Сегодня наконец стала день за днем записывать свои впечатления. Нельзя упускать уходящую жизнь. Как сказала я Юре, буду пытаться поймать ее за хвост. А потом я издам книгу с тремя повестями: «Моя Сибирь» – годы ссылки, «Моя Эстония», куда я ездила 25 лет, пока она не отделилась, и «Моя Голландия» – самая короткая, но самая, может быть, сказочная из всех трех.

Завтра долгожданный Рембрандт. Мария Николаевна Львова только что позвонила и пообещала отвезти нас на своем автомобиле в музей. Молодая, тигрового окраса кошка пружинисто взметнулась на стол, где я пишу сейчас свой дневник, с интересом следит за движущейся по бумаге ручкой. При всей моей любви к животным, на ночь не забыть выпроводить ее, голубушку – боюсь, нечаянно царапнет глаз.

1 июля, среда

Огромный, чуть ли не как Лувр в Париже, Reichmuseum – совсем не похожий на другие музеи: через арку внутри ездят

на велосипедах и мотоциклах, занимает почти целый квартал. «Ночной дозор» Рембрандта – знаменитая картина, которую меня в Москве просили посмотреть друзья и им рассказать...

Но, прежде чем оказаться у картины, – о способе, которым я прошла по этим бесчисленным залам – он необычаен: я не шла вовсе (и не одолела бы), меня, как старых людей, инвалидов, больных, везли – катили на легком, на колесиках, креслице, останавливая перед самыми важными объектами – иначе бы я не смогла увидеть многое. Но голландская техника так высока, что то и дело – перед другим этажом – подвозили ко мне платформу, опускавшую или поднимавшую меня. И всего удивительнее, когда предстояла небольшая лестница, меня – на чем-то широком и едущем, поднимали по ней, презируя ее ступени, как будто их не было, – мы поднимались как-то вкось.

Большой, для моих глаз не слишком хорошо освещенный зал. В центре – «Ночной дозор», многометровое полотно, где художник запечатлел горожан Амстердама. Мастерское чередование темных фигур, за которыми – золотистыми вспышками – фигуры освещенные. На переднем плане два знаменитых горожанина. Один – в черном бархате и черной шляпе, рыжая узкая борода, рядом – по контрасту – лукаво-золотистая шляпа, из-под которой черные кудри. Такой же золотистый камзол.

«Ночной дозор», – поясняет гид, заказан был гильдией амстердамских стрелков – парадный групповой портрет – для их нового здания. По-видимому, это были стрелки-ветераны, сражавшиеся против испанского владычества, и, наверное, портрет им показался недостаточно героичен или недоставало сходства?

Давно (тогда я еще ходила в кино) я видела фильм: Рембрандт, разоренный не оплаченной ему заказчиком и не такой, как хотели заказчики, картиной «Ночной дозор» (писал ее два года), идет по улице, и кто-то, зная, что это – он, подает ему золотой. Он, приняв, направляется ко входу в колокольню, где, знает, что в углу, в пыли, стоит у стены шедевр его кисти. Подает золотой сторожу и просит впустить его. Входит по длинной лестнице и, подойдя к углу картины, взмахивает рукой: полукруг – рукавом по углу запыленной картины – в блеске красок

оживает ее угол. Еще раз тот же жест – оживает еще часть шедевра, – такова версия режиссера фильма.

Но все в жизни сложнее, трагичней вымысла. Не на закате, а в самом расцвете сил писал Рембрандт эту картину – 36 лет, в год смерти его жены Саскии – не это ли определило столь сумрачный колорит? Вся она насыщена тревогой, напряженностью.

Но неверно и то, что за картину он ничего не получил. За нее было заплачено 1600 гульденов, и 73 года она в здании гильдии висела. Трагедия Рембрандта заключалась в ином. С каждым годом всё дальше и дальше в своем мастерстве он отдалялся от общепринятых вкусов. Чутье гениального мастера подсказывало ему иной путь. Однако, отказываясь от традиционной манеры письма, он терял заказчиков и под конец жизни оказался настолько беден, что хоронили его за церковный счет.

В соседних залах – прекрасный автопортрет Рембрандта уже немолодого. «Пророк Иеремия, оплакивающий руины Иерусалима» – небольшая по размеру картина. На фоне серо-коричневого пепла золотом вспыхивает головной убор уже не нужного, валяющегося у босых ног облачения. Погружен в печальную думу Иеремия. И сколько трагизма в этой фигуре!

Я отдыхала в уголке зала, обменивалась с Татьянами впечатлениями, порой задремывала, а Юра с княгиней Львовой продолжали ходить по залам, где была выставлена старинная утварь, оружие, королевские доспехи – вся душа средних веков.

Классическая живопись Государственного музея, за исключением отдельных вещей, меня не так поразила, наверное, потому, что я с папой и Мариной всё отрочество посещала картинные галереи Европы, хотя я, по старости моей чрезвычайной, и забыла многие имена художников. Но импрессионизм Ван-Гога меня оживил и порадовал.

Музей Ван-Гога всего в квартале от Reichmuseum.

Забавно: весь этот путь меня, едущую в кресле, сопровождал служащий, вплоть до того момента, когда из своего кресла пересадил в такое же, но музея Ван-Гога.

Импрессионизм – мое любимое в живописи, и, может быть, потому что импрессионисты пишут так, как близорукие – в и д я т: без линий, без подробностей – цвет, тени, массу

очертаний. Особо запомнился цветущий миндаль и чья-то комната – должно быть, Винсента Ван-Гога, хотя в ней было всего 3-4 предмета, и всё это было как в тумане, как воспоминание о комнате. Одна картина напомнила мне дорогого друга (в печати писала о нем) – эстонского художника Олава Марана, с которым и женой его Сильвией дружили 25 лет и которые теперь отняты – из-за отделения от нас Эстонии, отделения законного, потому что была присоединена к нам насильно. О нем осталась только повесть «Моя Эстония». Но Олав по манере своей – «классик», а уют Ван-Гога был в том, что картина была *как в тумане* (воспоминаний?).

2 июля

Сегодня поездка в Еврейский музей. В субботу в Синагогу, куда я хотела, мы не сумели попасть – так это на самом деле или нет – не знаю, но нам сказали – там идет служба и зрителей не пускают. А я помню, как в 1961 году я с 14-летней внучкой Ритой в Вильнюсе с молодым еврейским учителем Илюшей Гордоном обходили музеи, церкви, монастыри и нас в Синагогу *пустили*, шла служба. Женщин подняли на второй этаж, и мы оттуда смотрели вниз на бородатых евреев и слушали что-то напевное. Помнится, странное, удивительное, и впечатление было – огромно. Даже больше, чем в мои 17 в Соборе Св. Марка в Венеции. И мне вдруг показалось, что это та самая Синагога, куда приходила Дева Мария со Своим Отроком – Сыном, и трепет пошел по мне.

А сегодня в Еврейском музее, где древние книги, рукописные и ритуальные священные предметы, *история* еврейского народа, я вдруг поняла моего второго мужа, Маврикия Александровича Минца, не смогшего меня познакомить со своей матерью, 70-летней еврейкой старых понятий и обычаев, не могшей и допустить, чтобы ее сын женился на русской. Брак шел, уже был сын, ничего нельзя было изменить – как и в воле его старозаветной еврейки-матери.

Жизнь решила иначе: Маврикий умер 31 года, на 9 лет меня старше, по вине врачей, не сделавших операции, а сын – через

полтора месяца после отца, от дизентерии, в Коктебеле, где похоронен, и на его крестике (был крещен) надпись: Алеша Минц-Цветаев, – его жизни было 1 год 3 недели. До него за три дня от того же умер двух с половиной лет Алик Курдюмов, и два небольших креста до сих пор стоят, как два брата, рядышком. Вместе играли они, вместе ушли на тот свет.

Вечером в доме Татьян пишу свой дневник. Одно из впечатлений об Амстердаме: весь город блестит рядами поставленных на землю велосипедов (их колеса замкнуты тросом или цепочкой, на которой замок) – их множество, вероятно, заменяли часто машины, освобождают город от гари, бензина – воздух, благодаря им, чище.

И еще надо сказать: одна из черт голландцев – это необычайная – во всех видах – заботливость и внимательность к иностранцам и к людям вообще.

Вчера какая-то молодежь, на улице, радуясь своему удачно снятому фильму, кинорекламой, раздавала прохожим, сперва по одному, чудные сухие пирожные, а затем, устав, – по два, по три. А когда Таня Храповицкая сказала им, что у нее остановилась семья из Москвы, – вручили целый противень вместе с просьбой передать русским привет, поклон и уважение.

Разве это не сказочно?!

3 июля

В фешенебельном ресторане – пригласил голландский издатель книги стихов моей сестры Марины – торжественный ланч столь изысканный, что граничит с грехом перед лицом аскезы – тончайшее сочетание разных видов салатов, рыбы, креветок, маслин, хлеба всех сортов, вызывающих у меня, как у дикаря, изумление. Нам любезно предоставили машину, которая повезла нас по Амстердаму к следующей цели нашего путешествия в этот день.

Могила Рембрандта? По-английски, крупным шрифтом, в церкви прочла, что по неимению похоронных средств художник похоронен церковью и в ней же, позднее, перехоронен – мы идем к тому месту, где он упокоился, я кладу с молитвой

(запрещенный глазным врачом) земной православный поклон (как в Риме когда-то, в церкви св. Анастасии, в 17 лет, когда мне преградил вход католический монах из-за моих коротких – жара – рукавов платья; позднее узнала, что это Ватиканом запрещено. Видела, как вежливо выводили американку, хотевшую газовым шарфом окутать руки...).

Но я забыла сказать, что в церкви – протестантской, где Рембрандт похоронен, звучит орган, как и в католической, и стоит, высясь над пьедесталом, стеклянный макет церкви – для пожертвований, блистающий и прозрачный, с колокольной, острой, как шпиль. Туда и мы опустили наши скромные монеты. Волшебное зрелище! Как из книги детских сказок.

Не спеша идем вдоль каналов. Яркий ветреный день. О камни набережной плещется вода. В нескольких метрах от нас плавают клумба живых цветов. Удивительно, нигде в Европе не видела: старая баржа, непригодная для судоходства, но замечательно приспособлена для цветов.

По пути – очередь у дома, где скрывалась Анна Франк (еврейская девочка) во время фашистской оккупации Амстердама. Мне хотелось побывать в нем, но нужно пешком на третий этаж. Не смогу. И мы стоим у ее памятника: на невысоком пьедестале, черном (камень, чугун?). Стремлюсь в сильных очках разглядеть, запомнить черты подростка-мученицы, чей безыскусный дневник прогремел по всем странам, с такой силой запечатлел человеческую жестокость и, наряду с этим, противостоящую ей высоту духа, самоотверженность. Благословенны люди, приютившие ее с семьей, доколе их все-таки не нашли!.. И перед нею становлюсь на колени: повторить земной поклон (из-за глаз) запретил мой спутник.

Что еще запомнилось голландское? Вместо светлых (писала?) – темно-цветные скатерти обеденные и плетеные, как в моем детстве в России, стулья и *корзины* везде, а также грубо и даже плотно плетеные кресла с брошенными на сиденья плоскими, мягкими, цветными с узором подушками.

А пока я пишу – пришла Таня, одна из наших голландских подруг, со странного промысла: ежедневно мэр города велит, чтобы базарная площадь к вечеру была пуста и чиста, и всё, что не продалось – увозится или выбрасывается – вещи, книги,

посуда. Но горожане – сегодня Таня, а с ней на велосипеде поехал и Юра, спасли от выброса кое-что из огромного количества вещей – не перечислить всего: чашки (белые и с рисунком), черные блюда, здесь и книги на французском и немецком, россыпь деревянной посуды, тарелки, подсвечники, и так без конца, а голландские коты, которые всё понимают, ходят меж этих вещей (коими можно одарить половину моих знакомых) и одобряют, осматривают, тенями скользят меж улова, оценивают.

– Со съестным рынком, – говорит Таня, – то же самое: вечером то, что не распродано, выбрасывается, и, если до приезда машин успеть – можно взять и овощи, и рыбу, и фрукты. Многие эмигранты, малоимущие возле этих рынков как-то кормятся.

...А сказочная голландская нить вьется. Мелькают мимо окон автомобиля старинные мельницы, современные автозаправочные, ковровые поля цветов, пестрые черно-белые коровы на сочных лугах, сменяют друг друга живописные маленькие города. Эдам – родина эдамского сыра. Один из центров голландского сыроварения, где на улице открытые палатки с богатейшими товарами всех видов (свободно для воров, с доверием к людям) – такое разливанное море сортов сыра, какое и во сне не снилось. Нам, везшие нас с Юрой, подарили по круглому темно-алому сыру – мы их решили не есть, отвезти в Москву.

Наконец – Энхаузен – «город, где вы почувствуете старинную Голландию, как нигде» – так сказала одна из Татьян.

Нас уже дожидалась здесь Хони – переводчица Марининых писем с английского на голландский, одна из четырех, кто принимал участие в работе над голландской книгой. С милой, застенчивой улыбкой, на редкость гостеприимная.

Голландские дома не имеют штор на окнах и просвечиваются от фасадной части до той, которая выходит во внутренний зеленый дворик. Скромная, с удивительным вкусом подобранная обстановка. Ее квартира располагается на трех этажах. Первый – небольшая кухня и во всю длину дома просторная гостиная с таким пленительной белизны дощатым некрашеным полом, покрытым прозрачным лаком, что по нему страшно ступать. На втором – две спальни (лестницы здесь крутые,

в частных домах лифтов нет), на третьем, в мансарде со скошенными потолками, рабочий кабинет с компьютером – что-то наподобие пишущей машинки и экрана, куда всё написанное выводится, редактируется, а после стремительно, чуть ли не одним залпом – печатается. После я поднималась туда, разглядывала этот прибор, но, кажется, не очень разобралась.

Мальчику, сыну Хони, – 12 лет. С иной, чем у матери, но такой же доброты улыбкой. Оказалось, уже месяц болеет, на антибиотиках, надсадно кашляет. Юра, мой Спутник, Друг, Врач Юра Гурфинкель, мягко обойдя неписанный, но живущий запрет критиковать коллег, выслушал его, дал нужное лекарство. Уже на следующий день его кашель стал слабее и реже, а после, мы узнали, признаки болезни ушли.

В доме этом, не как у наших амстердамских друзей две, вдвое больше – четыре кошки, и я нигде не видела такого полноправия кошек – члены семьи! Кормят их специальными кошачьими консервами. Не от того ли ведут они себя гораздо активнее, чем я где-либо видела. Две из них – подростки – ни на минуту не расстаются и не перестают играть. Даже ночью (я от них запирала дверь) – прыгают друг на друга, падают, борются, обнимаются, вскакивают, высоко прыгают один за другим – какой-то кошачий балет!

В этом доме любят животных. Кажется, это всеобщая привычка голландцев. Для кошек и собак в магазинах продают специальные консервы из остатков рыбы и мяса, предметы, облегчающие их содержание в доме. И у Хони помимо кошек живут еще и два замечательных существа – белый и черный кролики. Черный – с редким серебром, белый – никогда подобного не видела – с опущенными, как у овечки, ушами.

Жизнь вырывается из рук. Надо наверстывать. Вчера в городке Эйнхаузен был совсем необычный день: целый район городка занят, живет совершенно особенной жизнью – сохраняет прошлое ушедших веков. Это как бы театр прошлого: все – от мельчайшей лавочки, где продавщица играет роль продавщицы прошлых веков, до учреждения, до аптеки, где вместо надписей – великаны, в 5-6 раз больше человеческой, раскрашенные деревянные головы. Одни – с высунутыми языками с «прилипшей» белой пилулей,

у других – перевязана цветной косынкой щека – все эти символы аптеки и медицины выставлялись в витринах на улицах, чтобы любой, даже не знающий грамоты и языка, понимал, куда обратиться за помощью. Некоторые головы покрыты чалмой, видно, для тех, кто приплывал на кораблях в голландские портовые города с Востока.

В мастерских, точно так же, как и 200 лет назад, работают по дереву – режут, точат на токарных станках детали повозок и мебели; сыплет искрами старинная кузница.

В лавках продаются сладости того времени, и совсем не дорого стоит длинная, толстой колбаской, пористая конфета цвета ванили и пахнущая ванилью, завернутая в прозрачный целлофан.

Детей можно здесь нарядить в национальные костюмы. И мы видели так наряженную девочку лет восьми в длинной, до щиколоток, полосатой юбке и высоких деревянных башмаках. На голове у нее был похожий на кокошник и, одновременно, на своеобразный шлем крахмально-кружевной убор. Так Голландия цепко держит за хвост жизнь минувших времен.

Здесь же, на улице, показывают прежние методы копчения рыбы, и вы можете, вдыхая запах ушедших веков, еще и купить свежеприготовленную этим старинным способом горячую золотистую селедку, помыть руки под медным ручьейником, которому не менее двухсот лет, и здесь же отведать вкусную сельдь. – Так голландцы берегут свое прошлое. Ибо ныне – методы новые. Так голландцы воссоздают живую историю своей родины. И когда мы вернулись в свой день – это был выход из волшебной купальни, где покруживалась голова.

И снова – дорога. Наш путь лежит в Амстердам. Но прежде мы должны посетить дом, где останавливался Петр I. Ведь из всех стран тогдашней Европы – Голландия особенно привлекла его. Он был здесь три раза. Изучил голландский... В этом есть какая-то сказочная фантазия: царь огромной страны переодевается обыкновенным плотником, берет себе имя простолюдина Петра Михайлова, изучает ремесла, математику, физику, медицину, осваивает корабельное дело и даже пополняет его

собственными изобретениями. Какая многогранность таланта, какая мощь! Но как при этом забыть насильственный поворот Руси в европейскую стезю, учиненный им?

Я прерву здесь свой дневник, чтобы уступить место пушкинской хронике, дающей живого Петра в живой Голландии. Работая в архивах, А.С. Пушкин год за годом просматривал его историю, делал выписки из документов того времени.

«...Государь спешил в Голландию. Он отправил вперед известительную грамоту к Штатам, а сам, оставя посольство, с семьей из своих дворян отправился по почте в Амстердам и прибыл туда 14 дней прежде посольства.

Приехав, нарядился он со своею свитою в матросское платье и отправился в Саардам на ботике; не доезжая, увидел он в лодке рыбака, некогда бывшего корабельным плотником в Воронеже; Петр назвал его по имени и объявил, что намерен остановиться в его доме. Петр вышел на берег с веревкою в руках. Он не обратил на себя внимания. На другой день оделся в рыбацье платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками. Рыбак, по приказанию Петра, никому не объявил о его настоящем имени, Петр знал уже по-голландски, так что никто не замечал или не хотел дать вид, будто бы его замечает. Петр упражнялся с утра до ночи в строении корабельном. Он купил буер и сделал на нем мачту (что было его изобретением?), развезжал из Амстердама в Саардам и обратно, правя сам рулем, между тем как дворяне его исправляли должность матросскую. Иногда ходил закупать припасы на обед, и в отсутствие хозяйки сам готовил кушанье. Он сделал себе кровать своими руками и записался в цех плотников под именем Петра Михайлова. Корабельные мастера звали его Piter Bas, и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь.

Петр жил в Саардаме полтора месяца; после переехал он в Амстердам и, наняв близ Адмиралтейства домик, жил в нем под именем корабельного мастера. Тут заложил он собственными руками 60-пушечный корабль и ежедневно ходил на работу с топором за поясом.

Петр потом ездил в Амстердам, где осмотрел кунсткамеру, математические инструменты и минц-кабинеты, звериные и птичьи дворы (menageries), церкви, между коими очень полюбилась ему квакерская; в синагоге видел обрезание младенца; посетил он и зазорные дома (бордели) с их садами; видел 20 сиротских домов, дом сумасшедших; собрание ученых; слушал их диспуты; в главном трактире обедал со своим посольством (за столом сидело 32 человека и за стол заплачено 207 ефимков). Наконец, амстердамские чины дали морское примерное сражение. После того Государь был в Роттердаме, где заметил он статую Эразма, в Лейдене и Дельфте и возвратился в Гаагу, где снова принялся за корабельное строение, посещая меж тем фабрики, на коих делались якоря, канаты, etc, везде принимаясь сам за работу. На бумажной фабрике, осмотрев и исследовав раствор, он сам вычерпнул лист бумаги, который все мастера нашли удивительно тонким и чистым. Государь обучался анатомии, хирургии, инженерству, географии, физике, etc.

В Амстердаме Государь часто беседовал с бургомистром Витсенем, который и посвятил ему изданную им географическую карту северо-восточной Татарии. Витсен однажды просил амстердамским жидам позволения селиться в России и заводить там свою торговлю. “Друг мой Витсен, – отвечал государь, – ты знаешь своих жидов, а я своих русских; твои не уживутся с моими; русский обманет всякого жиды”.

В Саардаме Государь полюбил матроса по имени Мус (Mousse?) и, взяв его в Россию, определил шкипером на одном военном корабле. Под его “ведовством” Петр прошел все степени морской нижней службы, начиная с должности *каютного хлопца*».

Все это похоже на миф – сказку, сказочное превращение: царя, переодевающегося в обыкновенного плотника. И здесь было не просто переодевание, а страстное желание изучить корабельное дело, которым славился Заандам.

Да, это был не миф, не выдумка. Фантастическая по энергии фигура Петра привлекла Пушкина.

И вот мы в Заандаме. Город больших домов, людных улиц. В тихом малоприметном переулке. Машина останавливается

у здания, больше напоминающего архитектурой начало нашего века. Табличка у двери: «Здесь останавливался русский царь Петр Великий» и даты. Странно. Здесь?

Входим, и недоумение рассеивается: то здание, куда мы вошли, – всего лишь современный футляр, призванный оберегать разрушающуюся музейную редкость: домик – небольшой деревянный, покосившийся – выдержал несколько голландских наводнений до того, как была построена защитная дамба.

Две комнаты. В одной из них спальня с деревянным альковом. Как он помещался при своем огромном росте в этой тесной нише? Непривычного вида треугольный стул. Ноги просовываются в отверстия, которые в обычном стуле служат спинкой, и человек сидит, опираясь на спинку стула грудью. Выразительный в полстены портрет сидящего Петра – лучший из тех, что я когда-либо видела.

Но не менее интересна история футляра, в который дом заключен, как в каменно-стеклянную шкатулку. Домик был куплен королем Нидерландов Вильгельмом Первым в 1818 году и тогда же подарен им своей невестке Великой княгине Анне Павловне. Двумя годами раньше она вышла замуж за его сына, впоследствии ставшего королем Нидерландов – Вильгельмом Вторым.

А последний наш царь, Николай II, передал голландскому правительству деньги и просьбу построить над начавшим ветшать домиком Петра прочный дом-шатер, спасая его от непогоды – и, думаю я, собирался посетить это место, как и его предшественники Александр I и Александр II, но не успел – революция и зверское убийство царской семьи ...

Последнее посещение Голландии Петром – июнь 1717 года...

«2-го февраля царица приехала в Амстердам, – читаем у Пушкина. – Он (Петр) посещал охотно живописцев, на аукционах накупил множество картин фламандской школы, коими впоследствии украсил *покой своей супруги в Монплеzure*.

Петр купил за 30 000 гульденов анатомический и натуральный кабинет Рюйша.

Он вывез также модели корабельные и проч. Заключил также договор с типографщиком Даниилом Лесейвеном

о напечатании Ветхого и Нового завета на голландском языке, *на половине листа*, дабы припечатать потом и славянский текст, что и исполнено в 1721 году.

22-го (июня) Петр прибыл в Амстердам.

24-го с царицей ездил к ост-индскому флоту, за пять миль от Амстердама, и 28-го воротились.

...Тогда куплены им часы с курантами и отправлены в Москву.

22-го августа Петр с Екатериной отправился из Амстердама...

И более он туда не возвращался».

Не явился ли Амстердам – прообразом Петербурга, выросшего на берегах Невы? Петербург пророс из Амстердама, его каналов – сказочный плод соотношений Петра с Голландией? Вот о чем мы думали, покидая это удивительное место.

...Упомянула, но не написала об амстердамском зоопарке. По нему меня тоже возили в кресле на колесиках (мне-то было легко и быстро, каково было тем, кто меня возил?). Что всего больше осталось в памяти? В лупу увеличенный тигр, не «тигровый» (как и коты) – темно-коричневый с черным, а рыжий с белыми полосами. Неумно ходивший по клетке, молчаливо, яростно, величаво; и необыкновенной высоты, поднятые выше высокого дерева, жирафы, но не рыжие, а шоколадные с белым. Мощнейшие! Леопард – небольшой, маленькая черная пантера. И видели совсем жалких, темно-серых с коричневым, волков – без движения, видимо, спавших. Парк – огромный. Звери, не могущие взбежать и взлететь, – «на свободе», сиречь – без крыш: белые медведи – два плавали на спине, наперегонки, услаждаясь холодом. Третий – с помоста на них глядя, лежал в той же позе, не двигаясь, опустив передние лапы, философски созерцая их, нас. Но тема сия – не голландская – всесветная. У тех зверей, кого я уже успела забыть, прошу о прощении по старости.

После зоопарка мы были гостями Тооз Аакен и ее мужа Антона. Тооз тоже переводчица, переводившая для голландского сборника, но с немецкого, тексты Марины.

Тооз – за тридцать. Одухотворенность. В облике соединение романтичности и жизнерадостности. Поистине с русским хлебосольством она и Антон (имя голландское, и в русский, видимо, пришло отсюда) принимали нас в своем доме.

Дом – необыкновенный. 200 лет тому назад – пакгауз, куда пришвартовывались торговые суда, везшие из колоний товары. Потом пакгаузом перестали пользоваться. Городские власти хотели его снести и на том месте построить новое здание. Жители города этого сделать не дали – потребовали переконструировать под квартиры.

У Тооз, Антона и их семилетней дочери – четыре комнаты. В одной из них кабинет Тооз – она работает дома с помощью такого же прибора – компьютера, какой мы увидели в Эймкхаузене у Хони. В этой современно спланированной квартире – деревянные балки, идущие через весь потолок от стены до стены, растрескавшиеся от времени, горчичного цвета, старинные подоконники – все это тот материал, из которого было построено здание пакгауза. Этим в современной квартире воссоздан дух старой Голландии.

Удивительно приятным был вечер в кругу этой милой голландской семьи. После Антон, инженер по специальности, отвез нас на своей «русской» машине – обошлась ему дешевле, чем любая другая новая машина, и он ею доволен – отвез нас в квартиру Татьян, откуда нам предстояло на следующий день отправиться в Утрехт.

10 июля

После моего выступления на Книжной ярмарке среди тех, кто ко мне подходил, была русская женщина, тут в Голландии живущая уже 10 лет. Она предложила приехать к ней в Утрехт – дом с садом – побыть сколько сможем. Зовут ее Галина Левитина – и вот уже второй день я отдыхаю с ней от скачки по языкам. Сплю в маленькой уютной комнатке, очень удобной. Мне уже в Утрехте снились под утро сны.

Сегодня сюда приехала Герда Мейеринк (Президент 5-й Международной книжной ярмарки, пригласившая нас

в Голландию), которая приглашает нас поехать на молочную ферму ее сестры, где находится дом их родителей, увидеть голландских коров, лошадей – для контраста? не утверждаю. Из сотен тысяч таких ферм маленьких и больших молочных речек складывается голландское изобилие. Слышала, что у нас в колхозах нередко бывало такое – коровы жалобно и настойчиво мычали – их забывали кормить, забывали доить... Не побывать на здешней ферме с другим «укладом» было бы упущением для «Моей Голландии», и я еду, хотя и простужена и боюсь углубить простуду, но Бог милостив, а Юра Гурфинкель – рядом.

По пути – Дорн. Узкие улочки с цветными домиками и белыми ставнями, сказочный городок. Справа, по ходу нашей машины, старинные замки – воспоминания о гугенотах. Герда, ведя машину, с ностальгической нотой рассказывает, как девочкой ездила по этой дороге летом и, даже, зимой в школу (она из этих мест).

Хозяйство по голландским понятиям очень большое. Только коров – 200, а еще телята, лошади, пони – скорее для удовольствия. Все на ферме так механизировано, что управляется одна семья: сестра Герды, ее муж и три сына. Только летом на два месяца, когда горячая пора, нанимают помощь.

... стадо пасется на лугу, а здесь, в просторном коровнике, с воротами, позволяющими въезжать трактору, десятка два стельных коров. Я обратила внимание на то, что к шее и передней ноге каждой прикреплено что-то наподобие небольшой толстой пластины – специальное устройство, которое постоянно передает сведения об их здоровье. Если оно недостаточно – к корове приглашают ветеринара. Все здесь целесообразно, каждый шаг – обдуман.

Как доят – не видела. Устала. Не пошла (Юра рассказал мне, что такой же компьютер, как у Тооз и Хони, следит за этим и запоминает, сколько каждая корова дает молока). Но видела высотой с пятиэтажный дом сарай, где хранится пресованное сено и другие корма – будет что им есть зимой и весной, покуда пробьется первая трава. Тут не нужно стаскивать солому с крыши и запаривать хвою... Видела также огромную сияющую полированным металлом цистерну, куда молоко стекается и где хранится, защищенное от скисания холодом.

Сожалею, что по пути с фермы встреченный сын фермерши предложил осмотр сыроварни, но, зная мою усталость в тот день, Юра отклонил, а я, поздней, пожалела. Это было бы добавлением к виденному процессу копчения рыбы, то есть упущенная для «Моей Голландии» – тема.

Но не меньше всех этих чудес меня поразил дом фермерской семьи. Пряничный, оранжевые ставни – в нем жили деды и родители нынешних фермеров. Сказочных размеров дубовый шкаф с огромными выдвижными ящиками, традиционный уют гостиной с картинами на стенах, изображающих лошадей и собак; камин, украшенный старинными изразцами с дверцами из толстого стекла. И даже сохранившийся с незапамятных времен деревянный ящик с дырками наверху – внутрь в него ставили глиняный сосуд с горячими углями и теплом, идущим через них, грели ноги.

Сейчас вечер четверга; наша хозяйка Галя уезжает с утра на работу – преподает русский и английский и теорию перевода. Мила умна, гостеприимна; мне у нее уютно и хорошо – будем тут до субботы. У меня с Галиной душевный контакт. Этот дом был благоустроен для ее матери, но мать заболела сердцем и после трех лет то в больнице, то дома – скончалась. Только работа заглушает, днем, боль утраты.

Утро, Утрехт. За завтраком попробовали принесенные фрукты в легкой сквозной корзиночке (так продают) – гибрид персика и сливы (по-моему, грубее обоих, я не очень за гибриды). Поздно уснула – недоспала, легла бы охотно, но надо писать – «ухватить за хвост – жизнь», ибо она – пройдет – драгоценная. В Голландии осталось всего два дня – через двое суток, в воскресенье, мы уже будем в Москве. Лететь три с половиной часа мне не удовольствие, но я буду в самолете под Богом, на руках драгоценного Юры Гурфинкеля. Как оторвусь от него? Срослись за две недели...

Вчерашний день был – выпал – днем отдыха – никуда не ездили. За ночь – может быть, гомеопатия помогла – прошла боль в руке, и пишу. Юра пошел пройтись по Утрехту. Моя любознательность относительна – ибо я устаю быстро

и забываю, – мне ведь без малого 100 лет. (100-летнюю я себя сама буду бояться. А сколько Бог разрешит – повелит – жить еще – Его тайна.) *Сейчас* мой долг записать всё, что уже упустила, в порядке беспорядочной памяти.

Сижу на закрытой (для меня) террасе. Здесь всё настужь, все предельно закалены. (А я хоть и начала вновь обтираться выжатым комом материи во избежание гриппа – простужена, правым углом щеки больно жевать, и глаза воспаленные и побаливают, в ухе – вата. Я, гадина, все две недели забывала утреннюю зарядку, шаг ослабел, сегодня на два последние дня – возобновила.)

Заботу о том, кто встретит (машиной) в аэропорте Юра просил возложить на него. Телефоны дороги (из страны в страну), неподъемны, но он вчера звонил. И я заранее радуюсь вновь и нашей дикарской России, и жаль поездки-фантастики.

С огромным букетом белых роз приехала брать у меня интервью корреспондент радио. Интервью – отдельная тема. Они в Москве доят меня с меньшим искусством, чем механизированно – коров на ферме; но их вопросы напоены и любознательностью, и любопытством (мое русское «молоко» – их питание), и я – терплю. Чаще всего беседа идет по-английски, но *моему* уху (полуглухому, во-первых, а во-вторых, наученному *классическому* английскому произношению, трудно уловить искаженную американизмами и недостаточным знанием и спешкой с ошибками речь на «приблизительном» английском языке; и часто, может быть, невпопад отвечаю, отвожу ответ вбок, сообщая нечто более ценное, чем крылось в вопросе. А еще и то, что, десятилетия уже, много их, никому не преподаю (внучки, с коими годы и годы велся разговор только английский, Рита – моя драгоценная – сейчас с 15-летней правнучкой моей в Сан-Франциско; я начала учить ее английскому в ссылке, в Сибири, в ее пять лет) и без практики: сама забываю английский, французский, немецкий – и не хватает слов. Это страдание следует за мной всю Голландию, и меня выручают две наши подруги, две Тани, часто с русского или английского переводящие мои слова на голландский. А сейчас, к концу пребывания (через день, в воскресенье утром – отлет в Москву), на сердце грусть. Как-то

замирает оно, предотъездно? От неизвестности, что встретит в Москве? Как там Женя Кунина (у нее родные в пансионате для престарелых); не часто ли одна, в 94 года беспомощная? Как пойдет лето? Будем ли мы еще в Доме творчества, в Переделкине (предлагают уплату в несколько тысяч одному) или в Москве, с ночевками у меня внучки Олечки. Ей 35 лет, сыновья ее у деда с бабушкой в Балабанове (огород, ягоды), 13 и 10 лет...

В Москве ли друзья, близкие: Саша, Станислав, Доброслава и Глеб и Галя, меня любящие и ждущие?.. (Я порадуюсь Саше (фамилия его – Ковальджи). А он мне? Искренне – я не знаю. Его душа мне таинственна, очень уж горд (таинственно повелителен, одинок?), и мое понимание, может быть, ему – не нужно). И Ирочка Карташевская, спутница моя своеобразная по последним годам, должно быть 12-ти.

Но на их будущие вопросы я еще ответа не имею, кроме как – «Прочтете “Мою Голландию”, – мой голландский дневник – собственно, вещь без всякого стиля, если такой дневник не является произведением импрессионизма (моим любимым течением в искусстве)».

По моим расчетам «Моя Голландия», может, будет не менее, чем один печатный лист с четвертью (половиной?), то есть не так много отстанет, длиной, от «Моей Эстонии» (три номера в таллинском журнале «Радуга»). Но куда с моим литературным секретарем Станиславом Айдиняном отдам «Мою Голландию» напечатать – может быть, решит он. А *моя* идея – потом сделать книжку-триптих – «Моя Сибирь» (годы ссылки), «Моя Эстония» (туда я ездила 25 раз в летние месяцы), «Моя Голландия» – уже прочно засела в душе.

Мы прибудем на аэродром в воскресенье, днем, расставание с Юрой Гурфинкелем. Была под его мужественной и любящей рукой. Одна у себя в квартире – кого застану по телефону? Нет ли политических новостей, невеселых? Европа, жалея Россию в разрухе и нищете, будто пришлет миллиарды для воссоздания... Так ли?

Вечером приехали друзья Гали Левитиной для встречи со мной – профессор-голландец, изучающий русский, пожилая китайка-филолог и русская пара – врачи, живущие здесь уже почти 20 лет. И я читала Маринины стихи, к их радости. Прочла и свои, им неожиданные.

После, со вспышками, нас снимали различным сочетанием европейской техники – 5 минут после съемки – и в руках фотографии! Лучше всего вышло – и мне драгоценнее – меня с Юрой, Юру – со мной: полуулыбки, он – в цвете мужественности, я – седая, слегка с белым (шелка с шерстью) платком на плечах. Сын и мать...

11 июля

Утро. Утрехт. Юра хотел показать мне чудеса магазинов, но вчерашняя встреча его с врачом, женщиной-кардиологом, предрасполагала его поход в ее больницу – и эта его профессиональная радость много важнее *ему и ей*, им – она очень важна, а *мне* магазины «не очень».

Последнее впечатление о Голландии – увы, серый денек – серое северное море, к которому нас возила на машине Мария Николаевна Львова. Когда мы доехали, было ветрено и неприятно. Такое море я видела, кажется, в Финляндии – летом 1911 года, с моим, тогда еще женихом, Борисом Трухачевым.

Недалеко от берега было стеклянное, должно быть, защита от ветра, пустое в тот час, открытое без крыши кафе. Мы сели в самом углу, и я отказалась от чего-то горячего в такой час на ветру, а спутники мои пили, кажется, какао. Его подал молчаливый вежливый голландец, спутники мои пошли к морю (я осталась в стеклянном уголку их ждать), и радуюсь, что от этой поездки, встречи, похожей на невеселое сновидение, осталась и лежит у меня на столе, может быть, для моих правнуков, невесть откуда взявшаяся, цветная плоская коробочка, полная морских ракушек разной величины и цвета – от белых до темных, чем-то отливающих. Мы с Мариной в детстве любили и собирали такие молчаливые и скромные сокровища моря, но

мы жили тогда у Средиземного (светлого, с синевой) – в Италии, или в Крыму, в Ялте, Севастополе, Феодосии, Коктебеле, в нем не было зеленого цвета, но был синий. А ракушки – везде схожие, только давние, те из Оки в Тарусе, отливали розовым и голубым перламутром. В голландских этого перламутра не было.

Кончаю писать «Мою Голландию». Как много впечатлений вместили эти две недели! Кажется, я поняла этот доброжелательный и мирный народ со свободной душой, почувствовала дух удивительной страны, где, в отличие от России, не прерывалась связь времен. Передала ли в своих беглых зарисовках хоть долю того, что увидела? Сумела ли ухватить вырывающуюся жизнь за «хвост»?

Москва, 12 июля 1992 года

Утром еще мы были в Амстердаме. Затем самолет королевской воздухоплавательной компании – KLM. Другие, но такие же милые лица обходительных стюардесс. По предложению Юры заглянула в кабину пилотов. В окнах кабины далеко внизу я увидела в голубой дымке извив реки. Это была Германия, та Германия, где мы жили, где лечилась наша с Мариной мать, Европа, по которой я ходила в детстве, а теперь, прожив долгую жизнь, видела ее сверху.

Внизу проплывали города, орнаменты рек, столбы солнечного света пронизывали воздух. Пилоты, на вид почти юноши, приветливо улыбались. И всё это было похоже на сновидение, а они – на двух бескрылых ангелов, бережно несущих нас в небесах к моей Москве. И я мысленно перекрестила их.



приложение

Таруса

Младенчество

Может быть, Муся (Марина в темнотах, тенетах младенческой памяти) еще помнила слова «Ильинское» и «Истомино», где родители наши искали семье место на лето, я же с первых месяцев от рожденья знала только Тарусу, где еще и до меня жили папа с мамой и Муся с Андрюшей и Лёрой.

Что это было, Таруса?

Летнее продолжение зимней Москвы в волшебный клубок с Тарусою сплетшееся: зала, об высокий потолок ее тыкался улетевший детский синий воздушный шар (я в детствах, меня с тех пор окружающих, не вижу их, они остались в том, нашем), гостиная со стоящим зеркалом, диванами, креслами, папин кабинет с планом Музея... В Рождество – елка, лесным деревом до потолка, в золоте и серебре горящая свечками, и Пасхальная ночь, ритмически, весной, опрокидывающаяся в цоканье копыт лошадей, въезжавших на паром под треньканье бубенцов, гладь Оки, отраженной в памяти прошлого года, – все то же, неизменность повторов было отражением вечности на земле. Дорога к лесному гнезду нашему, к «даче» (странное слово!) берегом и вверх по холму, поросшему лесом, или – через саму Тарусу, городок над Окой, вверх по Калужской улице мимо дома дяди Вани Добротворского, земского врача и, объехав дом и выехав в поле, широким загибом налево – *сверху* подъехать к даче. Звук бубенцов распахивал навстречу ворота, и уже несли на стол самовар. А нас старшие раскутывали, сажали пить чай, и было темно вокруг керосиновой лампы – уже ничего не увидим сегодня, все – завтра, сад утонул в темноту – только

помнится лесенка вниз от балкона, четыре орешника, между них – качели, все это было такое родное, родившееся, вековечное... а пока – крутое яйцо из дорожной корзинки, холодная котлета на бутерброде и с блюдца сладкий чай с молоком... и уж спим, но знаем, что завтра проснемся в солнце сада, в сирень, в березы и тополя... Может быть, Мусе грезился дуб – и до Тарусы, мне же все дубы, березы были – Таруса.

Широким пластом солнца озарялся туман младенчества – это детство сияет, сверкает, радуется бытию. По лесенке (где за ручку сводили) теперь летим вниз по ступеням крутой балконной лесенки – в сиреневый и ореховый сад, в сад начальный – вдвоем на концах доски стоим, держась за веревки, приседая, раскачиваем полет! Волосы назад со щек, упоение, и в него мамин голос – зовет к осторожности...

Мамин голос зовет купаться, и, схватив полотенце, летим вниз под гору в родную Оку... Но *опыта* жизни – нет (одно упоение!), и когда мама мне, 6-летней (положив меня поперек больших своих рук, говорит – «Плавай!», я, криво поняв ее, с рук ее – прыжком всего тела – в воду. Ахнула мама и бросилась вслед мне, исчезнувшей, – *пятку* схватила в воде, вытащила на берег, захлебнувшуюся в поглотившей зеленой волне... Мама-медик, держа меня вниз животом и лицом, вылила из меня воду, и опять в исступленную мою глупость сияет солнце и большое родное мамино тело прижимает меня к себе... А уже плывет у того берега пароход, кричит, гудя и блеща искрами крика о том, что он («Ласточка», «Екатерина», «Иван Цыпулин» – три их было) прибывает в Тарусу. А Муся уже училась плавать, скрыв жалость ко мне, насмешничает над моей глупостью...

Сменяя обычные платья на праздничные, мы идем в гости в Тарусу: по отлогой горе Калужской улицы к Добротворским, в их прохладный дом, в тенистый сад с глубокой террасой, к кипящему самовару с ватрушками и лепешками, с медом, вареньем... Круглолицая и седая, добрая жена дяди Вани (некогда – Цветаева, папина двоюродная сестра) угощает... Оса звенит над столом, на нее машут руками, газетным листом. Бедная оса, ее ведь никто не любит...

Иногда же мы шли в Тарусу в совсем другой дом – к Тете (маминой воспитательнице и дедушкиной второй жене):

вступаем в заколдованный мир нерусского, французско-швейцарского уюта, где нас ждали коробки шоколада после золотистых бульонов и цыплят жареных, и кофе со сливками из вычурного кофейника, и не тенистая, а солнечная терраса, в расчищенных песках посаженный сад под искусством садовника, – а в Тетиной спальне, напоминавшей шкатулку, в полумраке от мух со стены глядел на нас дедушка, в противоположность полноте Тети – худой, высокий, строгий из сумрачной рамы, холодком в детское сердце, напоминавшей о том, что он умер, и умер от рака... Эти два слова врезались в солнце лета и детство, звали в непонятное, страшное – и мы бросались к Тете, воплощению уюта, богатства, жизни (дедушка перед смертью продал в Москве «на Плющихе» дом и купил ей усадьбу в Тарусе). А мама для Тети была родной, как мы, девочкой, она растила ее с детства, приехала для этого из Швейцарии, где была дочерью пастора, приехала потому, что мамина мама умерла сразу после ее рождения, была молодая, красавица, полька и познакомилась с дедушкой, молодым, на балу... А Тетя (ее родной язык был – французский) не могла выговорить «Тетя», могла только – «Тьо»...

Все это хлебнув, мы возвращались в наше далекое лесное гнездышко, с двумя балконами, один над другим, и верхний был весь решетчатый – чтобы мы не упали оттуда... Когда мы шли с мамой на далекую прогулку в Пачево, долину между двух лесов, у одного края которого протекала когда-то речка, у нее сохранились наклоненные ивы над темным руслом...

... А потом после детства было страшное лето, когда умерла мама, Лёра работала учительницей в другом городе, и мы с Марусей остались одни в Москве и Тарусе, без мамы...

Отрочество

Что такое отрочество – при матери, я не знаю. А без матери оно – бесприютность. Марина захотела в интернат, к деятельности среди подруг и не подруг, я осталась одна в 12 лет в московском папином доме, не учась в гимназии (по сходству с мамой – мама умерла от туберкулеза – папа боялся отдать

меня в гимназию из-за детских болезней). Ко мне ходила учительница, а после обеда я ходила с троюродной сестрой, Людой (медичкой), на каток и к нему пристрастилась и потом ходила одна. Он меня – закалил, я с 15 лет на беговых коньках каталась (до глубокой старости). Папа, как ребенок, рыдавший при прощании нашем с мамой; мы помним ее слова «живите по правде, дети, по правде живите». Ей было 37 лет. Не помогли заграничные санатории. Ее могла спасти Италия, но она не желала зажить там, она хотела помогать папе с Музеем. Папа был им предельно занят, и директорствовал в Музее Румянцевском, и профессорская работа: по многу часов лекций и научных трудов. Он скончался от переутомления в 66 лет... Но Бог не оставляет. В те, после мамы, годы Бог послал нам друзей: Лидию Александровну Тамбурер, удивительного человека, нас полюбившую, и поэта Эллиса (Маринина поэма «Чародей»), к нам пристрастившегося и скрасившего наше отрочество своим фантастическим даром перевоплощения. Но это – Москва. А в Тарусе, после мамы (отдельно от Марины, занятой переводом Ростановского «Орленка», в 16 лет поехавшей в Париж на трехмесячные курсы о французской литературе), мне Бог послал подруг – Кланю Макаренко и Шурочку Михайлову, а затем – целую ватагу младших девочек и одноклассников – старших мальчиков. Мы встречались после обеда и занятий, Гарька Устинов (красавец, цыганенок) и русский подросток Мишка Дубец (Филиппов), и их дружеское увлечение мною грело меня, а Мишка Дубец много лет спустя, узнав, что я овдовела после смерти второго мужа, прислал мне с войны письмо, что готов мне помогать частью своего офицерского жалованья.

Вот что подарила Таруса! А пока я росла – особенно помнится лето 1909 года, мои еще 14 лет – костры, лодки по Оке, любовь ко мне двух Лидочек 10-летних, таких разных – и однажды, когда с Оки «враги» крикнули какую-то гадость, – друзья-мальчики ответили дружно, кинув камни – в четыре руки... И осталась в памяти эта идиллия – до влюбленности в Шуру Успенского (сына священника) и его ответной, чистой.

А Марина, после Парижа приехав в Тарусу, попала в жар моих новых дружб и включилась в далекие прогулки по мокрой

траве (вода хлопала в башмаках, не простуживались), и далеко за соснами у поворота в Пачево костры и Маринины рассказы в моей ватаге (Матушка, мать Шуры, звала меня «атаман») – сказок: но Марина не могла, по природе своей, *пересказать* сказку, а, начав с Андерсена, Гримма, Перро – включала себя «с ходу, с маху», и я тоже слушала с интересом и восхищением импровизации ее.

Ах, Таруса! Сырой у Оки луг, маленькое болото (а в болотах могут утонуть люди, обходили его...), березы по склону, где когда-то в раннем детстве нашем прокопал с луга прямо к даче – лестницу из земляных ступеней гостивший у нас Сережа Иловайский (кто мог знать тогда, что немного пройдет лет, и он умрет от чахотки, а через год или за год до него – от той же болезни сестра его Надя, оба красавцы, сын – в мать, дочь – в отца... Кто знает будущее?..). А лесенка жива, чуть травой поросшая, и по ней взлетаем вверх, обходя долгий песчаный, березовый холм.

Снова вечер, и мы, полные сил и желаний, Марина и я, и ватага моя, пускаемся в путь лугом до сосен и дальше... А трава хлещет ноги, сосны уже близко, драгоценная наша дача – гнездо лесное, тополиное, березовое – позади, ночь тарусская все чернее, и в нее взлетают искры костра, и сосновые ветки трещат в огне, а Марина начала сказку, и никто не знает, что в ней будет, даже она, только гений ее... А Ока плывет, и над ней – звездное небо... Таруса! Как ее позабыть?!

Воспоминание об Александрове

Где я жила со вторым мужем моим Маврикием Александровичем Минцем и моим трехлетним сыном от первого мужа, Бориса Сергеевича Трухачева, Андрюшей и его няней.

Мой муж был химик, шла война, и его из Москвы назначили в Александров, открыть там мыловаренный завод для полка. Он был инженер, не был военный, но всех мужчин тогда брали на военную службу.

Я, после лета в Крыму, узнав, что он уже переехал в Александров, выехала к нему с Андрюшей и няней.

Мы жили в доме Иванова, кирпичном, четырехэтажном, снимали там три комнаты – мужу, мне и детскую – сыну с няней. Но я уже была в начале беременности вторым ребенком, и мне было бы все труднее подниматься так высоко по лестницам.

Поэтому муж искал другую квартиру и нашел ее на Старо-конюшенной улице у пожилых учителей Лебедевых, они сдали нам один дом с садом, а сами жили в другом. Помню, что дом Иванова был близко от базарной площади. Прошло с 1915 года по 1992 год 77 лет. Мне идет 98-й год.

Что я помню об Александрове? Что такого высокого дома, как Иванова, – не было, он возвышался над всеми домами.

Помню реку Серую, старинные «лабазы» с огромными висячими замками, помню монастырь на холме, куда я ходила к монашкам заказывать детское приданое – ждала дочку, все розовое, но когда я уехала в Москву рожать, то моя сестра, поэт Марина Цветаева, жила у меня с дочкой Алей, Ариадной, одних лет с Андрюшей, и позднее, когда вернулась, родив сына, он лег во все *розовое*. Марина часто гостила у меня в Александрове

и много там написала стихов. Позднее она стала знаменита по всему миру.

В 1917 году мой муж Маврикий умер по вине врачей, не сделавших ему операцию, 31 года, сын Алеша умер в Крыму 1 года и 3-х недель от дизентерии, и больше я в Александров не ездила.

Рада узнать, что снова действует там монастырь.

*Анастасия Цветаева, 97 лет
22 апреля, 1992 г.*

Об Армении

Ко мне обратился молодой человек с просьбой написать в какой-то журнал (какой позабыла) об армянах.

– Может быть, и сестра ваша, Марина Цветаева, была знакома с кем-нибудь из нашего народа?

– По-моему, нет. Впрочем, мы только юность прожили вместе, революция нас разлучила. Она жила на Западе, я – в России, и многих ее друзей я не знаю...

А затем начались воспоминания...

В Маринины одиннадцать, мои девять лет, во французском пансионе в Лозанне в 1903–1904 годах, Марина горячо дружила с десятилетней Аглаэ, младшей из семьи армянской, пламенно католической верующей. Аглаэ была правдивой, строгой во всем, что касается правды. Ее старшая сестра, Ольга Матосьян, была намного менее способна, но сердечна. С нами училась еще их кузина – Астина. Все три девочки были родом из Египта, дочери богатых армянских купцов. Мы за год в интернате только с ними и дружили.

Через годы я написала повесть «Сказ о звонаре московском». Его герой – Котик Сараджев. В нем, несомненно, была грань гениальности.

Я с ним встретилась в 1927 году. Он был изумительный человек сверхчеловеческих дарований в музыке. Слух его феноменален: он различал в одной ноте 243 звучания. Центральная нота, 121 диез и 121 бемоль.

Его игру на колоколах помнила вся Москва. Он называл свою игру (каждая была импровизацией) – «гармонизациями»... С детства у него были качества ясновидящего. Об этом я писала в главе «Тайны природы», – но глава эта не была

допущена в печать. Его мать умерла, когда ему было четыре года. Через три года его отец женился, и росли дети второй семьи. Однажды, когда Котику было четырнадцать лет, отец проводил вторую семью на пароход из Севастополя в Ялту. В море началась буря, выла сирена, и сигналом передавали, что погибает пароход, отец был в отчаянии, а Котик его утешал, он был совершенно спокоен, он *слышал* на расстоянии, что все живы. Вскоре дали знать, что терпит аварию другой пароход, а не тот, на котором ехали их родные. Подобных случаев в его жизни были множество. И еще случай. Д.Д. Шостакович приехал из Ленинграда в Москву, зашел к отцу Котика, профессору Сараджеву. Его не было, и Шостакович оставил Котику для него партитуру. Весь день он провел в разных домах с друзьями-музыкантами. Вечером пошел дождь. В квартире, где в это время был Шостакович, раздался звонок. На пороге стоял Котик с калошами в руках:

– Это ваши калоши? – спросил он.

– Да, – пораженно отвечал тот. – Но как вы узнали, где я?

В свою очередь удивился Котик:

– Но я же вас *слышу*.

Он слышал людей и предметы. Говорил, что весь космос звучит. Он называл каждого его нотой – с бемолем или диезом. Точнее – со столькими-то бемолями или диезами...

Мою сестру Марину он определил как Ми 17 бемолей, а меня – Ми 16 диезов.

Своим слухом он поднимался в высокие сферы. Бог у него был – *До*. Центральная нота. Говорил, что духовно он близок с пифагорейцами, также утверждавшими, что вселенная звучит...

Сколько о Котике говорили, какие слагались легенды! Я о нем рассказывала А.М. Горькому, когда была у него в гостях в 1927 году в Италии, он советовал написать о Котике книгу, и я ее написала. Но книга исчезла после моего ареста. Восстановила я ее по памяти, вернувшись после заключения из ссылки...

Ни в «Сказе о звонаре московском», ни в «Мастере волшебного звона», – книга, где соавтор мой – младший брат Котика, не сказано о том, как Котик погиб – это удалось узнать от его близкой родственницы Нали – Наталии Ивановны

Поповой-Сараджевой, по матери – армянки, арфистки, заслуженной артистки Армении. Она рассказала: когда запрещен был большевиками колокольный звон и колокола стали продавать как металлический лом за границу, Котик заболел, душевно, был положен в психиатрическую больницу.

А в 1942 году, когда немцы подходили к Москве, больница оказалась в зоне оккупации, и немцы, освобождая ее под госпиталь для своих раненых, расстреляли всех больных. И так погиб редчайшего гения музыкант, Котик Сараджев.

Родной брат Котика, Нил Константинович – человек редких достоинств, необычайной мягкости, интеллигентности, благородства, очень похожий, даже больше, чем Котик, на своего дирижера-отца. Он и его жена Галина Борисовна (она по матери из старинного дворянского рода) – мои близкие друзья, об облегчении болезней которых молюсь Богу.

Помню и отца Котика, пожилого красавца, смуглолицего, с картинной отточенностью черт, чертившего точный узор дирижерской палочкой, зажигая в воздухе звуки упоенного им оркестра...

В заключение о Сараджевых хочу сказать, что мой очерк о Котике был опубликован в журнале «Москва» (в 1977 году, в № 7), затем – в двух изданиях, отдельной книжкой. Потом еще раз в книге «Моя Сибирь», более ранний вариант, журнальный, под названием «Московский звонарь». Мне радостно, что «Сказ о звонаре московском» был, хоть и в сокращенном виде, переведен на армянский язык и опубликован в журнале «Советакан харвест» с портретом Котика и страницами его нот. Это мое единственное сочинение, переведенное и выпущенное в Армении.

А моя многолетняя дружба с Мариэттой Шагинян? О самой Мариэтте я написала отдельно, – очерк о ней в моей готовящейся в издательстве «Отечество» книге. К ней я водила тогда молодого талантливое поэта Валерия Исаянца, с которым познакомилась у Марии Степановны Волошиной в Коктебеле. Там же бывала моя подруга Татьяна Спендиарова, дочь композитора, классика армянской, даже более – мировой музыки. Она по просьбе моей написала предисловие к книжечке Валерия Исаянца, изданной в начале 70-х годов в Ереване. Таня

Спендиарова вспоминается мне в Коктебеле, в Москве, – веселая, удачливая, любившая танцевать, умевшая пошутить, заражавшая других – весельем. Была прекрасным переводчиком – переводила европейских поэтов. Но в жизни Тани была трагедия – у нее умер двенадцатилетний сын, заменить его приемным мальчиком она не могла и брала на воспитание девочек. Одну из них, очень ее любившую, у нее выкрали. Это сделали, когда та несколько подросла, родные девочки. И тогда она взяла на воспитание другую. Может быть, от этих переживаний она стала постепенно угасать...

Встречи, встречи... Аню Саакянц помню прелестной девушкой, дружившей с моей племянницей Алей Эфрон. Первую книгу о моей сестре Марине, изданную в России, написала она.

А мой литературный секретарь-редактор Станислав Айдинян, талантливый и образованный. Он написал свою художественную версию «Фауста», и известный писатель, живущий в Париже, Мамлеев предварил ее своим предисловием... Станислав по отцу – армянин из западно-армянского рода, из Греции. Имя отца его, Артура Айдиняна, в 1950-х, 60-х годах гремело. Он – знаменитый тогда певец. На его концерты трудно было попасть. В Киеве, или во Львове, например, зал, где он пел, приходилось оцеплять конной милицией, огромная толпа молодежи рвалась внутрь...

Непревзойденный маэстро пения, Титто Скиппа, стоя аплодировал Артуру Айдиняну, когда он исполнял «Марекьяре», а ведь он сам был коронным исполнителем этой песни. Большим поклонником Артура Айдиняна был Генрих Густавович Нейгауз, на которого обижались его ученики, когда он в часы уроков уходил на концерты певца...

Сколько внимания и сил дал искусствам и музыке этот народ!..

Потрясенная грандиозным землетрясением, четыре года назад, я послала в центральную армянскую газету слова сочувствия и скорби. Мое небольшое послание, написанное 10 октября 1988 года, называлось «К Армении». Приведу его без пропусков, так, как оно было написано:

«Думаю я, что в каждом сердце сейчас самая сильная боль – это природное бедствие, выпавшее на долю Армении. Весь мир

Анастасия Цветаева

потрясен страданием армян – и это сплотило страны нашей планеты, давно уже, с давних времен не испытывавшей такого землетрясения. Все народы рванулись выразить невинному в грянувших бедах армянскому народу сострадание, сочувствие, желание помочь его великому горю!

Вместо городов – горы камней – это библейская картина разрушения, и только одно приходит на ум мыслящему и чувствующему человеку, только с одним это может сравниться – с концом мира.

И не для того ли это послано нашей стране, чтобы поняли те, что таят в душе вражду, – что они тем самым навлекают на себя кару Того, кто выше храмов, которые в безумии своем разрушают враждующие, чтобы поняли, что их, в свою очередь, может ждать участь неведомая и грозная...

Скорблю со всеми скорбящими!

*Анастасия Цветаева
на 95-м году жизни*



комментарии

История одного путешествия

Впервые: *Цветаева А.* История одного путешествия. 1971–1972 гг. Крым – Москва / Сост. и коммент. Г. Васильева, Д. Лосева, Г. Никитиной. Феодосия; М., 2004.

С. 17. *Женя* – Кунина Евгения Филипповна (1898–1997) – поэт, переводчик. Близкий друг А. Цветаевой. См. о ней на с. 258.

Коктебель – в то время поселок официально именовался Планерское, однако старожилы по-прежнему называли его Коктебелем.

Маруся – Волошина Мария Степановна (1887–1976) – вдова М.А. Волошина. Близкий друг А. Цветаевой.

...смерть первого мужа... – Первым мужем А. Цветаевой был Борис Сергеевич Трухачев (1892–1919).

...мужа другой... – Речь идет о Марии Ивановне Кузнецовой-Гриновой (1895–1969) – артистке, писательнице, драматурге. Вторая жена Б. Трухачева. Близкий друг А. Цветаевой.

С. 18. *...соперницу, полюбив ее за ее колдовскую, волшебную душу...* – Астафьева Ольга Васильевна – подруга М.С. Волошиной по Петербургу. В романе А. Цветаевой «Амог» выведена под именем Анны Васильевны.

...квартиру на Бульварной... – Речь идет о доме на углу улиц Бульварной (ныне ул. Десантников) и Военной (ныне ул. Вити Коробкова). Здесь, на доме № 13 по ул. В. Коробкова, 4 июня 1999 г. установлена мемориальная доска, посвященная А.И. Цветаевой. С осени 2003 г. часть здания занимает Музей Марины и Анастасии Цветаевых.

...стихи «Генералам 12-го года»... – Стихотворение написано в Феодосии 26 декабря 1913 г.; посвящено С.Я. Эфрону.

...говорил мне о своей жене Марго... – Сабашникова Маргарита Васильевна (Марго; 1882–1973) – художница, мемуарист.

...она ушла от него к человеку, иначе любименному... – Речь идет о поэте Вячеславе Ивановиче Иванове.

...я шла с родным братом князя Мышкина, которого люди звали «Идиот»... – Здесь имеется в виду М.А. Волошин.

С. 19. *...До автобуса в Коктебель – час...* – В те годы междугородный автовокзал находился в центре города на ул. Назукина.

...бывшую Итальянскую... – Ныне ул. Горького.

...в доме бежавших за море друзей, потомков Айвазовского... – В доме Ивана Константиновича Айвазовского (уже тогда скончавшегося) и Анны Никитичны Айвазовской, в квартире уехавшей в эмиграцию семьи Лампси, М. Волошин в нач. 1920-х останавливался и некоторое время жил, когда приезжал из Коктебеля.

...Макс, читавший членам Ревкома свои стихи... «Дом Поэта»... – Волошин не мог читать здесь в те годы стихотворение «Дом поэта», т.к. оно было написано лишь в 1926 г.

...Semper Idem... – Всегда то же самое (лат.).

...сидит в кресле памятника старый армянский художник... – Памятник работы скульптора И.Я. Гинцбурга.

...получивший чин адмирала... – Воинского звания «адмирал» у художника не было. Айвазовский был главным художником Морского штаба России и носил адмиралтейский мундир. Он имел звание действительного тайного советника, что соответствовало в Российской империи воинскому званию «генерал-полковник».

...провел своими казной и властью – феодосийскую железную дорогу... – Точнее сказать – Айвазовский приложил энергию и усилия для осуществления этого крупного проекта – железнодорожной ветки из Джанкоя в Феодосию.

...военные базы... – Охраняемые склады Феодосийского торгового и военного портов, сооружения железной дороги, а также других организаций.

...мыс у моря... – Имеется в виду мыс Ильи (мыс. Св. Ильи), замыкающий дугу Феодосийского залива.

...родной Карантин... – В старом районе, который горожане называют Карантин, в начале XIX в. был учрежден центральный карантин «для всех судов, приходящих в Черное море из стран, неблагополучных по заразным болезням, по преимуществу чуме и холере».

...что означает перегиб дневного часа... – А.И. Цветаева не раз говорила о некой сероватой полосе, движущейся от горизонта по стихшему морю, которая, по ее наблюдению, отмечает наступивший полдень «внезапно, как перегиб стеклянной трубки, нагретой пламенем спиртовки».

...переходит в радугой поднятую Святую гору (где могила татарского праведника)... – Об этом повествует крымско-татарская легенда.

С. 20. *...знакомую Максину голову-профиль, его каменную бороду...* – Имеется в виду обрыв горы Кок-Кая (крайний мыс, вдающийся в море за Коктебелем). Напоминает профиль М. Волошина. Это замечали многие гости Коктебеля еще с нач. 1910-х.

С. 20. *...знакомой, как родной дом...* – Дом М. Волошина был построен летом 1903 г., позже производились пристройки.

...которую я привела в свой дом... – Имеется в виду Ольга Васильевна Астафьева.

...Холм из камней, из них выложен крест... – Волошин, скончавшийся 11 августа 1932 г., был похоронен 12 августа на вершине хребта Кучук-Янышар (согласно его завещанию).

...Пра, матери Макса... – Пра – прозвище Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной (1850–1923) – матери М.А. Волошина.

...под фамильной иконой той моей и Марусиной Ольги... – В день сороковин по кончине Марии Степановны, 25 января 1977 г., у Толстых собрались друзья Дома Поэта. И в их числе – А.И. Цветаева. «В углу детской, не в Красном углу, а у двери над шкафом висела икона в серебряном окладе. Подойдя к ней, Анастасия Ивановна стала вглядываться. “А это мне подарила Мария Степановна, – сказала маленькая Оля, дочь художницы Екатерины Никитичны Толстой. – Это икона св. Ольги, и она подарила мне ее в день моих именин”. “А ты знаешь, когда твои именины?” – спросила Анастасия Ивановна. “24 июля”, – ответила девочка». (Записано Г.Я. Никитиной и Г.К. Васильевым).

...с роялем, помнящим Скрябина... – Композитор А.Н. Скрябин никогда не бывал в Коктебеле. Легенда о его выступлениях в Доме Поэта пошла от М.С. Волошиной.

...я пойду – прежде всего к Алеше. Помолюсь с ним вместе о нашем Андрюше, старшем брате его... – Андрей Борисович Трухачев (1912–1993) – старший сын А. Цветаевой; в 1937 г. вместе с матерью был арестован и провел в заключении пять лет. Младший сын Алеша скончался в младенчестве – 18 июля 1917 г. в Коктебеле, где и похоронен.

С. 21. *...Где-то в горах огоньки...* – Стихотворение М. Цветаевой «Детский юг» («В каждом случайном объятии...») имеет подпись: *Гурзуф, Генуэзская крепость, апрель 1911.*

...Ее мать... – Надежда Григорьевна Глазер (1823–1908) – бабушка М.А. Волошина.

С. 22. *...Серезжа – художник...* – Сергей Гаврилович Пустовойт (1945–1992) – художник, писавший в мастерской М. Волошина. Известны его групповые портреты «коктебельцев» и пейзажи Крыма.

...царицы Таиах... – Гипсовый слепок с древнеегипетской скульптуры Волошин привез из Парижа; он видел в ней сходство со своей первой женой М.В. Сабашниковой.

...в робком и все же крепком рукопожатии вспыхнула мне – душа... – Речь идет о Валерии Ивановиче Исайнце (род. 1945) – поэте и эссеисте. Анастасия Ивановна, высоко ценя его дарование, в тяжелые годы его болезни временами пыталась помогать ему.

С. 23. *...Скульпторы – муж и жена...* – Скульптор-миниатюрист, график Ариадна Александровна Арендт (1906–1997) и ее муж – скульптор Анатолий Иванович Григорьев (1903–1986) были близки к кругу Волошина. В 1955–1956 гг. в Коктебеле построили дом с мастерской.

...Она племянница Ариадны Николаевны Латри... – Ариадна Николаевна Латри (1876–1945) – певица, художник; жена живописца М.П. Латри, внука Айвазовского.

...бодрая страдальца верит в перевоплощения... – А.А. Арендт была последовательницей индийского философа Кришнамурти и разделяла взгляды индуизма о реинкарнации.

С. 25. *...Но я мечтал достать пролетку...* – Перифраза стихотворения Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!..», где есть строки: «Достать пролетку. За шесть гривен / Чрез благовест, чрез клик колес / Перенестись туда, где ливень / Еще шумней чернил и слез».

С. 26. *...кистью футуристов, других «истов», Диего Ривера...* – В Доме Поэта хранятся два портрета Волошина работы выдающегося мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы (1886–1957). Написаны в Париже в 1916 г. в кубистической манере.

...Сухие травы в керамических вазах. Портреты. Маски... – Подробнее о мемориальных вещах Дома Поэта см. очерк «Макс в вещах» в книге воспоминаний М.С. Волошиной «О Максе, о Коктебеле, о себе» (Феодосия; М., 2003. С. 80–147).

...Гомер... – Гипсовый слепок головы Гомера Волошин привез из Парижа.

С. 27. *...писавшая его художница...* – Ирина Владимировна Бржеская (1909–1990) – художник-портретист; близкий друг А. Цветаевой (сохранилось более 200 ее писем к А. Цветаевой).

С. 28. *...шестидесятилетней хозяйки Лизы...* – Елизавета Петровна Калинина – жительница Старого Крыма, в доме которой в 1971 г. отдыхали Е. Кунина и А. Цветаева.

...восхищенное одобрение моей прозы (66 год, «Новый Мир»)... – А. Цветаева. Из прошлого // Новый мир. 1966. № 1, 2.

...придет наш Андрей... – Андрей Львович Борозин (1939–2016) – литератор, поэт. Крестник Е. Куниной.

С. 29. *...озорника Виталика...* – Виталий Лёзов – уроженец Старого Крыма. «Названный внук» Е. Куниной.

...год со смерти жены Александра Грина... – Нина Николаевна Грин (1894–1970) – вторая жена писателя Александра Грина.

...Поэта, Григория Николаевича Петникова... – Григорий Николаевич Петников (1894–1971) – поэт-футурист, переводчик. Скончался в Старом Крыму 11 мая 1971 г., похоронен рядом с могилой А.С. Грина.

С. 30. *...стоял с Дмитрием Ивановичем Шепеленко...* – Дмитрий Иванович Шепеленко (1897–1972) – писатель. Приятельствовал с А. Грином, написал о нем воспоминания, частично опубликованные в сб. «Феодосия, мой древний град» (Феодосия; 1997).

...верную жену Грина по клевете не разрешили похоронить рядом с ним... – Нину Николаевну Грин, оклеветанную в пособничестве оккупантам, власти не разрешили похоронить в семейной ограде. Осенью 1971 г. ее тайно перезахоронили вблизи могилы мужа.

...Исчезнуть. Не оставив праху На урну... – Неточная цитата из стихотворения М. Цветаевой «Прокрасться» (1923): «*Распасться, не оставив праха / На урну...*»

...увидеть о. Макария... – Отец Макарий – священник феодосийского православного храма. Духовный отец Г. Петникова.

С. 31. *...Ничья! Могила – Поэта!..* – Свое впечатление от неухоженной могилы А. Цветаева высказала в письме к его вдове Екатерине Кузминичне Петниковой от 17 октября 1972 г. В ответ та поясняла, что еще не успела сделать все, что нужно в таких случаях.

...книга восточного поэта... – Автор книги «Лирика» (М., 1969) – индийский поэт *Мирза Галиб* (1797–1869).

С. 33. *...Я еще была совсем молода, когда себя связала обетом...* – Обет целомудрия, вегетарианства и отказа от лжи был принят Анастасией Ивановной в 1922 г. под влиянием Бориса Михайловича Зубакина (1894–1938) – основателя и руководителя последней ложи розенкрейцеров в Москве.

...Стихи эти... посвящены Валерием – мне... – Тогда же Валерий подарил Анастасии Ивановне стихи, написанные для нее, с посвящением: «*Любимой Анастасии Ивановне посвящаю в день ее рождения*»:

«Господи, Господи, / Если ты есть, / Если ты есть, / Услышь мою песнь. / Да святится имя Твоё – к Тебе. / Оставь для меня свою месть. / В ней не хвала, не лесть. / И пощади её. / Только склоненный в мольбе Ваш Валерий Исаия, 27 сентября 1971 г. *Старый Крым*».

...Мы идем в Лягушачью бухту... – Одна из бухт заповедника Карадаг.

С. 34. *...бесславно погибли на стройках настоящие драгоценности, чудеса прозрачностей и туманностей...* – В 1950-х пляж в Коктебеле был обезображен бесконтрольной выемкой гальки для строительных нужд.

С. 37. *...прославленный Новый Свет...* – Курортный поселок Новый Свет получил всемирную известность прежде всего благодаря заводу шампанских вин, основанному князем Л.С. Голицыным.

...Над виноградными долинами... – Опубликовано в книге: *Кунина Е.* Самое дорогое. М., 1994. С. 143. Стихотворение посвящено А. Цветаевой и датируется октябрём 1971 г. (Дорога: Планерское – Судак).

С. 38. *...Вот Алчак...* – Алчак – мыс в юго-восточной части Крымского полуострова с расположенной на нем одноименной горой.

...дружившей с семьей графов Капнист... – Дом Капнистов находился в долине, недалеко от моря. В доме Капнистов в Судаке бывали М. Волошин, Н. Бердяев и др. Хозяин дома Ростислав Ростиславович Капнист был также расстрелян во время красного террора в Крыму в 1921 г.

С. 39. *...профессор Кудрявцев...* – Ученый-биолог из Петрограда, «застрелянный» в период Гражданской войны в Судак.

С. 40. *...В Шаляпинский грот...* – Имеется в виду грот Голицына. Устойчивая легенда о пребывании Ф.И. Шаляпина в гостях у Л.С. Голицына и вообще в Новом Свете не имеет документальных подтверждений. Тем не менее жители Нового Света хранят память о великом певце; одна из улиц поселка названа его именем; в гроте иногда проводятся концерты и театральные постановки.

...«Оду пешему ходу» Маринину... – Цикл М. Цветаевой «Ода пешему ходу» начинается так: «В век сплошных скоропадских, / Роковых скоростей – / Слава стойкому братству / Пешеходных ступней!»

...Côte d'Azur... – Лазурный берег (фр.).

С. 41. *...Царскую бухту...* – Имеется в виду бухта Голубая, в которой находится Царский пляж; назван так в память о событии 1912 г., когда сюда с яхты «Штандарт» высадился Николай II со свитой.

С. 43. *...молитву св. Пантелеймону...* – Св. Пантелей-целитель. Ему Анастасия Ивановна молилась при телесном и душевном недомогании.

С. 45. *...Прозрачно-черной и туманно-белой...* – Кунина Е. Самое дорогое. М., 1994. С. 147.

С. 47. *...О ветер, ветер колдовской...* – Там же. С. 140.

С. 48. *...В ночь на восьмое я пишу стихи...* – К сожалению, в рукописи стихи не обнаружены.

С. 49. *...у него есть мать...* – Анна Петровна Исаянц (?–1980) – мать Валерия Исаянца. В то время жила вместе с сыном в Воронеже.

...Не была в Симферополе с 23-х с Валей... – Валентина Иосифовна Зелинская (1892–1928) – владелица имения Базулак недалеко от Старого Крыма. В романе А. Цветаевой «Амог» выведена под именем Андрея Павловича (Панич). В 1920 г. эмигрировала во Францию.

...художница – звала, ждет... – Елена Варнавовна Нагаевская (1900–1991) – художница, искусствовед. Друг и корреспондент А. Цветаевой.

...армянки Марии Альбовой... – Мария Альбова (псевдоним Е.В. Белявской) при содействии А. Цветаевой и П.Г. Антокольского опубликовала первый сборник своих стихов – «В моем саду большом» (Симферополь, 1971).

С. 49. ...налегке – в Музей... – Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Расположен на территории ханского дворца – бывшей резиденции правителей Крымского ханства.

...*Бедные женщины, оне...* – *Оне* – так в рукописи – по старой, времен юности автора, орфографии.

...*Мы у «Бахчисарайского фонтана»...* – Знаменитый Фонтан слез был создан иранским мастером Омером по распоряжению хана Керим-Гирея в память его любимой жены Диляры-Бикеч, умершей в 1764 г. Название «Фонтан слез» связано с поэмой Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

С. 50. ...*Синяя магия сна...* – Стихи В. Исайнца.

С. 51. ...*Из одного Царства Истории, Русской – в Историю Греции...* – Историко-археологический заповедник Херсонес имеет мировую известность. Херсонес был основан в 422–421 гг. до н.э. и являлся греческой колонией. В 988 г. киевский князь Владимир здесь принял православие. С этого события ведет отсчет история христианской Руси. Жизнь в городе окончательно угасла к сер. XV в.

С. 52. ...*чертеж руин...* – Первые раскопки на месте погибшего Херсонеса были произведены в 1827 г. Наиболее систематически раскопки велись с конца 1880-х.

С. 53. ...*Мы не забудем тебя, Херсонес...* – В архиве А. Цветаевой сохранился фотобуклет «Херсонес Таврический» (Киев, 1969), на первой странице обложки имеется надпись: «Анастасии Ивановне Цветаевой 10 октября 1971 г. Валерий Исайнец» и стихи: «Отрадно, грусть рассеяв / Забыться в шуме дня. / Длинной в тысячелетье – / Одиссея / Косая тень преследует меня. В.И.» И на обороте: «Мертвый город ожил – для нас; живее живых городов; чувство смещающее время – всесильно, и, если оно чисто... то оно истина... В<алерий>.»

С. 54. ...*Гул большого приморского города. Европейского...* – В архиве А. Цветаевой имеются несколько открыток с видами Севастополя, на обратной стороне которых ее пометы: «мое память 71 г.». – («Сквер на Приморском бульваре»); «мое 1906–1971 («Графская пристань»).

...*мы еще сошли в Графскую пристань...* – Изображение Графской пристани стало своеобразной эмблемой Севастополя. Ее белая колоннада украшает город с 1846 г.

...*я там была с родителями и Мариной в 1905 году...* – И.В. Цветаев перевозил больную жену и детей из Европы в Ялту (они провели в Севастополе несколько дней в середине сентября 1905 г.)

С. 55. ...*Строки Ростопчиной...* – Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858) – поэтесса, прозаик и драматург.

...*Двенадцать раз луна всходила...* – Из стихотворения Е. Ростопчиной «Черноморским морякам» (цит. по памяти).

С. 55. *...вошли в – может быть, не тот? – трамвай...* – В 1971 г. в Севастополе трамвая, разрушенного во время войны, уже не было.

С. 57. *...она лечила его – пассами...* – Е. Кунина считала себя экстрасенсом, что вызывало крайнее осуждение со стороны Цветаевой, ортодоксальной христианки.

С. 58. *...комнаты, где Грин жил когда-то...* – Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина был открыт 9 июля 1970 г. В этом доме писатель жил в 1924–1929 годах. В музейной книге отзывов сохранилась записка, сделанная А. Цветаевой. Опубл. в альманахе «Крымский альбом 1996» (Феодосия; М., 1996. С. 184).

С. 59. *...тот не ошибся бы так...* – «О, еще как ошибается! (Мне, позже, со смехом своим колдовским, Женя...)» – Правда? И он? – с юмором: так они все – ошибаются. Только мы не ошибаемся с нашим почти бесконечным опытом жизни с беспощадным в нашей правдивости, в памяти и предчувствиях... Но это сноски. Прыжком назад, на лист...» (Примеч. А. Цветаевой).

...поэтесса Б. и поэтесса К<рестини>на... – Фамилию поэтессы Б. установить не удалось. Поэтесса К-на – феодосийка Наталья Владимировна Крестинина (1901–1991). В архиве А. Цветаевой имеется ее письмо (от 26 окт. 1971), присланное в Москву со стихами и воспоминанием об этой встрече: «Мы с Вами познакомились в день Вашего отъезда из Феодосии на привокзальной площади и Вы, помните, устроили маленький поэтический утреник. Я сильно жалею, что встреча была такой краткой, а ведь для меня – это целое событие!..»

...шум волн перед дворцом Айвазовского... – Имеется в виду основанная и построенная Айвазовским Феодосийская картинная галерея его имени, открытая в 1880 г. Расположена недалеко от ж/д вокзала – на углу ул. Галерейной и проспекта Ленина (с конца 2003 г. – проспект Айвазовского).

...Einmal ist Keinmal... – Один раз – все равно что ни разу (нем.).

С. 62. *...qu'importe...* – Неважно что (фр.)

...я хочу... попытаться найти старые мои квартиры... – В архиве А.И. Цветаевой сохранился неоконченный очерк В. Исаянца об этом событии – «В поисках дома, где жила Анастасия Ивановна (Феодосия, 1921 г.)».

С. 63. *...художника русского...* – Имеется в виду Николай Иванович Хрустачев (1884–1960) – художник, друг А. Цветаевой. Его попечению она оставляла детей в 1917 г., когда уезжала в Москву к смертельно заболевшему мужу.

...там была мастерская... и Богаевского... – Дом и мастерская художника Константина Федоровича Богаевского (1872–1943) были практически полностью разрушены в Великую Отечественную войну.

С. 63. *...мирового судью Лампси...* – Петр Николаевич Лампси (1869–?) – феодосийский судья. Внучатый племянник И.К. Айвазовского. С 1920 г в эмиграции.

...у кого я жила возле Фесслеров... – Адольф Иванович Фесслер (1826–1885) – художник-маринист, ученик Айвазовского.

С. 64. *...другом моим, Леонидом...* – Леонид Лансберг (1898–1957) – юрист. Друг А. Цветаевой с 1920 г. Выведен в романе «Амог» под собственным именем.

С. 65. *...после смерти второго мужа...* – Маврикий Александрович Минц (1886–1917) – инженер-химик. Второй муж А. Цветаевой.

...Борис со второй женой... – Речь идет о М.И. Кузнецовой-Гриневой – второй жене Б.С. Трухачева.

...моя жизнь перешла к Вале... – Валентине Иосифовне Зелинской.

...англо-королевским черным конем... – В романе «Амог» имя вороного коня Рапид (rapid с англ. – быстрый).

...Валя, стала уже насовсем – сном... «Вот он идет по земле – на своей фантастической лошади, вылиты из одного куска...» – Источник автоцитаты не установлен. Характерно смешение «он» и «она» при воскрешении давно отошедшего героя (героини) своей молодости.

С. 66. *...Вот «Астория»...* – Гостиница «Астория», была лучшей в дореволюционной Феодосии.

...обедали, как все в... Наробразе... – А. Цветаева в те годы служила в Наробразе – организовывала народные читальни.

...Поезд Феодосия–Москва... – В поезде В. Исаянц подарил А. Цветаевой иллюстрированную брошюру «Панорама обороны Севастополя (1854–1855)» (Симферополь, 1970) со следующей надписью: «Анастасии Ивановне Цветаевой в память вдохновенных дней, дней-жемчужин, дней-агатов, сердоликов: в Бахчисарае, в древнем Херсонесе, Старом Крыму, в поезде Феодосия–Москва. С любовью и благодарностью. Валерий Исаянц. 13 окт. 71 г.».

С. 67. *...стихи, посвященные сестре Сережи Марине...* – Личность Сережи и личность его сестры не установлены.

...Женя анализирует стих... – Стихи в рукописи отсутствуют; не найдены они и в архиве А. Цветаевой.

С. 69. *...Шагали баснословно гордо...* – Из стихотворения В. Исаянца «Пролетка».

С. 70. *...Расспросив... у молодого друга...* – Среди ходивших с Анастасией Ивановной в Колюпаново были Андрей Борозин, Виктор Мамонтов и Винцент Шаргунов. Предположительно, А. Цветаева имеет в виду поэта и переводчика В. Шаргунова, принявшего впоследствии священнический сан под именем о. Александра (был ее духовным отцом вплоть до ее кончины).

С. 70. *...Лес за Алексином...* – Алексин – Город в Тульской области. *...столетняя старица Евфросинья...* – Блаженная Евфросинья (кн. Вяземская, фрейлина Екатерины II, при крещении – Евдокия) была канонизирована лишь в 2000 г. А. Цветаева, находясь в ссылке, переписала ее житие и перерисовала ее портрет.

...В Казанскую каждый год вся долина полна народу... – Праздник иконы Казанской Божьей Матери отмечается 21 июля и 4 ноября.

С. 73 *...Я – на крыльях несусь – рассказать про Чудо...* – История поездки в Колюпаново описана Анастасией Цветаевой в рассказе «Грабители» – в сб. «О чудесах и чудесном» (М, 1991).

...не книга о Ней, мною некогда списанная в Сибири... – У А. Цветаевой имелась тетрадь с вышеупомянутым, переписанным в ссылке, «Житием св. Евфросиньи».

С. 74. *...Мы в Москву прибыли в четыре утра...* – После окончания путешествия в Колюпаново за святой водой и в Заповедник (под Курском) В. Исаенц подарил А. Цветаевой книгу «Поэты 1790–1810 годов» (М.; Л., 1971) с дарственной надписью: «“Отрадно видеть – чудо есть”. Книгу русских стихов – выдающемуся мастеру русской прозы, любимой Анастасии Ивановне Цветаевой. Первый читатель “Воспоминаний” с благоговением и любовью Валерий Исаенц ноябрь 71. Москва (после поездки в Алексин и под Курск, в память о ней)».

...письмо от 86-летнего друга, Владимира Казимировича Герцыка... – Владимир Казимирович Герцык (1885–1976) – биолог, организатор заповедника «Стрелецкая степь». Младший брат поэтессы Аделаиды Герцык и писательницы Евгении Герцык.

...с пятидесятилетней дочерью Вероникой... – Вероника Владимировна Герцык (1916–1976) – почвовед.

...книга же вот-вот выйдет... – «Воспоминания» – самая известная и многократно переиздававшаяся книга А. Цветаевой, впервые отдельным изданием вышла в 1971 г.

...завтра полетит письмо другу – художнице... – Имеется в виду И.В. Бржеская

С. 76. *...Путешествие продолжается...* – В архиве А. Цветаевой сохранилась открытка с видом ж/д вокзала Симферополя, на обороте которой она сделала надпись: «Моё в память поездки в XI 71 г. с Валериком к Герцык за Курск».

С. 78. *...красивый, веселый друг...* – Виктор Ааронович Мамонтов (о. Виктор; 1938–2016) – друг А. Цветаевой. По образованию филолог. Когда он обратился к религии, в 1971 г. А. Цветаева стала его крестной матерью. С 1982 г. был настоятелем русского православного храма св. Евфросиньи в г. Карсава (Латвия).

С. 78. *...Рита моя вышла замуж...* – Внучка Маргарита Андреевна Трухачева (Рита; род. 1947) вышла замуж за биолога, профессора Ростислава Михайловича Мещерского (1921–1986), который был сыном «духовной сестры» А. Цветаевой по ложе розенкрейцеров (псевд. Ней) Надежды Александровны Мещерской (1899–1966).

С. 79. *...Вы идете ночевать к Саше...* – Саша, жена В. Исаянца, постоянно проживала в Воронеже. В Москве, видимо, останавливалась у знакомых.

С. 82. *...Пойдем к Шагинян...* – О визите к М.С. Шагинян писал В. Исаянец в статье «К 90-летию Анастасии Цветаевой. Очерки импрессиониста».

...прочсть Вам мое предисловие к его книжке... – Имеется в виду предисловие А. Цветаевой к сб. стихов В. Исаянца «Лирическая тетрадь» (книга не была выпущена).

С. 83. *...Он дарит мне книжку Кольцова...* – Книга поэта А. Кольцова с дарственной надписью В. Исаянца не обнаружена.

...происходит неожиданное... – Речь идет о потере В. Исаянцем паспорта и его необоснованно нервной реакции на совет А. Цветаевой, как возобновить этот документ.

С. 85. *...с братом Евгении Филипповны...* – Иосиф Филиппович Кунин (1904–1996) – музыковед. Был другом А. Цветаевой, активно участвовал в первичной редакции рукописей «Воспоминания» и «Амог».

С. 87. *...Мистер Эйнджил...* – По-английски это звучит как Мистер Ангел.

...как название книги Павлика Антокольского... – Имеется в виду книга поэта П. Антокольского «Высокое напряжение. Стихотворения 1960–1961» (М., 1962).

С. 88. *...Мы идем по проспекту Калинина, неестественно белой улице новой Москвы, для которой был уничтожен целый район Москвы...* – Проспект Калинина (ныне ул. Новый Арбат) проложен на месте переулков Старого Арбата в начале 1960-х гг.

С. 89. *...Вам – в старое, мне – в новое...* – Старая станция метро «Арбатская» – Арбатско-Покровской линии; новая «Арбатская» – Филевской линии. Эти станции, несмотря на одинаковые названия, переходом между собой не объединены.

С. 91. *...«What is wrong with the world» Честертона. Как Миронов хотел перевести это: «Что неладно с миром»...* – Вопрос «What's wrong with the world today?» («Что случилось с миром сегодня?») был отослан редакцией газеты «Таймс» английскому писателю Гилберту Киту Честертону. Николай Николаевич Миронов (1893–1951) – офицер. По словам А. Цветаевой, он был «девятым валом» чувств ее молодости.

Ему посвящено немало страниц в «Воспоминаниях» А. Цветаевой (в двухтомном издании 2008 г.) и в романе «Атог».

С. 92. *...моя редактор...* – Маэль Исаевна Фейнберг-Самойлова (1925–1994) – бессменный редактор первых четырех изданий «Воспоминаний» А. Цветаевой (1971, 1974, 1983, 1995).

...он – радовался. Поздравлял... – Еще раньше В. Исаянц читал рукопись книги «Воспоминания». Об этом сохранился самостоятельный фрагмент: «Он дочитывал одну из частей черновиков о моей юности. Он лежал. Такое лицо могло быть после взрыва слез – сразу. Глаза были влажны какой-то внутренней влагой. Блеск мысли – не то! Лицо ходило ходуном, некой дрожью, потрясенностью жизнью другого, как своей. Глаза взблескивали в мои, широко раскрытые, карие. Полные молчащей любви.

– Кончаете главу? Семнадцатую?

Молча кивнул. Высвобождаясь из-под мною наброшенного одеяла, он сильно прижал мои руки к груди. Поцеловать? – поняла я, было мало. Под моей рукой колотилось сердце.

– Немало людей будут плакать над этим, – от движенья шелестнули листки машинописи. Он метнулся – от себя, от них, от меня, быть может? Я мягко высвободила руки. Дать человеку вздохнуть».

С. 93. *...оно возвращалось, счастье, на круги своя. Теперь...* – С ноября 1971 г. в переписке Анастасии Ивановны с Анной Петровной (мамой В. Исаянца) и близкими друзьями (Куниной, Бржеской и др.) все отчетливее проявляется тревога о его прогрессирующем душевном расстройстве.

...он уехал в Воронеж... – В этот период, с конца декабря 1971 г., в Воронеже В. Исаянц занимался вопросами восстановления утерянного паспорта и возбуждения дела о разводе.

...если Бог поможет, – он выздоровеет к Рождеству... – 4 янв. 1972 г. А. Цветаева получила от В. Исаянца из Воронежа телеграмму: «*Буду шестого девять утра вагон 2 = Валерий*». После непродолжительного пребывания в Москве он снова вернулся в Воронеж.

...Мы были одни в мастерской... – Мастерская художницы И. Бржеской. В конце февраля 1972 г. А. Цветаева с В. Исаянцем приехали по приглашению Бржеской в гости и по ее желанию – написать их парный портрет. Двойной портрет в этот приезд был написан.

...недавно писали мне (ежедневно)... – В этой и других открытках, посланных в начале декабря 1971 г., В. Исаянц настойчиво звал приехать: «Дорогая Анастасия Ивановна, Таллином я просто ошарашен. Брожу час, другой – всё в 15 веке!.. Здесь Вам понравится, приезжайте поскорее... И<рина> В<ладимировна> с нетерпением ждет Вас, хочет писать, рада моему приезду. Жду от Вас вестей. Ц<елую> Ваш Валерий».

С. 93. *...я болею немного...* – А. Цветаева в Таллине болела воспалением легких.

С. 94. *...А ведь наше Путешествие – еще длится!?*... – После Таллина у А.И. Цветаевой была намечена поездка с В. Исаянцем на три дня в Ленинград.

С. 95. *...сказки «Черепаша»...* – «*Черепаша*» – мой рассказ-сказка, написанная в 29 лет, в 1923 г.»... Как неоднократно писала А. Цветаева в дарственных надписях на публикациях сказки.

...началась История одного путешествия, – и в трехдневный срок полета поезда по России, Уралу и казахским степям оно, часы и часы, отдыхая лишь сном, перо по бумаге – сомкнулось... – По дороге в Павлодар к семье сына А. Цветаева в поезде в течение трех дней написала «Историю закончившегося путешествия – “второе кольцо восьмерки”».

...Остался неуместившийся в три дня труда Карантин, блужданье по феодосийским старым улочкам... – Этот эпизод, явившийся финалом их путешествия по Крыму, был написан позднее и включен в текст в соответствующем месте (поиск дома на феодосийском Карантине).

...Когда снежинку, что легко летает... – Стихотворение М. Цветаевой «Ошибка» из сб. «Вечерний альбом» (1910).

С. 96. *...«и любимому веки веков...»...* – Полностью текст надписи со словами, вставленными (курсивом) А. Цветаевой, следующий: «Дорогой Анастасии Ивановне от пса, – *породистого, драгоценного, с чутьем бесподобным – любимого во веки веков* – выбранного в Коктебеле, на книжке... Валерий Исаянц. Окт. 1971 г. Москва» (название книги не установлено).

С. 98. *...Борис, Миронов... о Вале, Леониде, Маврикии Александровиче...* – Речь идет о Борисе Трухачеве, Николае Миронове, Валентине Зелинской, Леониде Лансберге, Маврикии Минце.

...Мориц... – Персонаж автобиографического романа А. Цветаевой «Амог». Его прототип Арсений Аркадьевич Этчин (1902–1946) – инженер-строитель. Сначала с 1937 г. по политической статье отбывал срок, позже работал вольнонаемным в Нижне-Амурском лагере, где была в заключении А. Цветаева.

...во время моей болезни... – А. Цветаева на обороте нескольких открыток с видами Таллина делает надпись: «Себе на память о Таллине (когда болела у Ирины)».

С. 99. *...Я встретил – Друга...* – Имеется в виду Е.А. Х-ва (не установлена), с которой В. Исаянц познакомился в свой первый приезд в Таллин в январе 1972 г.

...У нее спросить надо... – Позже, в ответ на письмо А. Цветаевой из Ленинграда, Е.А. Х-ва писала: «Мне пишет и звонит Валерий. Я приняла его в свое сердце и теперь боюсь за него и чувствую себя ответственной

за него... чем помочь ему?». А. Цветаева 14 апреля 1972 г. отвечала: «Чем помочь? *Убедите его...* – *быть добрей* к матери. Он не умеряет свою нервозность к ней, наоборот...»

С. 99. *...ему часто хочется звать меня «бабушка Асенька»...* – Е.А. Х-ва в одном из первых писем (в начале апреля 1972 г.) к А. Цветаевой неосторожно написала, что «пишу Вам как матери (в таком случае Валерий мне – сын, поскольку ему хотелось назвать Вас бабушкой)...» В ответ на это А. Цветаева пишет: «“Бабушкой” ему пять месяцев *не* хотелось звать меня, дивился моей молодости – об этом не раз говорил. Попытался назвать – шуткой – в поезде из Таллина <...>. *Другом* был мне, вот...»

С. 100. *...я перешла в разряд «бабушки Вари»...* – То есть бабушки В. Исайнца Варвары Ивановны Бедроян, жившей в Краснодаре.

...до тех слов о «бабушке Асеньке»... – Позднее в письме к А. Цветаевой (из Москвы в Павлодар, 4 мая 1972 г.) В. Исайнец обратился к ней: «Бабушка Асенька» (впервые в переписке). В ответном письме (12 мая 1972 г.) А. Цветаева писала, что у нее нет морального права называться «бабушкой» при его живой бабушке, и, кроме того, «Ваша встреча со мной тем и была знаменательна, и казалась редка, что *возраста* в ней не чувствовалось. Две души были и только» и далее: «У меня есть хорошее имя, данное мне матерью, и есть отчество, тоже достойное, от отца».

...Я ему – письмо... – В письме, написанном в поезде Москва – Павлодар, куда А. Цветаева ехала к сыну (25 марта 1972 г.), есть слова, передающие горечь окончания отношений: «Боль моя – *Semper Idem* [всегда одна и та же]. Везу! В ней никого не виню – *п<отому> ч<то>* себе. Боль всегда будет, если позволить себе (хотя я не “позволила”, она ворвалась, но вот – позволила? ей ворваться) – жить в области души (Душа = Боли.) Психея, что оторвавшаяся от – тела, не дотянувшаяся – выше».

Зимний старческий Коктебель

Текст очерка «Зимний старческий Коктебель» впервые опубликован: Юность. 1989. № 9. С. 45–51. Вторая прижизненная публикация в кн. «Неисчерпаемое» (М., 1992. С. 97–121) с подзаголовком «дневниковые записи 10–15 ноября 1988 года».

С. 103. *...мой 76-летний сын...* – Трухачев Андрей Борисович (1912–1993), инженер-строитель, первый, старший сын А.И. Цветаевой. Был арестован вместе с матерью в один день, бывший заключенный.

Фильм о Марине Цветаевой – сестре моей – после командировки съемочной группы в Париж, по ее следам, в Чехословакию шел

к концу. – Имеется в виду документальный фильм «Гибель Марины Цветаевой» (1989). Творческое объединение «Экран» Гостелерадио СССР. Сценарист – Владимир Фараджиев. Режиссер – Дмитрий Демин. Продолжительность – 60 минут.

С. 103. *Каховском море* – Каховское водохранилище – в нижнем течении реки Днепр. Расположено на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Введено в эксплуатацию в 1956 году.

С. 104. *Сюрюкая* – самая известная скала, продолжающая коктебельский горный ряд Карадаг. В переводе с крымско-татарского «Сюрю-Кая» означает «Острая скала».

Святая гора – входит в горный массив Карадаг. Гора Святая – наиболее высокая вершина горной системы Карадага. Имеет куполообразную форму и покрыта лесом. А. Цветаева рассказывала, что свое название гора получила потому, что на ней похоронен татарский праведник.

Карадаг-гора – название «Карадаг» по-татарски означает «Черная гора». Карадаг – один из древнейших вулканов Европы. Последнее извержение вулкана было 160 миллионов лет назад, потом произошел тектонический сдвиг вулкана, который расколол его на две части, одна осталась на берегу (нынешний Карадаг), вторая часть ушла под воду.

голосом Макса... – Т.е. голосом Максимилиана Александровича Киреенко-Волошина (1977–1932), поэта, писателя, художника, литературного критика, мыслителя-антропософа, друга М. и А. Цветаевых.

И низко над холмом дрожащий серп Венеры ... – Две строки из стихотворения М. Волошина, начинающегося словами «Заката алого заржавели лучи», это 12-е стихотворение из цикла «Киммерийская весна» (1913).

...Бессонница. Гомер. Тугие паруса... – Прерываемый ремарками А. Цветаевой текст известного одноименного стихотворения 1915 г. О.Э. Мандельштама, друга сестер Цветаевых. Приводится полностью.

С. 105. *Дома творчества* – Дом творчества писателей в поселке Планерское, так тогда назывался поселок Коктебель в Крыму, расположен недалеко от берега моря, обладал своей парковой территорией, по которой любила гулять А. Цветаева.

С. 106. *Шубка синеглазой Оксаны...* – Тут говорится о коктебельском барде, враче Дома творчества писателей Оксане Петровне Бузук, которая пела под гитару авторскую программу на стихи М. Цветаевой и М. Волошина.

Я три года не приезжала! – В предыдущий свой приезд А.И. Цветаева в Коктебеле побывала в 1985 году. С нею одновременно в Коктебеле по ее приглашению тогда побывали – ее сын, А.Б. Трухачев, ее родственники по первому мужу Ольга Владимировна Трухачева, ее сын Михаил

Олегович Смирнов и Станислав Айдинян. О том путешествии см.: *Айдинян Ст.* Так давно, с А.И. Цветаевой в 1985 году, в Коктебеле // *Айдинян Ст.* Четырехлистник. М., 2017. С. 313–319.

С. 106. ...*инсценировка к «Снегурочке»*... – Снегурочка («Весенняя сказка») – пьеса-сказка в четырех действиях с прологом Александра Островского (1873). В основе сюжета – русская народная сказка, почерпнутая Островским из второго тома «Поэтических воззрений славян на природу» (1867) А.Н. Афанасьева. Первая постановка в Москве, на сцене Большого театра, 11 мая 1873 года. Музыка к «Снегурочке» написал П.И. Чайковский.

Ире Махониной – Ирина Николаевна Махонина (1928–1992) – детский поэт. Родилась в Ленинграде, жила в Феодосии, ее имя среди первых сотрудников музея А. Грина, последние годы провела в Коктебеле, где работала экскурсоводом в Доме-музее М. Волошина. При жизни вышли восемь ее стихотворных книг для детей, среди них: «Пестрый полуостров» (1972), «Море к берегу ходило» (1974), «Облако и яблоко» (1987), а после смерти – сборник «взрослой» поэзии в Санкт-Петербурге и большой сборник «На улице Морской» (2013) в Феодосии.

Мусе Изергиной – Мария Николаевна Изергина (1904–1998) – пианистка, певица (меццо-сопрано), исполнительница романсов. Подруга Марии Степановны Волошиной. Развивала свою собственную мистико-эзотерическую теорию сотворения и развития Вселенной, имеющей, по ее словам, строение куполов... См. о ней: *Менчинская Н.* Сестры Изергины / Грани. 2010. № 233, 234.

С. 107. ...*я со Спутником встретила в больнице, заболев пневмонией, скоро 12 лет назад.* – Весной 1977 года А.И. Цветаева заболевает пневмонией, лечится в 45-й городской больнице в Сверчковом переулке в Москве. Там знакомится с врачом-кардиологом и писателем Юрием Ильичом Гурфинкелем.

...*минувших дней лета 1911 года в Коктебеле... Получая письма Бориса о скором свидании и ему отвечая, с замершим сердцем ждала его приезд.* – Речь идет об июне 1911 года. М. Цветаева посоветовала сестре А. Цветаевой пригласить в Коктебель Бориса Сергеевича Трухачева, ее будущего первого мужа.

...*счастье Марины и Сережи...* – Об этом подробнее написано в «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой: «Сережу любила Марина – и он любил ее совершенной любовью, и Марина была счастлива. Волнение ее счастья передавалось мне за нее – радостью! За нее, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда – в тоске» (М., 2008. Т. 1. С. 639).

С. 108. ...*свою степь только – в имени...* – Имеется в виду хутор Ярцевка в Сенновской волости Воронежской губернии. См.: *Цветаева А.* Воспоминания. Т. 2. С. 182 и далее.

С. 108. ...*слова Полежаева: Я видел море, я измерил.* – Строки из стихотворения Александра Ивановича Полежаева «Море» (1832).

С. 109. ...*телевизионщику Диме – он режиссер фильма.* – Д.И. Демин (умер в 2010 г.). Был режиссером телевизионного документального кино. После развала ТО «Экран» работал на различных студиях страны, в частности для телеканала РТР. Снял несколько фильмов из цикла «Исторический детектив» на студии «Ветров». Среди них – «Дело Михаила Кольцова», «Кто стрелял в Ленина», «Смертельная игра Маяковского» и др. Удостоен Национальной премии «Лавр».

Мы быстры и наготове ... – Первая часть стихотворения М.И. Цветаевой «Асе» (11 июля 1913).

С. 110. *Образ твой, мучительный и зыбкий...* – Стихотворение О.Э. Мандельштама (1912).

После бессонной ночи слабеет тело... – Стихотворение М.И. Цветаевой (19 июля 1916). Приводится более ранний вариант, в котором строка «Целая опера...» в «каноническом тексте» известна как «Целая радуга в каждом случайном звуке». Потому А. Цветаева дает примечание: «“Целая опера – в каждом случайном звуке” – Цитирую первый вариант, потом она кое-что меняла».

С. 111. ...*в книге «Дым, дым и дым» я писала: «Маринина смерть будет самым сильным, глубоким, жгучим – слова нет – горем моей жизни...* – В очерке «О Марине, сестре моей» («О чудесах и чудесном». М., 1991), читаем: «В моей книге “Дым, Дым и Дым” (1916) есть страница, начинающаяся словами: “Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим – слов нет – горем моей жизни”». Нам было 24 и 22 года. Марина всегда, с детства, была здоровее меня. Как смогло перо мое написать о смерти ее слово “будет”? Ничто не предвещало ее. Откуда было это душевное предвестие? Без всякого “если”! Как я смогла окунуться в силу, в ощущение этого горя – вдруг? С птичьего полета заглянуть из 1916 года в 1943, когда, два года бережа меня от вести о ее гибели, все же не смогли уберечь – весть дошла до Дальнего Востока, где я была на 10 лет в заключении» (С. 45-46).

...*но счастье тут Марины с Сережей – оно только во мне.* – См. коммент. к с. 107.

С. 112. ...*рассказать, как идти, Искусство, по берегу греха, не окунайтесь!..* – Подобные мотивы размышлений мы находим у М. Цветаевой в ее очерке «Искусство при свете совести» (1932).

...*последнего мужа, обратив в веру, отпустила в монастырь.* – Речь идет об Ирине Махониной.

А Спутник не только художник, он – писатель. – См. его книгу: Гурфинкель Ю. Анастасия. М., 2010. Он также автор рассказов, которые читал вслух А.И. Цветаевой и которые она ценила.

С. 112. *Мы (лет 5–7 назад?), поэтесса и переводчица Женя Кунина.* – Евгения Филипповна Кунина (1898–1997) – поэт, врач-дантист по профессии. Посещала Профессионально-техническую школу поэтики, где слушала лекции В.Я. Брюсова, Вяч. Иванова и др. Ее стихотворения печатались в «Новом мире» (1995, № 10), «Новой Юности» (2000, № 4(43) и др. Книга «Самое дорогое» (М., 1994) – наиболее полное прижизненное собрание ее стихов, к которому предисловие написала А. Цветаева.

С. 113. *...поэт с бакенбардами.* – Неустановленное лицо.

И на вышку нельзя, откуда в 1914 году на затмение солнца смотрели за десяток дней, помнится, до начала войны. – Это было 8 августа 1914 г. – А.И. Цветаева вместе с обитателями Дома М.А. Волошина наблюдала солнечное затмение.

Je suis cet harpiste qui passe au milieu des armees («Я тот арфист, который проходит между армиями») – по мнению А. Цветаевой, ею высказанному многократно, эта поэтическая строка наиболее полно психологически характеризовала жизненную позицию М.А. Волошина.

...где он прятал в войну гражданскую «и белого офицера, и красного командира», как сказано в его «Доме Поэта»... – Имеется в виду одноименное стихотворение М. Волошина, написанное 25.12.1926 года. В нем есть такие строки:

В те дни мой дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер, –
Фанатики непримиримых вер –
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.

С. 114. *Алеша Шадрин, «мое последнее земное очарование», в 78 лет...* – Алексей Матвеевич Шадрин (1911–1983) – поэт и переводчик. Родился в Самаре, жил в Ленинграде. С 1931 г. преподавал в учебных заведениях Ленинграда, затем был репрессирован по доносу женщины, чьи чувства к нему не разделил. После реабилитации занимался литературным трудом. Переводил художественную прозу и поэзию с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского языков. Он перевел, в частности, классические тексты, среди которых – «Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина, «Гептамерон»

М. Наваррской, произведения Ги де Мопассана, Стендаля, О. Бальзака, А. Франса, Э. Золя, Жорж Санд, В. Скотта, Р. Киплинга, К. Мэнсфилд, Ш. Андерсона, М. Банделло, А. Карпентьера и мн. др.

С. 114. *...так Марина написала Евгению Ланну.* – Ланн Евгений Львович (наст. Лозман, 1896–1958) – поэт, переводчик, писатель. У него был «бесплотный» роман с А.И. Цветаевой в Крыму, в 1919 г. Поход к нему в гости с сестрой А. Цветаева описала в 25-й части своих «Воспоминаний» (М., 2008. Т. 2. С. 498 и далее). О Ланне она рассказывала, что он восклицал: «На юге Цветаева, на севере – Цветаева!» – имея в виду и А. и М. Цветаевых. М. Цветаева тоже увлеклась Ланном, посвятила ему ряд стихотворений и поэму «На Красном коне», позже перепосвященную А. Ахматовой. Ланн посвятил М. Цветаевой стихотворную пародию «Коктебель – Россия» (1925).

профессор Мануйлов – Виктор Мануйлов (1903–1987) – доктор филологических наук, пушкинист и лермонтовед.

С. 115. Дмитрий Сергеевич *Лихачев* (1906–1999) – доктор филологических наук (1947), профессор. Председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры (1986–1993). Академик АН СССР (1970), член-корреспондент (1953). Герой Социалистического Труда (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1969), Сталинской премии второй степени (1952). Был знаком с А.И. Цветаевой, они изредка переписывались.

Алик Курдюмов, 2 1/2-летний... – См. о нем: *Пчелин А.В.* Она боролась за каждую минуту бытия // Последний луч Серебряного века: воспоминания об Анастасии Цветаевой. М., 2010. С. 558–559.

...умерший от той же дизентерии, как мой сын Алеша, за 3 дня до него. – Алексей Маврикиевич Минц-Цветаев (1916–1917) – младший сын А.И. Цветаевой, рожденный в гражданском браке с инженером-химиком М.А. Минцем. Умер 12 июля 1917 года в Коктебеле. В свидетельстве о рождении официально был оформлен как Трухачев, поскольку А. Цветаева еще не была в разводе с мужем Б.С. Трухачевым.

Его отец, художник Курдюмов. – Курдюмов В.Н. – российский художник конца XIX – начала XX века. Живописец, график, книжный иллюстратор. Сотрудничал во многих проектах издательства Сытина и «Мира искусств». Основатель известного московского дома-коммуны в Лефортове, где жили и занимались живописью художники различных направлений, в том числе Казимир Малевич. Внес значительный вклад в историю русского модерна, находясь все же в тени более знаменитого Ивана Билибина, творившего в сходной манере.

Алику и Алеше крестик, под тамариском. – Имеется фотография могилы младшего сына, сделанная на коктельском кладбище самой А. Цветаевой. Могилы сохранились до наших дней.

С. 115. *...новой, однокомнатной квартире на Спасской...* – Последний московский адрес писательницы – Большая Спасская улица, д. 8, кв. 58 (на доме установлена мемориальная доска). Там жила она с 1979-го по 1993 г.

С. 116. *О горькой жизни рок. / Между землей и небом...* – Четверостишие из стихотворения А. Цветаевой «Сюита призрачная», которое наряду с другими стихами входит в ее роман «Амог», а также в ее кн. «Мой единственный сборник» (1995, с. 28).

С. 117. «Звезда» – Анненского: *Среди миров, в мерцании светил...* – Имеются в виду романсы на стихи известного одноименного стихотворения Иннокентия Анненского, написанного в 1909 г.

С. 118. «Алису из Страны Чудес» Льюиса Кэрролла, в некоем затруднение изрекшую: «Я бы дала 5 центов (может быть, 25?) тому, кто бы мне объяснил». – Имеется в виду реакция Алисы на очередной парадокс. Например, в переводе Б. Заходера есть такая фраза Алисы – «Я отдам наперсток тому, кто объяснит, про что тут говорится! Тут нет ни на вот столечко смысла!»

...обе «Звезды»... – Имеется в виду основная музыкальная интерпретация романса, музыка А. Вертинского; есть иная, Изабеллы Юрьевой, поэже и других авторов.

С. 119. *...в тюрьме слышанную...* – Скорее всего, в Бутырской тюрьме в 1938 году, или, что менее вероятно, в 1949-м в одной из пяти пересыльных тюрем.

...английский поэт Fitzgerald перевел стихи Омара Хайяма. – Эдвард Фицджеральд (1809–1883) – английский поэт, известен прежде всего своими переводами четверостиший рубаи Омара Хайяма. А. Цветаевой было известно издание: *Rubaiyat of Omar Khayyam the astronomer-poet of Persia, Rendered into English verse by Edward Fitzgerald. The fourth edition with original pref. and notes. Leipzig, 1910.*

Наша жизнь от земли отлетает, на землю падает!.. – Стихотворение это в русском переводе трижды цитируется в книге А. Цветаевой «Неисчерпаемое» в очерке «Зимний старческий Коктебель» (с. 112–113), а также как редакционный эпиграф ко всей книге и на последней странице ее обложки.

С. 120. *Господи! Ты, который все можешь, Чье Сердце, Его Ритм, Его Пульс (это я где-то прочла).* – Источник не установлен. Однако эта молитва получила общественное распространение через А.И. Цветаеву.

С. 121. *Пулярьды!* – Эти обеды получили название от пулярок, кастрированных кур, используемых для откорма и дающих мясо хорошего качества.

...друга моего Доброславы... – Донская Доброслава Анатольевна (р. 1925) – педагог, лектор. С 1986 г. стала постоянно посещать

А.И. Цветаеву, вела дневник, на основе которого написала о ней книгу «Анастасия Цветаева. Штрихи к портрету» (2002). Д.А. Донская жила близко к дому А.И. Цветаевой на Большой Спасской улице в Москве.

С. 124. *...окончание фамилии Спутника – «финкель» – немецкое *funkeln* – иначе не сумела бы перевести, как «полюхание»...* – По-немецки: *funkeln* – искриться, сверкать, сиять, блеснуть, переливаться, блистать, лучиться, гореть, играть; а вот слово *finkel* переводится и как «извилистый».

С. 125. *...отчего же так мил человек...* – Эта тема получила развитие еще в первой книге А. Цветаевой «Королевские размышления» (1915).

...Тем ты и люб, что – небесен... – Конец второго четверостишия из стихотворного посвящения М. Цветаевой О. Мандельштаму «Гибель от женщины. Вот знак...».

Руки люблю / Целовать, и люблю / Имена раздавать... – Второе стихотворение М. Цветаевой из цикла «Бессонница». Оно написано 27 мая 1917 г.

Фантастика прошлого, 1911 года. – См. об этом подробнее: Цветаева А. Воспоминания. М., 2008. Т. 1. Часть 13. Гл. 2: Коктебель, Кончитта. Пра. Игорь Северянин. Мария Паппер (с. 620 и далее.)

В первой публикации текста в журнале «Юность» была заметка от редакции, помещенная в конец текста Анастасии Ивановны: «Анастасии Ивановне Цветаевой в этом месяце исполняется 95 лет. Мы восхищаемся стойкостью, с которой она перенесла тяжелые годы своей жизни, сохранив свет и молодость души».

Моя Эстония

«Моя Эстония» – впервые опубликовано: Радуга. 1991. № 1. С. 17–29. № 2. С. 15–26. № 3. С. 13–18.

С. 131. *Лемперт Йохеллес* – См. о нем в повести «Моя Сибирь» (1988): «Тракторист МТС, бедняк, эстонец Лемперт Йохеллес покупает мой дом. Дает за мой дом – больше не может (стоил мне с доделками, с оградой и огородом за годы – 4500) – 1700. Единственный покупатель! Что делать? Деньги платит частями, а часть – мукой. Совал деньги в руку на улице, расписки не брал. Не понимал: “Расписка? Зачем? Я дал – вы взяли...” Эстонец!..» (с. 183).

С. 132. *Зоя Михайловна Цветкова* – Цветкова Зоя Михайловна (1901–1981) – преподаватель английского языка, профессор московского Института иностранных языков им. М. Тореза. В «Моей Сибири» читаем – «Я развернула на почте распечатанную телеграмму: “Шлю

тысячу задаток избу селе остальное почтой Цветкова. Зоя! Друг с 32-го года!» (с. 181), и о том же далее – «Зоино письмо, Цветковское, шелестит листами. И читаю я его как в бреду: “Шлю Вам тысячу телеграфом, а две тысячи – почтой. Торопитесь подыскать дом. Вам, обдумала, нет другого выхода, Ася, как купить дом в селе и перевезти к себе невестку с детьми...”» (с. 182).

...полуэстонкой, полушведкой Велли Сандбанк. – Неустановленное лицо.

С. 133. *...моя внучка Оля...* – Ольга Андреевна Трухачева (р. 1957), младшая внучка А.И. Цветаевой. В настоящее время директор совместной российско-американской фирмы «Монтана Кофе Трейдерс».

Подруга моя, Евгения Кунина... – Кунина Евгения Филипповна (1898–1997) – по профессии стоматолог. Поэт, переводчик. Близкий друг А. Цветаевой.

С. 134. *...внучка Оля сюда больше не ездит, у нее уже мальчики.* – Сыновья: старший Андрей Потерилло (р. 1978) и младший Григорий Потерилло (р. 1982).

Когда я приехала в 1987 году в Кясму со спутницей много моложе меня. – Вместе с Ириной Дмитриевной Карташевской (р. 1954), она друг и помощница А.И. Цветаевой, ее крестница. Работала чертежником на Московском заводе счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова («САМ»).

С. 136. *Двадцать первый год я летом живу в эстонском поселке Кясму (Käsmi в эстонском написании).* – Деревня на севере Эстонии в уезде Ляэне-Вирумаа, волость Вихула. Расположенная на Кясмуском полуострове, деревня возникла в середине XV века на берегу Финского залива. Поселяне были связаны с рыбным промыслом, подрабатывали и контрабандой.

Марии Эйнхольм, бывшей капитанши... – См. о ней в очерке: *Шульдинер Б.И.* Подарок судьбы // Последний луч Серебряного века: «Мария, перебирая своих жильцов, говорит, что самая лучшая ее квартирантка – Цветаева» (с. 260).

С. 139. *...впервые приехала в Кясму с младшей внучкой Олей...* – В августе 1967 г. впервые с внучкой Олей Трухачевой отдыхает в Кясму. С тех пор будет приезжать 25 лет подряд.

Архангельск, куда поехала повидаться к родным мать. – Мать – это Нина Андреевна, урожденная Шарыпова, в первом браке Зеленина (1917–1995), жена первого сына, Андрея Борисовича Трухачева, невестка А. Цветаевой (дата ее рождения в метрике по старому стилю – 23 декабря 1916 года; 5 января 1917 – это по новому стилю).

...композитор Николай Петрович Раков. – Николай Петрович Раков (1908–1990) – советский композитор, пианист, дирижер, педагог.

Народный артист СССР (1989). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946). Родился в Калуге.

С. 139....*двухтомник Андерсена*. – Ганс Христиан, дат. Hans Christian Andersen (1805–1875) – датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых.

С. 141....*моей старшей внучке Рите...* – Маргарита Андреевна Трухачева (р. 1947), переводчик с английского языка. С 1987 года живет в Сан-Франциско, в США.

С. 142. *С Ритой я начала английский с пяти лет в Сибири*. – См. об этом подробнее в повести А. Цветаевой «Моя Сибирь» (окончена в 1976 г.).

...*девушки-музыкантши московские вызвались вести ее летние занятия, плененные ее послушанием мне: Юля и Ирина*. – Неустановленные лица.

...*курортник – Вызу*. – Прибрежный живописный поселок Вызу расположен в национальном парке Лахемаа, считается одним из старейших летних курортов северной Эстонии.

С. 143. *Царственно-добрая проуа Вэлли* – Prova. – Эстонское обращения к женщине.

Молли Борисовны, приветливой, светской, умной петербурженки. – Лицо не установлено.

Клубом ведала Алиса Пикамяэ, хозяйка Юли – Ириночки. – Лицо не установлено.

Дружба с Ольгой Семеновной Гальпериной. – Ольга Семеновна Гальперина – выпускница Московской консерватории, преподаватель, затем директор музыкального училища. Родилась в Киеве. 22 марта 1938 г. осуждена на восемь лет лагерей. Как и А. Цветаева, прошла Бутырскую тюрьму. Освобождена 9 февраля 1946 г., жила после этого в г. Александрове. С А. Цветаевой познакомилась в 1967 году, переписка их длилась 1970–90 гг.

С. 144. *Вариациями Паганини в обработке Выгодского*. – Выгодский, Николай Яковлевич (1900–1939). Органист, композитор. Автор музыкальных произведений, переложений оркестровых сочинений композиторов, статей по вопросам музыки.

Когда мы выходили оттуда, ко мне подошла знакомая – худенькая, оживленная француженка, вышедшая замуж за русского музыканта. – Лицо не установлено.

С. 147. ...*в самом правом углу поляны под соснами – часовня, – каменная, старинная...* – Отцом-основателем деревни по легенде стал капитан Каспар. Он вел свое судно через море вдоль берега. Возле территории современной Кясму корабль попал в сильный шторм и потерпел крушение. Из всей команды до берега добрался только Каспар, он вознес молитву во спасение и дал обет возвести на этом самом месте часовню.

С. 148. *...поэтесса и переводчик Е.Ф. Кунина.* – См. коммент. на с. 258.

Приведенный тут цикл кясмуских стихов Евгении Филипповны Куниной опубликован в ее поэтической книге «Самое дорогое» (М., 1994). Из них самым любимым для Анастасии Ивановны были «Сосны Рейндорфа», посвященные вдове графика-пейзажиста Адели Рейндорф. Сосны – постоянный авторский характерный мотив графики художника.

С. 149. *Памяти Антона Таамсааре.* – Среди стихотворений одно посвящено Антону Хånсену Тåммсааре (1878–1940) – эстонский писатель, представитель критического реализма. Ему в 1978 году в Таллине открыт памятник у театра оперы и балета «Эстония».

С. 152. *Рейндорф* Гюнтер-Фридрих Германович (1889–1974) – эстонский график, книжный иллюстратор, народный художник СССР (1969).

С. 155. *Августа Оскаровна Веллеранд* – библиотечный работник в Вызу, устраивала в библиотеке литературные вечера.

Ирина Иннокентьевна Подвысоцкая (1922–1990) – врач-дерматолог, защитила диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук, однако потом диссертация не была утверждена в ВАКе. Заведовала кафедрой кожных болезней в Ленинградском институте усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. Удочеренная племянница академика О.Н. Подвысоцкой.

С. 156. *Муж Ириночки – старший патологоанатом Ленинграда, высокий красавец, умница.* – Головин Дмитрий Иванович (1918–1981). Заслуженный деятель науки, патологоанатом и онколог, педагог. Профессор Д.И. Головин заведовал кафедрой патологической анатомии в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте и был проректором института. Учился в консерватории и в Первом Ленинградском медицинском институте. Женился на дочери академика О.Н. Подвысоцкой – Ирине Иннокентьевне, которая училась вместе с ним.

С. 157. *...вырастила ее дочь...* – Ольга Дмитриевна Головина.

С. 158. *...мемориальный камень Игоря Северянина, в Эстонии долго жившего, женившегося на эстонке, могила его в Таллине...* – Игорь Северянин снимал в эстонском поселке Тойла на берегу моря домик плотника М. Круут. Позже его дочь, Фелисса Михайловна Круут, становится женой поэта. Они повенчались 21 декабря 1921 г. в Тарту.

Рядом с домом – памятный камень на русском и эстонском языках «Здесь жил и работал 1918–1936 гг. русский поэт Игорь Северянин».

Игорь Северянин умер в декабре 1941 года и похоронен на таллинском Александро-Невском кладбище. На скромной могильной плите было выбито имя поэта и строки из его стихотворения «Классические розы»: «Как хороши, как свежи будут розы, / Моей страной мне брошенные в гроб». Сейчас на могиле иное надгробие.

С. 158. *...маленький краеведческий музей...* – Морской музей Кясму находится в деревне Кясму, ранее был очень мал, ныне занимает здание, в XIX веке принадлежавшее Мореходной школе. Экспонаты музея – предметы морского плавания, рыбной ловли и контрабанды. Здесь же выставлены фотографии и картины, посвященные морской тематике. Экспозиции музея охватывают период 1920–30-х годов XX века, Второй мировой войны и время советской власти.

...и место, где был бой со шведами... – Имеется в виду Нарва.

...в Куремяэ, в монастырь Пюхтица. – Пюхтицкий Успенский монастырь – православный женский ставропигиальный монастырь Русской православной церкви, расположенный в деревне Куремяэ волости Иллука (Ида-Вируский уезд Эстонии). Пюхтица по-эстонски означает «святое место». Основан в 1891 году. Монастырь никогда не закрывался.

Тут надо – рассказ о его построении князем Шаховским, Сергием. – Благодаря стараниям губернатора Эстляндии князя С.В. Шаховского и княгини Елизаветы Дмитриевны Шаховской в 1885 году на Богородицкой горе был открыт Пюхтицкий православный приход и построен храм для обретенной ранее, в XVI веке, иконы Божьей Матери. Позднее, после переноса иконы в собор, этот храм стал кладбищенским.

Иоанн Кронштадтский (которого собираются канонизировать в этом году). – Канонизирован Иоанн Кронштадтский в лике праведных Русской православной церковью за границей 19 октября (1 ноября) 1964 года; впоследствии, 8 июня 1990 года, – Русской православной церковью (святой праведный Иоанн Кронштадтский).

С. 159. *Успенском Пюхтицком храме – огромном, напомнившем мне кремлевские храмы в Москве.* – Успенский собор – это основной храм Пюхтицкого монастыря, построенный в 1910 году на народные пожертвования и деньги князей Шаховских. Одним из жертвователей стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он и убедил людей в необходимости возведения этого собора после чудесного видения, его посетившего.

к Источнику Чудотворному. – Верующие паломники посещают монастырь, чтобы помолиться у чудотворной иконы Богородицы и набрать целебной воды из местного источника. А.И. Цветаева всякий приезд окуналась в святой источник и не раз писала об этом, в ее книге «О чудесах и чудесном» (М., 1991) есть отдельная глава «Монастырский источник» (с. 36), ему посвященная.

С. 160. *...встретилась с эстонским профессором литературы Вальмаром Адамсом.* – Вальмар Теодорович Адамс (1899–1993), тартуский профессор русской литературы, родился в Петербурге. «В годы немецкой оккупации Эстонии он попал в гестапо (по слухам, за то, что укрывал еврея), но каким-то чудом уцелел, с тем чтобы вскоре угодить на

пять лет в советские лагеря», – написал о нем профессор-англист Яков Колкер. В 1929 году Вальмар Адамс окончил философский факультет Тартуского университета, получив ученую степень магистра философии. Впоследствии продолжил образование в университетах Праги, Берлина, Мюнхена и Вены. С 1940 года – на преподавательской работе в Тартуском государственном университете, в 1945–1970-е (с перерывами) – доцент кафедры русской литературы этого вуза. С 1946 г. – кандидат филологических наук. Короткое время (1948–1949) возглавлял кафедру русской литературы, но в 1950 году был репрессирован и пять лет провел в казахстанских лагерях и ссылке. По возвращении снова преподавал.

С. 160. *Валгеметса, если не ошибаюсь, – в южной части Эстонии.* – Валгеметса – село в Эстонии, входит в волость Вастсе-Куусте.

С. 161. *Дагмар Нормет* – Дагмар Рубиновна Нормет (до замужества – Рубинштейн; 1921–2008) – эстонская советская писательница, сценарист и переводчица. Член Союза писателей Эстонии (1988). Жила в Таллине, училась в Таллинской немецкой гимназии и в частном английском колледже Анны Тырванд-Теллман, где отлично овладела немецким, английским и русским языками. Она писала стихи, сказки, радиопостановки, либретто оперетт и вместе с Шандором Стерном создала сценарий кинофильма «Озорные повороты». Но больше всего она написала книг для детей: «Дельфинию», несколько книг о Засыпайке, «Лев и дракон», «10 дверей», «Радуга улыбок» и др. Переводила с немецкого языка, например, сказку Миры Лобе «Бабушка на яблоне».

Соня и Юдя Каган – друзья молодости моей... Со дня, когда началась дружба с Соней – зима 1921–1922 года. – Соня – Софья (Сарра) Исааковна (1902–1994) – жена М.И. Кагана, его соратница по созданию журнала «Вопросы философии и литературы»; Каган Юдифь Матвеевна (1924–2000), латинист, переводчик, автор кн. «И.В. Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность» (М., 1987); «Марина Цветаева в Москве: путь к гибели» (М., 1992). См. о них: *Алесковская И.* Я Вас люблю и всегда помню / Знамя. 2017. № 6.

...философ Матвей Каган... – Матвей Исаевич (Мордух-Нисон Залманович) Каган (1889–1937) – философ, эстетик, культуролог. В 1910 году учился на философском факультете Лейпцигского университета (шесть семестров), затем в Берлинском (один семестр) и Марбургском университетах у Германа Когена, Эрнста Кассирера и Наторпа.

...слушавшая лекции по философии в Университете Шаняевского. – Московский городской народный университет имени А.Л. Шаняевского – негосударственное (муниципальное) высшее учебное заведение, существовавшее в Москве в 1908–1920 годах. Здание Университета,

построенное в 1912 году, входило в ансамбль культурного центра Миусской площади. А. Цветаева училась в нем в 1915 году.

С. 161. *...поэт и импровизатор Борис Михайлович Зубакин*. – Зубакин Борис Михайлович (1894–1938) – поэт, историк культуры, философ, скульптор. «Епископ церкви Иоанновой», каббалист, иерофант, создатель ложи LUX Astralis, принявшей розенкрейцеровское направление. Посвятил А.И. Цветаеву в члены ложи в среднюю степень – ДА, т.е. «Дарохранитель», она несколько лет записывала за ним стенографией лекции по этическому герметизму. Считала встречу с Б. Зубакиным определяющей во всей ее жизни.

...один из друзей моих, Эли Шноль. – Преподаватель древнееврейского языка. Обучал недолго и А. Цветаеву. Язык был нужен для понимания кабалистической символики мистических лекций по этическому герметизму Б. Зубакина.

Юдя сделалась латинистом. – Ю.М. Каган, канд. филологических наук (1962). Окончила отд. классической филологии МГПИ им. В.И. Ленина (1949). В 1952–55 гг. преподавала лат. яз. в ср. школе. В 1956–80 гг. преподавала латинский язык в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков им. М. Тореза. Перевела с латинского яз. «Фацетии» Г. Бебеля (М., 1970); «Утопию» Т. Мора (М., 1978); «Филос. произведения» Эразма Роттердамского (М., 1986) и др.

С. 162. *Куняева и Цветкова* – искаженные произношением фамилии Куниной и Цветаевой.

...участок хозяйки их, Сельмы Кааман. – Лицо не установлено.

С семьей Тынсон... Хельга Тынсон. – Хельга Леопольдовна Тынсон, автор книги «Георг Отс» (1981). В монографии, дважды выходявшей на эстонском языке, рассматривается жизненный путь и творческая деятельность народного артиста СССР, знаменитого эстонского певца Георга Отса (1920–1975).

С. 163. *Как в пьесах Ибсена...* – Генрик Юхан Ибсен (1828–1906) – норвежский драматург, исключительно популярный в России в начале XX века, писатель, поэт.

...он смог, одним глазом после операции головы, заглянуть в книгу о себе, тяжело больной. – В 1972 году у Георга Отса обнаружена опухоль мозга. Перенес восемь операций, ампутацию глаза. Георг Отс скончался 5 сентября 1975 года в Таллине.

С. 164. *...понимая пользу гомеопатии, которую в те годы еще не уразумели врачи-аллопаты*. – В те годы А. Цветаева была порой даже яростным сторонником гомеопатической медицинской школы и темпераментно отстаивала ее достоинства.

...в памяти моей стоит название «Дельфиния». – Сокращенный пересказ этой книги с эстонского Г. Демькиной вышел в издательстве

«Детская литература» в 1978 году. В книге «Дельфиния» изложена история о том, как человеческие девочка и мальчик подружились с дельфиними девочкой и мальчиком.

С. 165. *«Сельма, Рули, Кот и Кирюша»* – этот рассказ вошел в кн.: Цветаева А. Непостижимые. М., 1992. С.156–162.

С. 169. *...работы известного эстонского скульптора Раудсеппа.* – Юхан Юханович Раудсепп (эст. Juhan Raudsepp; 1896–1984) – эстонский скульптор. Член Союза художников СССР. В 1958 году стал председателем Союза художников Эстонии. См. о нем: Вийльманн В. Юхан Раудсепп. Таллинн: Кунст, 1984.

Сигне Тидеман – лицо не установлено.

Миша Сапонов – Михаил Александрович Сапонов (род. 2 апреля 1946) – советский и российский музыковед, доктор искусствоведческих наук, профессор Московской консерватории, декан факультета зарубежной музыки.

С. 175. *...в том Ленинграде, где я была в последний раз – когда? Три года назад?* – В 1987 году последний раз А. Цветаева побывала в Ленинграде, ее сопровождала Анна Морицевна Гуревич, соседка по Кясму.

С. 176. *Кленове Иване Никитиче* – инженер-ленинградец.

...переводила одну за другой две французские книги о Лурде, об открывшей Лурдский источник четырнадцатилетней Бернадетте Субури, дочке бедного мельника... О явлениях ей Святой Девы. – Имеется в виду кн. Мишель де Сен-Пьер «Бернадетта и Лурд», изд-во «Общедоступный Православный Университет», 2006. Это был переводческий труд Анастасии Ивановны Цветаевой – ее перевод французского двухтомного сочинения о жизни знаменитой католической святой Бернадетты Лурдской, над которым она работала с 1976-го по 1987 год.

...из книги о старце Силуане. – Старец Силуан Афонский (житие). Автор: Архимандрит Софроний (Сахаров). У А. Цветаевой был ксерокс зарубежной книги, изданный при советской власти самиздатом.

С. 178. *Игуменья Варвара – в Успенском женском монастыре в Пюхтице.* – Варвара (Трофимова) – схиигуменья, настоятельница Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря (ум. 8 февраля 2011 г.). Ее называли «игуменией всея Руси». Матушка Варвара олицетворяла собой целую эпоху в бытии русского женского монашества, да и в целом иночества. Больше 50 лет она была в монашестве, из которых 43 года – в качестве настоятельницы Пюхтицкого монастыря. При ней монастырь перешел в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси. Она гостеприимно принимала А. Цветаеву.

С. 179. *Таллинская художница Ирина Бржеска* – Ирина Бржеская (1909–1990) – художник-портретист. Работала в манере альпримо. Все свои картины она завещала Пюхтицкому монастырю. Жила близ

монастыря, на хуторе в Куремяэ одна. Похоронена она на монастырском кладбище. В кн. «Последний луч Серебряного века» читаем в тексте дочери Ирины Бржеской «Она не была старой...»: «Мама, жившая в Эстонии, имела небольшой хуторок в лесу, рядом с монастырем русским, православным, Пюхтицким. Купила она его в 1976 году и уже больше не ездила на вызужское взморье, где до этого много времени проводила с Анастасией Ивановной. Анастасия Ивановна и сама приезжала к маме на хутор, а иногда, когда ездила в Пюхтицкий монастырь, приходила к ней ночевать» (с. 235).

С. 180. *...врач-кардиолог и талантливый поэт Алик Левин* – Левин Александр Борисович (Берович, 1936–1990). После окончания 1 Ленинградского медицинского института работал в г. Кохтла-Ярве, затем в Таллине врачом-кардиологом. С 1963 г. в республиканской периодике публиковались стихи и переводы с эстонского. Участник коллективного сборника «Знакомство». Ироничный острослов, романтик, он был врачом, спасшим множество человеческих жизней. В очерке Б.И. Шульдинера «Подарок судьбы»: «Внезапная же кончина Саши Левина, еще молодого, на здоровье никогда не жаловавшегося, потрясла Анастасию Ивановну» (с. 261).

С. 181. *Тамара Левина* – вдова А.Б. Левина, врач.

С. 182. *Попадая к Ирине* – к Ирине Бржеской.

С. 183. *Олав Маран* – Маран Олав Альфредович (эст. Olav Maran, р. 1933) – эстонский художник, чье творчество несет ярко выраженные национальные черты. Жил и работал в доме жены в Таллине. Выставки его проходили и в Швеции. См. о нем: *Цветаева А.* Об эстонском художнике Олаве Маране // *Цветаева А.* Неисчерпаемое. С. 275–278).

С. 184. *...рядом с матерью Силуаной...* – Монахиня Пюхтицкого монастыря Силуана (Надежда Андреевна Соболева; 1899–1979). Она была другом юности сестер М. и А. Цветаевых. Эмигрировала во Францию, возвратилась в Россию в 1949 г. Ей ее монашество предрек великий старец иеромонах, преподобный Варнава Гефсиманский. Воспоминания о матушке и записи ее рассказов Василия Ильича Меркулова изданы в книге «Три встречи» (М., 1997 г.; переизд.: Три судьбы. М., 2008 г.)

Натура мертвая! Какое странное... – Эпиграфом ко вставному очерку взято первое четверостишие из стихотворения А. Цветаевой «Натюрморт» – см. в кн.: *Цветаева А.* Мой единственный сборник (М., 1995. С. 97).

С. 186. *Разве не сказочна художница, жена его, Сильвия, из-под чьей руки выходят тончайшие графические листы.* – Сильвия Марон, художник-график, автор многих эстонских художественных шрифтов. После ее смерти муж, художник Олав Марон, по настоянию ее родственников был вынужден покинуть ее дом и уйти жить в квартиру матери в Таллине (указано Ириной Карташевской).

Моя Голландия

Текст очерка «Моя Голландия» печатается по тексту: Юность. 1993. № 9 (457). С. 76–81.

Очерк вышел посмертно. Однако текст существенно дополнен сохранившимися в первоначальной машинописи, не вошедшими в публикацию фрагментами. Журнал не обладал возможностью опубликовать текст полностью в силу экономии объема. Публикации предпослана была вступительная заметка: «Очерк “Моя Голландия” А.И. Цветаевой – своего рода продолжение “Зимнего старческого Коктебеля”». В сентябре старшей писательнице России исполнилось бы 99 лет. Она не дожила до этой даты нескольких дней. Помня, как трудна была ее жизнь, поражаешься, сколь долго хранила она вдохновение – и это несмотря на пережитое в сталинских тюрьмах, в ссылках. *Станислав Айдинян*».

С. 192. *Книжная ярмарка писательниц-женщин...* – Имеется в виду 5 international feminist book fair Berus van Berlage Amsterdam The Netherlands 24–28 june 1992 – Пятая международная феминистская книжная ярмарка в Берус ванн Берлаг в Амстердаме 24–28 июня 1992 г. Ярмарка проходила в историческом здании Амстердамской биржи, которая была первой в Европе фондовой биржей, здание для нее в 1903 году построено по проекту Хендрика Петруса Берлаге, имя которого присутствует в названии здания бывшей биржи.

...*машина издательства «Отечество»*. – Незадолго до того издательство «Отечество» подготовило к печати книгу очерков А. Цветаевой «Неисчерпаемое».

...*я летала лишь однажды – в 1951 году*. – Об этом эпизоде А. Цветаева пишет в своей книге «Моя Сибирь» (1988), глава 13 «Новосибирск», которая начинается так – «Двухместный почтовый алюминиевый самолет взвился с шумом моторной лодки в такой мороз...» (с. 122).

Гурфинкель Юрий Ильич (р.1941) – доктор медицинских наук. Член-корреспондент Российской академии естественных наук с 2004 года. Живет в Москве. Руководитель отдела метеопатологии, лаборатории микроциркуляции и эндотелиальной функции в Научном клиническом центре ОАО РЖД. Автор свыше 150 научных публикаций, включая монографию «Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность» (2004). См.: *Гурфинкель Ю. Анастасия (Коктебель, Голландия) / Дружба народов*. 1998. № 9. А также *Гурфинкель Ю. Подземная река (Беседы с Анастасией Цветаевой) / Октябрь*. 2008. № 8.

С. 193. *Стихи Алексея Константиновича Толстого...* – Приводимое тут стихотворение А.К. Толстого «Против течения» (1867) цитируется

только первыми двумя его частями, всего частей пять. Так и по памяти обычно читала А.И. Цветаева, любившая устно его цитировать.

С. 194–195. *Таня Дас и ее подруга (тоже Татьяна)*... – Две молодые переводчицы текстов М. Цветаевой на голландский язык, переводы опубликованы в книге: Marina Tsvetaeva. Jouw tedere mond – Een en al kus. 1992. *Подруга* – Татьяна Храповицкая.

С. 195. *Марией Николаевной Львовой* – см. о ней также: *Гурфинкель* Ю. Анастасия // Последний луч Серебряного века. С. 504–505; а также: Дружба народов. 1998. № 9.

Отец ее – *Николай Львов* – Львов Николай Николаевич (1867–1944) – русский политический деятель, писатель, журналист. С 1891 г. – предводитель дворянства Балашовского уезда Саратовской губ., с 1899 г. – председатель губернской земской управы. Участвовал в создании либерального «Союза освобождения». Депутат 1-й, 3-й и 4-й Государственных Дум. В 1918–1920 участник белого движения, с 1920 – в эмиграции.

С. 199. *Twins* – «*Близнецы*» – поэма А. Цветаевой, посвященная писателям-маринистам Джозефу Конраду и писателю Александру Грину, создана в заключении на английском языке. Там же был осуществлен поэтический авторский перевод на русский язык. Впервые англ. и русский тексты полностью опубликованы в кн.: *Цветаева А. Мой единственный сборник* (С. 140–143); там же опубликован и автоперевод второй части поэмы А. Цветаевой, не прочтенный ею в Голландии, с. 190–193. Вторая публикация поэмы, также на двух языках: Крымский альбом. 1996. С. 132–139.

Авторизованный перевод первой части поэмы *Twins* («*Близнецы*»):

Приплыл из Польши раз матрос
К английским берегам.
И, говорят, как в землю врос,
Навек остался там.
Сменивши мачту на тетрадь,
Писателем он стал,
Британским мастерам под статью, –
Стилистом сверх похвал.
Но книга его, под названьем «Тайфун»,
Вне того, что мог дать человек,
И не «Смертию после полудня» мир юн –
Книгой Конрада славится век.
...Ночь как сажа черна. Ни звезд, ни луны.
Хаос мечется в водной пустыне.

Волны, ужаса перед тайфуном полны,
Словно горн. Корабль в пучине.
Смерч и хляби тайфуна растут и растут,
Люди замертво смыты долой...
Совершенно один капитан на посту.
Скоро, скоро он станет золой
Водяною. Спасения нету. Конец.
Слеп от вод, избиваем волнами,
Капитан на посту или примет венец,
Иль смирит океаново пламя.
Я отдам диалоги Ричарда, Шекспир
– Их ни с чем не сравнимый блеск –
За души человеческой в море пир,
За взмывающих крыльев всплеск.
Джозеф Конрад! Пусть Бог твое сердце хранит!
И страна, где Нептун и Борей,
Сбережет твои книги. А дух твой парит
Над тайфуном пустынь и морей.

С. 201. *А я не вернулась. Только полтора года пожила у моего сына.* – А. Цветаева вторично была арестована 17 марта 1949 года (как «повторник»).

С. 202. *А в последнее время стало известно, что в Елабуге, где ей не давали работы, жилья, всячески притесняли, ее пригласили в НКВД и предложили сотрудничать.* – Эту версию засвидетельствовал Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами» (1991). Муж М. Цветаевой, С.Я. Эфрон, в свое время привлек К. Хенкина к работе в органах НКВД.

Мы быстры и наготове... – Цитируется первая часть стихотворения М. Цветаевой «Асе» (11 июля 1913).

С. 203. *В прошлом году пришли они ко мне в гости в Москве, и мы подружились.* – Обоих Татьян привел к Анастасии Ивановне Владимир Иосифович Глоцер (1931–2009) – литературовед, специалист по ОБЭ-РИУ (Объединение реального искусства), по Даниилу Хармсу, который в свое время работал литературным секретарем у К. Чуковского и С. Маршака.

С. 206. *...я видела фильм: Рембрандт.* – Имеется в виду одноименный английский фильм 1936 года «Рембрандт». Режиссер – Александр Корда. В роли Рембрандта – Чарльз Лотон.

Картина «Ночной дозор» – название, под которым традиционно известен групповой портрет Рембрандта «Выступление стрелковой

роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга», написанный в 1642 году.

С. 207. *«Пророк Иеремия, оплакивающий руины Иерусалима»* – картина создана Рембрандтом в 1630 г.

С. 208. *Олав Маран* (р. 1933) – эстонский художник. См. о нем: *Цветаева А.* Об эстонском художнике Олаве Маране // Неисчерпаемое (С. 275–278).

...в 1961 году я с 14-летней внучкой Ритой в Вильнюсе с молодым еврейским учителем С. Илюшей Гордоном. – Возможно, имеется в виду Илья Зиновьевич Гордон.

Маврикий умер 31 года... – Речь идет о смерти второго, гражданского, мужа А. Цветаевой Маврикия Александровича Минца (1886–1917) – инженера-химика и инженера-технолога. В Москве окончил Высшее коммерческое училище. Окончил два университета: в Брауншвейге и Лейпциге. Подробнее см. в «Воспоминаниях» А. Цветаевой, с главы «Маврикий Александрович» (Т. 2. Глава 7. С. 354 и далее).

С. 209. *Алеша Минц-Цветаев* – речь идет о младшем сыне А. Цветаевой Алексее Маврикиевиче Минц-Цветаеве (1916–1917), рожденном в гражданском браке с инженером-химиком М.А. Минцем. Умер 12 июля 1917 года в Коктебеле. Оформлен официально как Трухачев, поскольку А. Цветаева еще не была в разводе с мужем Б.С. Трухачевым.

...умер двух с половиной лет Алик Курдюмов. – См о нем: *Пчелин А.В.* Она боролась за каждую минуту бытия // Последний луч Серебряного века. С. 558– 559.

С. 210. *Анна Франк* (1929–1945) – еврейская девочка, рожденная в Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьей от нацистского террора в Голландии. Была схвачена и отправлена в Освенцим, оттуда в Берген-Бельзен, где умерла в конце войны от тифа. Знаменита частично опубликованным впоследствии ее дневником. В очерке М.О. Смирнова «Последний луч Серебряного века» в одноименном сборнике читаем: «...она хотела посетить дом, где скрывалась Анна Франк, но это не удалось» (с. 342).

С. 211. *Хони* – переводчица Марининых писем – ее имя Gonnie Lubbers.

С. 214. *...Государь спешил...* – Здесь А. Цветаева цитирует А. Пушкина «Историю Петра».

С. 217. *...мы были гостями Тооз Аакен и ее мужа Антона. Тооз тоже переводчица.* – Имеется в виду Toos van Aken.

С. 218. *Галина Левитина* – имеется в виду Galya Levitina. Hoograven, Utrecht Province, Netherlands.

Сегодня сюда приехала Герда Мейеринк (Президент 5-й Международной книжной ярмарки, пригласившая нас в Голландию). – Имеется в виду Gerda Meijerink.

С. 219. *Тут не нужно стаскивать солому с крыш и запаривать хвою...* – этой фразой А. Цветаева соотносит свои впечатления от Голландии с давними, о жизни в Сибири.

С. 222. *Саша* – Александр Кириллович Ковальджи (р. 1956) – математик, педагог, сын поэта К.В. Ковальджи. См. его воспоминание – *Ковальджи А.К.* Многоликая Ася // Последний луч Серебряного века. С. 436–439.

Станислав – Станислав Артурович Айдинян (р. 1958) – литературный секретарь и редактор А.И. Цветаевой (1984–93 гг.). См.: *Айдинян Ст.* Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой. М.: Акпресс, 2010.

Глеб и Галя – друзья А.И. Цветаевой, инженеры, исследователи ее творчества Васильев Глеб Казимирович (1923–2009) и его жена Никитина Галина Яковлевна (р. 1931). См. кн. *Васильев Г., Никитина Г.* Встречи-свидания с Анастасией Ивановной Цветаевой. – Павлодар: Дом печати, 2017.

Ирочка Карташевская – См. коммент. к с. 134.

Приложение

Таруса

Первая публикация очерка: Культура. 1993. № 35 (6892), 11 сент. С. 12, в сопровождении текста Ст. Айдиняна «Оборвалась серебряная нить» (на смерть А.И. Цветаевой)».

С. 227. *Ильинское* – Усадьба Ильинское Тарусского района Калужской области – ныне деревня близ Тарусы, некогда имение князя М.И. Хилкова (умер 1909), видного железнодорожного деятеля. Поэт Юргис Балтрушайтис, живший там в 1915 г., посвятил этому месту стихотворение «Село Ильинское».

Истомино расположено в 6 км к западу от Тарусы, на высоком правом берегу реки Тарусы. Первый помещик-владелец – Петр Андреевич Толстой, которому имение было пожаловано Петром I в 1720 году. Церковь Успения Богородицы: возведена в 1725 году Иваном Петровичем Толстым (прадедом Льва Толстого).

Таруса – город Тарусского района Калужской области. Расположен у впадения реки Таруса в реку Ока, в 36 км от Серпухова. В центре города Тарусы над рекой Окой стоят три памятника: Марине Цветаевой, Константину Паустовскому, Белле Ахмадулиной.

С. 227. *...гнезду нашему, к «даче»...* – В «Воспоминаниях» А. Цветаева называет дачу «усадебка, некогда звавшаяся «Песочное», то есть земская двухэтажная дача располагалась над берегом Оки близ Тарусы. До наших дней не сохранилась. С 1892 по 1910 этот дом «в двух верстах от города» снимал Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея. В советские годы на том месте была танцплощадка санатория им. В. Куйбышева... На ее фундаменте сейчас расположена смотровая площадка дома отдыха «Серебряный век».

...вверх по Калужской улице... – Улица Ленина (бывшая Калужская) в Тарусе.

...дяди Вани Добротворского, земского врача. – Иван Зиновьевич Добротворский (1856–1919), земский тарусский врач, сын священника. М. Цветаева называет его «свойственник отца» (*Цветаева М.* Сводные тетради. М., 1997. Тетр. 1. С. 152).

С. 228. *Мамин голос...* – Мария Александровна Мейн (1868–1906). Вторая жена И.В. Цветаева (с 1891), пианистка, художница, переводчица художественной литературы, помощница мужа в деле создания Музея изящных искусств. Умерла в Тарусе, отпета в тарусской церкви.

(«Ласточка», «Екатерина», «Иван Ципулин» – *три их было*) *прибывает в Тарусу.* – В 1873 г. калужский городской голова г. И.К. Ципулин открыл пассажирское и буксирное пароходство по реке Оке от Калуги до Каширы. От Калуги до Серпухова начали ходить пароходы «Ципулин» и «Дмитрий Донской», а от Серпухова до Каширы – пароходы «Екатерина» и «Владимир»... Они доставляли различные торговые и пассажирские грузы от Калуги через Никольское и Дугну до Серпухова, от Серпухова до Каширы, от Алексина до Тарусы и от Тарусы до Серпухова.

Круглолицая и седая, добрая жена дяди Вани (некогда – Цветаева, папина двоюродная сестра) угощает... – Двоюродная сестра И.В. Цветаева, Елена Александровна Добротворская (1857–1939). Окончила в Москве учительскую семинарию. Пользовалась огромным уважением в Тарусе и окрестностях. О ней см.: *Кочеткова Г.К.* Дом Цветаевых. Иваново, 1993. С. 42 и далее.

В Тарусу в совсем другой дом – к Тёте (маминой воспитательнице и бабушкиной второй жене). – Сусанна Давыдовна Мейн (урожд. Эмлер, 1844 или 1845 – ок. 1920), воспитательница матери М. и А. Цветаевых, Марии Александровны, вторая жена их деда, А.Д. Мейна. Домашнее прозвище – Тёя.

Александр Данилович Мейн (1836–1899) – отец матери М. и А. Цветаевых, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора (при Великом князе Сергее Александровиче), редактор «Московских

губернских новостей», обозреватель петербургской газеты «Голос», член правления Московского земельного банка Л.С. Полякова. А.Д. Мейн «по праву рождения был внесен в 6-ю (древнее дворянство) дворянской родовой книги Петербургской губернии...». *Лубянникова Е.* О Сусанне Давыдовне Мейн // На путях к постижению: сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 42.

С. 229. *...продал в Москве «на Плющихе»... – Дом.* – Поздние исследователи установили, что А.Д. Мейн снимал этот дом, а не был его хозяином.

...мамина мама умерла... – Бернацкая Мария Лукинична (1840–1868) умерла через три недели после рождения дочери. М.И. Цветаева в письме В.В. Розанову (Феодосия, 8 апреля 1914 г.) писала: «Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, – замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле».

...купил ей усадьбу в Тарусе... – «Оседлое существование С.Д. Мейн в Тарусе началось с 1900 года...» – *Лубянникова Е.И.* О Сусанне Давыдовне Мейн // На путях к постижению. С. 22.

...из Швейцарии, где была дочерью пастора. – С.Д. Мейн родилась в Швейцарии, в городе Невшатель.

...было страшное лето, когда умерла мама. – Лето 1906 года.

Лёра работала учительницей в другом городе... – Валерия Ивановна Цветаева (по-домашнему Лёра, 1883–1966) – дочь И.В. Цветаева от первого брака, впоследствии педагог, преподавательница пластики в Московской школе искусства движения при ВХУТЕМАСе, последовательница Айседоры Дункан. Автор мемуарных «Записок». Работала одно время в Козельске.

С. 230. *Троюродной сестрой, Людой (медичкой)...* – Добротворская Людмила Ивановна (1885–1953), врач в Тарусе.

...на беговых коньках каталась (до глубокой старости)... – Например, в 77 лет, в 1971 году, А.И. Цветаева на катке делает на коньках девятнадцать кругов. Об этом А. Цветаева писала в «История одного путешествия»: «Я – я ни разу пневмонией не болела, я человек закаленный, я полгода назад мчалась по льду на беговых коньках...» (см. наст. издание).

Папа – Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) – доктор римской словесности, профессор Варшавского, Киевского, с 1877 г. – Московского университетов, член-корреспондент Академии Наук. С 1900 по 1910 директор Румянцевского и Московского публичного музеев.

Основатель и директор Музея изящных искусств в Москве им. Императора Александра III.

С. 230. *...помогать папе с Музеем...* – Т.е. в работе над созданием Музея изящных искусств. Ныне ГМИИ им. Пушкина (строился 1894–1912).

Лидию Александровну Тамбурер – Лидия Александровна Тамбурер (урожденная Гаврино, 1870–1931) – врач-дантист, приятельница отца сестер Цветаевых, их добрая доверенная подруга, советчица. О ней см. у А.И. Цветаевой в «Воспоминаниях» и в очерке М. Цветаевой «Лавровый венок». Сестры в шутку звали ее «Драконна».

...и поэта Эллиса (Маринина поэма «Чародей»). – Эллис – Лев Львович Кобылинский (1879–1947) – поэт, переводчик, теоретик символизма, друг юности сестер Цветаевых. Его образ центральный в поэме М. Цветаевой «Чародей» (1914).

...подруг – Макаренко... – Клавдии (Клане) Макаренко посвящено стихотворение М. Цветаевой «В сумерках». В комментариях к собр. соч. М. Цветаевой в семи томах ошибочно указано – «по-видимому, гимназическая подруга Цветаевой». В «Воспоминаниях» читаем: «Кто-то познакомил меня с Кланей Макаренко. Она держится с большим достоинством, как взрослая. Ей тоже пятнадцатый год. Она без румянца, у нее черная коса, терпкая улыбка – точно она всегда над чем-то посмеивается, и веселые карие глаза. Она охотно приходит ко мне на дачу, мы вместе купаемся, она совсем белая, как из Марининых стихов о девочке, вошедшей в воду, «девочка цвета луны»... (Т. 1. С. 468).

...и Шуручку Михайлову... – Александра Николаевна Михайлова (р.1897), дочь тарусского мещанина Николая Ивановича Михайлова.

Гарька Устинов (красавец, цыганенок)... – Гавриил Иванович Устинов (1893–1919) – мичман флота, после ранения и возвращения в Тарусу – красивый следователь.

...русский подросток Мишка Дубец (Филиппов). – Михаил Матвеевич Филиппов (р. 1890) – сын сапожника, позже капитан на речном пароходе. Дочь М. Цветаевой, Ариадна Эфрон в письме к Н.И. Ильиной 29 марта 1969 г. приводит несколько иное свидетельство тарусянина Ефима Ивановича Розмахова: «...за Настей один ухаживал, Мишкой звали, а прозвище у него было Дубец, красивый был, капитаном на пароходе. Уж как мы, бывало, смеялись над ним – ну куда, мол, ты лезешь – профессорская дочка и сын сапожника!» – в кн. *Эфрон А. Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма*. Калининград, 1999. С. 356.

...ответили дружно, кинув камни... – Об этом в «Воспоминаниях»: «...Разом, как по команде, оба бросают камни: с лодки – крик, она поворачивает... И на мое сердитое: “Что вы сделали? За что их?” – в ответ

два голоса: – Вы ведь не знаете, Ася, что они крикнули! Да вам и не надо знать... В другой раз не полезут...» (Т. 1. С. 473).

С. 230. *...любовь ко мне двух Лидочек 10-летних, таких разных...* – Имеются в виду Лидия Зябкина и Лидия Шпагина. В «Воспоминаниях»: «У меня новые маленькие подруги. Две Лиды – Шпагина и Зябкина. Они не любят друг друга и ревнуют меня. Лида Шпагина, десятилетняя “кошечка”, избалованная. Круглое личико, яркий румянец, лукавые светлые глаза, ласковые, чуть с хитрецей, обходительные манеры. Это – маленькая женщина. Я зову ее “дочка”. Она кладет мне на колени круглую головку и шепчет мне все нехорошее о той Лиде. Лида Зябкина – одна из одиннадцати детей дьячка, выросла среди братьев в бедной семье. Она – сорванец, работница, скачет верхом, командует младшими, прокалена солнцем, стрижена как мальчик, синеглаза, худа. К Лиде Шпагиной, которая на год ее моложе, питает презрение» (Т. 1. С. 469).

...до влюбленности в Шуру Успенского (сына священника). – Александр Николаевич Успенский (1893–1962?) – сын протоиерея Николая Михайловича Успенского (1863/64 – конец 1930-х гг.), настоятеля Воскресенской церкви в Тарусе.

А Марина после Парижа приехав в Тарусу. – Лето 1909 года.

С. 231. *...у поворота в Пачево...* – Пачево, село с господским домом, было совсем небольшим, разоренным имением Павла Михайловича Голубицкого (1845–1911), одного из первых исследователей электричества и физического эффекта телефонии. Близ села находится не раз упомянутая М. и А. Цветаевыми красивейшая Пачевская долина.

Матушка, мать Шуры... – Надежда Даниловна Успенская (урожд. Яхонтова, род. 1861). Вступила в брак с Н.М. Успенским в 1886 г.

...с Андерсена, Гримма, Перро. – Писатели-сказочники Европы – Ганс Христиан Андерсен (1805–1875); братья Гримм Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859); Шарль Перро (1628–1703).

Сереза Иловайский – Сергей Дмитриевич Иловайский (1881–1905) сын историка Д.И. Иловайского от второго брака. См. Цветаева М. «Дом у Старого Пимена».

...сестра его Надя – Надежда Дмитриевна Иловайская (1882–1905), дочь историка Д.И. Иловайского от второго брака. См. Цветаева М. «Дом у Старого Пимена».

...лесенка жива... – Ее сделал своими руками С. Иловайский, умерший, как и его сестра Надежда, молодым.

Воспоминание об Александрове

С. 232. *Где я жила со вторым мужем моим Маврикием Александровичем Минцем.* – Маврикий Александрович Минц (1886–1917), инженер-химик и инженер-технолог. В Москве окончил Высшее коммерческое училище. Окончил два университета: в Брауншвейге и Лейпциге.

Мы жили в доме Иванова. – Об этом в «Воспоминаниях» А.И. Цветаевой – «...за маленькой базарной площадью – кирпичный новый четырехэтажный дом Ивановых, где на четвертом этаже мы сняли три комнаты – справа по коридору Маврикий, слева напротив – я и рядом с моей – Андриюшина с няней» (глава «Александров», т. 2, с. 430 и далее). Дом сохранился до наших дней на ул. Красной молодежи, № 7. Принадлежал до революции александровскому трактирщику Ефиму Никифоровичу Иванову (1870–1942).

...после лета в Крыму... – Летом в Коктебеле А.И. Цветаева познакомилась с О.Э. Мандельштамом и его братом Александром, они много общались. Этому общению было суждено продолжиться в Москве и 4 июля 1916 г. в Александрове, – это посещение описано у М. Цветаевой в ее очерке «История одного посвящения» (1931).

Поэтому муж искал другую квартиру и нашел ее на Староконюшенной улице у пожилых учителей Лебедевых. – Алексей Андреевич Лебедев (1860–1919) – учитель математики Александровского приходского училища, и его жена, Анна Федуловна Лебедева (1870–1932).

...она сдала нам один дом с садом... – М.А. Минц с А.И. Цветаевой переехал на Миллионную улицу. Ныне это Военный переулок, д. 6, где теперь находится Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых в Александрове.

Серая – река в Александровском районе Владимирской области, левый приток Шерны. Берёт начало у деревни Копылиха. Протекает через город Александров.

...но когда я уехала в Москву рожать... – 25 июня 1916 года у А. Цветаевой родился второй сын Алексей, был записан как Трухачев, поскольку брак с М.А. Минцем оформлен не был.

...моя сестра, поэт Марина Цветаева, жила у меня с дочкой Алёй, Ариадной, одних лет с Андриюшей. – Дочь М. Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), сын А. Цветаевой Андрей Борисович Трухачев (1912–1993).

Лабаз – хозяйственное строение, часто продуктовый склад.

С. 233. *В 1917 году мой муж Маврикий умер...* – М.А. Минц «Умер от перитонита, воспаление брюшины, гной прорвался туда. Ты не плачь... Ася! – говорила Марина, – мы все умрем! Береги детей, его Алешу... Знает, такая судьба!..» (Цветаева А. Воспоминания. Т. 2. С. 490).

С. 233. *...сын Алеша умер в Крыму 1 года и 3-х недель...* – Об этом А. Цветаева писала: «Но для Алеши жизнь не оказалась нужной – он умер через семь недель после отца: Мор (М.А. Минц. – *Ред.*) 24 мая старого стиля, Алеша – 18 июля 1917 года, от дизентерии. В Коктебеле, у Пра и Макса» (*Цветаева А. Воспоминания. Т. 2. С. 491*).

...снова действует там монастырь... – Успенский женский монастырь города Александрова. В 1923 году монастырь был закрыт, в 1991 возвращен церкви.

Об Армении

Впервые: Армянский переулоч. М., 2000. № 1. С. 30–32.

При первой публикации очерку было предпослано следующее предисловие: «Очерк Анастасии Ивановны Цветаевой “Об Армении” написан во время одного из ее последних пребываний в подмосковном Переделкино, в Доме творчества. В нем она вспоминает о том, что связано в ее судьбе с Арменией... Проживя на свете почти 100 лет, обладая не только огромным жизненным, но и духовным опытом, обладая прозорливым даром писателя, умела в ткани художественной, мемуарной прозы отразить человека, создать его выпуклый, живой образ... Кроме ее известных книг и непревзойденных по импрессионистической тонкости “Воспоминаний”, существуют и ее очерки. Среди них – “Моя Эстония” (в Эстонию она ездила с 60-х годов ежегодно), “Зимний старческий Коктебель”, посвященный Крыму, где она бывала в молодости, потом приезжала после лет заключения и ссылки, и куда поехала на съемки фильма в старости. В том же ряду очерк “Моя Голландия”. Голландию она посетила в 1992 году, за год до смерти...

Не бывав в Армении, она, тем не менее, попыталась в малом очерке дать обзор своего ощущения людей, происхождением своим к Армении восходящих, и сделала это тепло, по-цветаевски проникновенно, искренне и сочувственно, поскольку в конце прозаического текста речь идет о землетрясении 7 декабря 1988 года. Ее обращение “К Армении” было тогда спешно передано по телефону и опубликовано в газете “Коммунист”. С тех пор прошло время, мы уже перешли в новое столетие, но то, что написано, не потеряло значения и сегодня, когда продолжают многомерные переключки литератур и культур Армении и России... *Станислав Айдинян*».

С. 234. *Марина горячо дружила с десятилетней Аглаэ...* – См. в «Воспоминаниях» А. Цветаевой: «С тремя египтянками мы быстро подружились. Их большая квадратная комната напротив нашей, с часто

распахнутой дверью, приветливо звала нас. Страстная католичка, десятилетняя Аглаэ, самая умная, серьезная, талантливая из трех, скоро стала подругой Маруси. Маленькая, очень смуглая, черноглазая, с напуском черных волос и черной тяжелой косой, она не была красива, но полна душевной энергии, – и они с Марусей полюбили друг друга. Не она ли первая осмелилась грозно сказать Мусе в лицо, что люди, учившие ее небытию Бога, – злые люди и что это лжеучение приведет ее в ад? Ее ли десятилетний гнев прозвучал Мусе или укор мудреца-аббата? Старшая сестра Аглаэ, двенадцатилетняя Ольга Матосьян, была неспособна, глуповата, но горяча и добра. С виду почти подросток, она, как и их кузина, одиннадцатилетняя Астина Филипосьян, рослая, развитая, – куда более поверхностная, чем Аглаэ, – сочетала религиозность с жадной удовольствий и нарядов и сознанием своего богатства: все три – дочери крупных торговцев, живших в Египте» (Т. 1. С. 193).

С. 234. *«Сказ о звонаре московском»* создан в первоначальном варианте в 1927 году, рукопись А. Цветаева возила на прочтение М. Горькому в Италию, далее рукопись исчезла при аресте в 1937 году, восстановлена по памяти в 1976 г. Очерк впервые был опубликован в журнале «Москва» (1977. № 7). Название очерку дал сын А.И. Цветаевой, Андрей Борисович Трухачев. Позже, вместе с братом Константина – Нилом Константиновичем Сараджевым (1921–1999), А. Цветаева написала книгу «Мастер волшебного звона» (1986). Вариант очерка вошел в ее книгу «Моя Сибирь» (1988) под названием «Московский звонарь».

Котик Сараджев – Константин Константинович Сараджев (1900–1942) – звонарь-виртуоз, композитор, создатель уникальных по жанру колокольных «гармонизаций», яснослышающий и ясновидящий, сын основателя советской дирижерской школы, К.С. Сараджева (1877–1954), ректора Ереванской консерватории.

С. 235. *Шостакович* Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – советский композитор, пианист, председатель Правления Союза композиторов РСФСР. Написал на очерк А. Цветаевой благоприятный отзыв.

С. 236. *Галина Борисовна Сараджева* (р. 1924) – врач, один из редакторов мед. энциклопедии.

...она по матери из старинного дворянского рода. – Урожденная Завадовская, дочь Бориса Михайловича Завадовского, она не только по матери, но и по отцу была дворянского происхождения. Завадовские – один из известных русских графских и дворянских родов, имевших польские корни.

...переведен на армянский язык и опубликован в журнале «Советакан харвест». – Речь идет о № 8 журнала за 1985 год. Был выпущен сокращенный вариант «Сказа о звонаре московском» на армянском языке.

С. 236. *Мариэтта Сергеевна Шагинян* (1888–1982) – русская советская писательница, начинала как поэт круга Д. Мережковского. Лауреат сталинской премии. Прославилась своей ленинианой. См. о ней: *Цветаева А. Мариэтта Шагинян* // Неисчерпаемое (С.78–86).

...*поэта Валерия Исаянца*. – См. о нем очерк А. Цветаевой «История одного путешествия».

Таня Спендиарова – Спендиарова Татьяна Александровна (1901–1990) – поэт, переводчик, дочь Александра Афанасьевича Спендиарова (1871–1928) – армянского композитора и дирижера, классика армянской музыки.

С. 237. *Аню Саакянц* – Анна Александровна Саакянц (1932–2002) – литературовед, текстолог, наиболее известный цветаевед конца XX века. Автор первого отечественного монографического исследования, посвященного жизни и творчеству М. Цветаевой – «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910–1922)». Вела полемику с А.И. Цветаевой по поводу причин самоубийства М. Цветаевой. См. о ней: *Цветаева А. Размышления над книгой А. Саакянц «Марина Цветаева»* / Звезда. 1987. № 8.

...*моей племянницей Алей Эфрон*... – Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), переводчица, мемуарист, старшая дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

...*свою художественную версию «Фауста»*. – Имеется в виду кн. *Айдинян Ст. Подслушанный Фауст*. М.: Гиль-Эстель, 1993.

Мамлеев Юрий Витальевич (1931–2015) – писатель-прозаик, драматург, поэт и философ. В 1974 г. эмигрировал в США, оттуда в 1983 г. во Францию. Основатель течения «метафизический реализм».

...*предварил ее своим предисловием*... – Имеется в виду текст послесловия, однако по первоначальному замыслу он писался как предисловие.

Имя отца его, Артура Айдиняна... – Артур Михайлович Айдинян (1923–1997) – певец-вокалист, лирико-драматический тенор. Народный артист Армянской ССР (1961), участник греческого сопротивления фашизму (ЭЛАС), родился в Греции, в 1947 г. репатриировался в Армению, потом жил в Москве, в Одессе. По мотивам его биографии снят музыкальный художественный фильм «Сердце поет» (1956). Концерты в лучших залах страны, грампластинки, радиовыступления певца были широко известны и популярны в 1950–60-е годы.

Тито Скίпа (1889–1965) – итальянский певец, один из самых знаменитых теноров первой половины XX века. С А.М. Айдиняном познакомился на Всемирном Фестивале в 1957, где он был главой жюри конкурса по вокалу.

С. 237. *Генрих Густавович Нейгауз* (1888–1964) – советский пианист и педагог. Народный артист РСФСР (1956). Учитель всемирно известного пианиста Святослава Рихтера. Другая его ученица, Ирма Юдина, несколько лет была аккомпаниатором А.М. Айдиняна.

...послала в центральную армянскую газету слова сочувствия и скорби... – Заметка-обращение опубликована в Ереване, в газете «Коммунист» 11 октября 1988 года.

Содержание

Станислав Айдинян.

Путешествия младшей Цветаевой, Цветаевой последней..... 5

История одного путешествия

Часть первая. Крым, осень 1971-го 17

Часть вторая. Схождение на землю 67

Эпилог 95

Зимний старческий Коктебель 101

Моя Эстония

Пролог 131

Роза 140

Кясму, лето 1969 г. 141

Эстонская овечья поляна 144

Птенец 146

Августа Оскаровна Веллеранд
и Ирина Иннокентьевна Подвысоцкая 155

О прибалтийской волшебнице 164

Сельма, Рули, Кот и Кирюша 165

Праздник Успения в Успенском женском монастыре
в Пюхтице 178

Таллинская художница Ирина Бржеска 179

Эпилог. Об эстонском художнике Олаве Маране 184

<i>Моя Голландия</i>	189
----------------------------	-----

Приложение

Таруса	227
--------------	-----

Воспоминание об Александрове	232
------------------------------------	-----

Об Армении	234
------------------	-----

Комментарии	239
-------------------	-----

Литературно-художественное издание

СЕРИЯ «ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ»

12+

Анастасия Ивановна Цветаева

невозвратные дали

Зав. редакцией *Е.В. Ларина*

Ведущий редактор *Е.В. Толкачева*

Литературный редактор *В.И. Масловский*

Корректоры *И.Е. Назарова, Л.Ф. Уланова*

Дизайн обложки *Д.А. Бобешко*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Верстка текста и блока иллюстраций *А.Б. Филатов*

Подписано в печать 25.07.18

Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 18.

Тираж 2000 экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр. 1, ком. 39

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

"Баспа Аста" деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

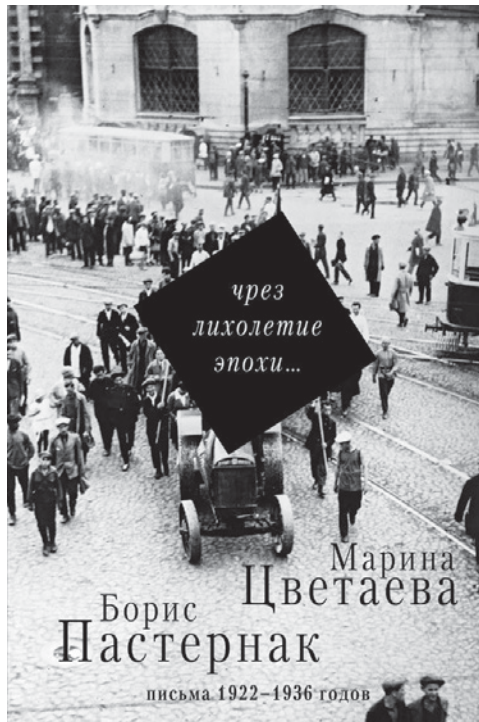
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Издательство АСТ
представляет



Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».

Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.

Издательство АСТ
представляет



Марина Цветаева отмечала: «Есть у меня важный свидетель – сын», «умный и суровый Мур». Его дневники – лучшее тому подтверждение. Записи юного Георгия Эфрона, охватывающие период 1940–1943 годов, являются уникальным документом последнего периода ее жизни. Много рассказывает молодой человек и о себе: об учебе в школе, окружении, занятиях рисованием, встречах с девушками, бесконечном чтении русской и зарубежной классики. Особое внимание уделяет он политическим и военным событиям в СССР и за границей, анализирует их, строит прогнозы, и, порой, они оказываются верны. Оставшись без матери, он налаживает эпистолярную связь с сестрой Ариадной, своими родственниками и знакомыми.

А еще пробует свои силы в различных литературных жанрах: стихах, прозе, стилизациях, сказке. В настоящей книге эти опыты публикуются впервые. Как и впервые воспроизводятся неизвестные ранее читателю рисунки Г. Эфрона.



Анастасия Цветаева в доме Максимилиана Волошина. *Коктебель*, 1911



Таруса. Большая Калужская улица



Дача Песочное в Тарусе, которую семья Цветаевых снимала на лето



В Тарусе. В первом ряду слева направо: неустановленное лицо, Валерия, Марина, М.А. Мейн с Анастасией, Андрей; во втором ряду: Ольга Иловайская, И.В. Цветаев. 1900



Дом трактирщика Иванова, в котором М. Минц для себя и А. Цветаевой снимал квартиру в 1915 году



Александров.
На скамейке перед
домом – А. Цветаева
с сыном Андрюшей.
1916

*Слева направо:
в первом ряду –
Анастасия Цветаева
с сыном Андреем
и Марина Цветаева
с дочерью Ариадной;
во втором –
Сергей Эфрон
и Маврикий Минц*



Коктебель

Максимилиан
Волошин в своей
мастерской



Е.О. Волошина, М. Цветаева, А. Цветаева, В. Эфрон, С. Эфрон, Е. Эфрон
в Доме поэта. 1911



А. Цветаева с Марией Степановной Волошиной



С Валерием Исаянцем



Его мать – Анна Исаянц



85-летие М.С. Волошиной. Слева во втором ряду – А. Цветаева в темных очках и с бородой из водорослей. 1972



А. Цветаева с Марией Изергиной. 1960-е



Оксана Бузук



Эстония.
Церковь при
кладбище в Кясму



С внучками Ритой
и Олей



Ирина Бржеска



Е. Кунина, Ю. Каган, А. Цветаева, С. Каган в Кясму



Амстердам.
Голландия



А. Цветаева
на фоне
ветряной
мельницы.
1992



**5TH INTERNATIONAL
FEMINIST
BOOK FAIR
BEURS VAN BERLAGE
AMSTERDAM
THE NETHERLANDS
24 - 28 JUNE 1992**

Программа 5-й Международной
феминистской книжной
ярмарки, на которой А. Цветаева
была почетным гостем



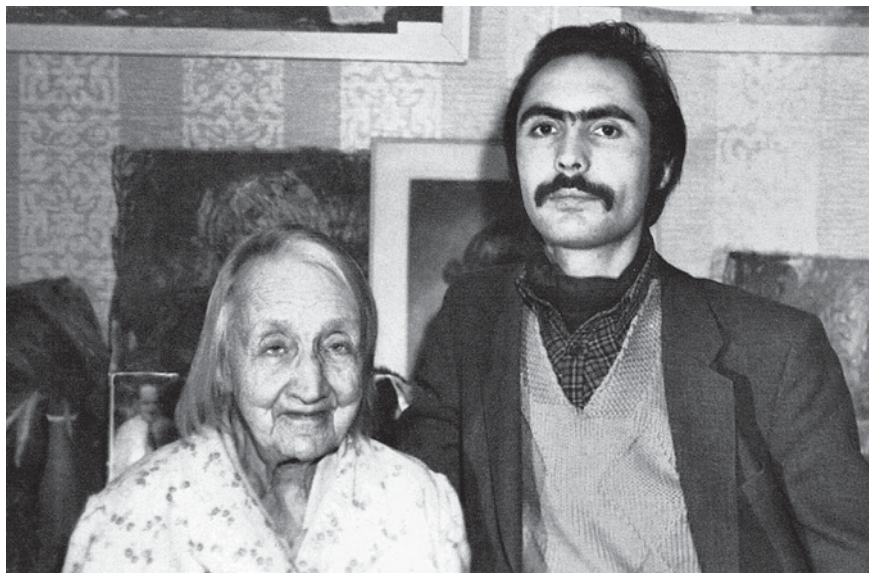
Юрий Гурфинкель



Константин Сараджев в детстве



Артур Айдинян и Тито Скипа. За роялем – Ирма Юдина. 1957



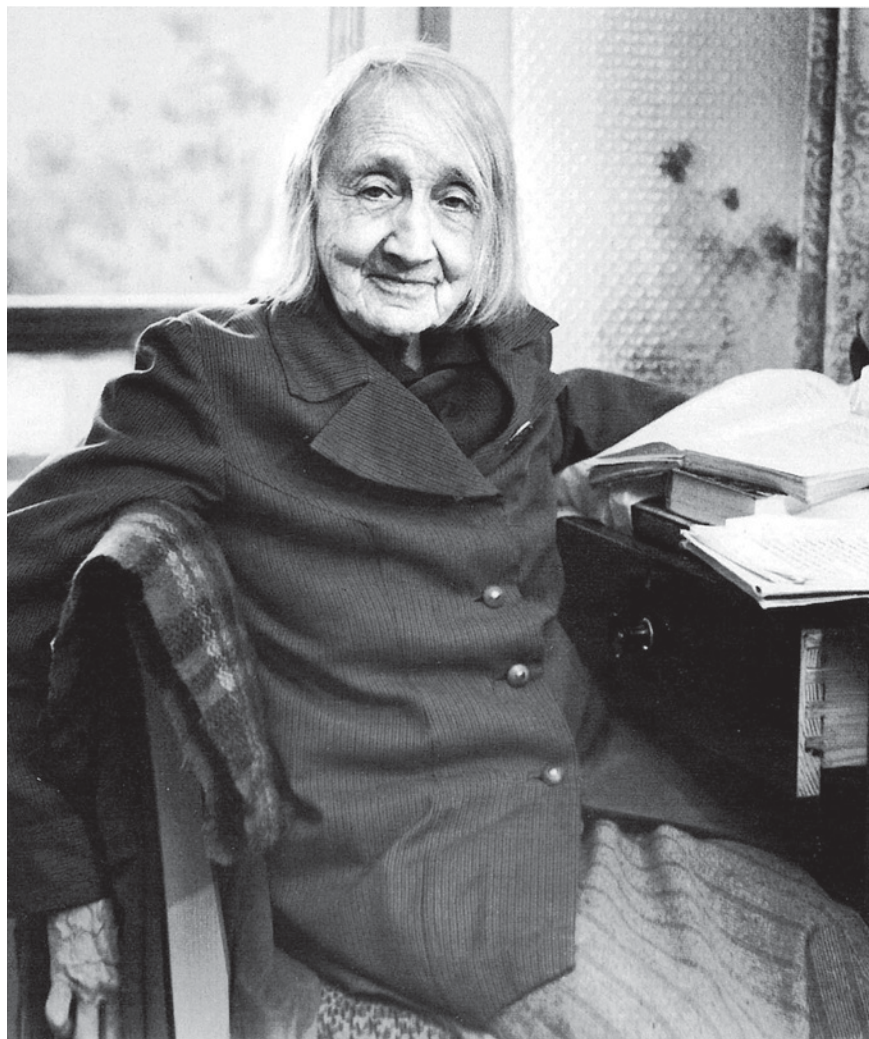
А. Цветаева со своим литературным секретарем Станиславом Айдиняном. 1984



Анна Саакянц



Мариэтта Шагинян



Анастасия Цветаева в Коктебеле. 1980